Неизбежность

Чингиз Гусейнов







КОМЕДІИ

МИРЗЫ ФЕТЪ-АЛИ-АХУНДОВА

ТИФЛИСЪ

[illegible]

1853








تمثيلات

قاپوتان ميرزا فتحعلى آخوندزاده

КОМЕДІИ И ПОВѢСТЬ

Капитана Мирзы-Фетъ-Али-Ахундова

([illegible])

تفليس

١٢٧٧ سنه




Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1981


„Я сделал все что было
в моих силах."

СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ •

ПР

Чингиз Гусейнов

НЕИЗБЕЖНОСТЬ

ПОВЕСТЬ
О МИРЗЕ ФАТАЛИ АХУНДОВЕ

Р2
Г96

Чингиз Гусейнов — известный азербайджанский прозаик, пишет на азербайджанском и русском языках. Его перу принадлежит десять книг художественной прозы («Ветер над городом», «Тяжелый подъем», «Угловой дом», «Восточные сюжеты» и др.), посвященных нашим дням. Широкую популярность приобрел роман Гусейнова «Магомед, Мамед, Мамиш», изданный на многих языках у нас в стране и за рубежом.

Гусейнов известен и как критик, литературовед, исследующий советскую многонациональную литературу.

«Неизбежность» — первое историческое произведение Ч. Гусейнова, повествующее о деятельности выдающегося азербайджанского мыслителя, революционного демократа, писателя Мирзы Фатали Ахундова. В формировании революционно-демократических взглядов М. Ф. Ахундова значительную роль сыграли идеи декабризма, петрашевцев, герценовской вольной печати, шестидесятников.

Книга написана в форме широко развернутого внутреннего монолога героя. Перед читателем раскрывается эволюция духовного мира М. Ф. Ахундова, приходящего к пониманию неизбежности революционной борьбы с тиранией и рабством.

$Г \frac{10604—052}{079(02)—81}$ 237—81 0505040000

Автор задерживает внимание читателя,

который полон серьезных намерений сразу приступить к тексту книги, и предлагает ему не спешить, а сначала прочесть эти страницы.

Жизнь Мирзы Фатали Ахундова, прозванного потомками учителем народа, полна трагических коллизий, противоречива и сложна. Естественно, что это отразилось и на содержании произведения, и на его структуре.

Ахундов родился в 1812 и умер в 1878 году, всю сознательную жизнь прожил в Тифлисе и до конца дней своих работал в канцелярии наместника, пройдя путь от прапорщика до полковника. Но под мундиром чиновника билось сердце просветителя, демократа-революционера.

Какое это было время! Волна революций, прокатившаяся по Европе, очаги народного гнева — бунты и восстания крестьян в Закавказье, движение шестидесятников, заграничная деятельность Герцена, нарушившего рабье молчание и прогремевшего вольным словом на всю Россию, ссыльные декабристы, петрашевцы, народовольцы...

Ахундов проходит долгий путь духовного кризиса, прежде чем укрепиться в мысли о неизбежности борьбы с царским самодержавием.

А началось все в 1837 году с поэмы «На смерть Пушкина», написанной Ахундовым и переведенной накануне

гибели Бестужевым-Марлинским. Затем потрясение от революционных событий 1848 года в Европе, неодолимое желание художника отразить события и невозможность это сделать под неусыпным оком цензуры. И тогда неистощимая фантазия Ахундова рождает образ Колдуна, разрушающего в комедии Париж, чтобы угодить ханум и ее дочери, не желающим поездки жениха в Париж,— город разрушен, и это совпадает с известием о восстании во Франции.

Ахундов пишет водевили, комедии и трагикомедии. Казалось, слово, обращенное к народу со сцены, способно пробудить массы, всколыхнуть людей. Пик надежды — 1856 год, остросюжетная реалистическая повесть «Обманутые звезды». Ахундов обращается к далекой истории, ко времени деспотического правления Шах-Аббаса, ибо на современном материале в условиях жестокой цензуры невозможно изложить программу демократических преобразований. Но голос Ахундова задыхается в стенах наместнической канцелярии. «Обманутые звезды» не доходят до народа, ибо он неграмотен.

И тогда новая дерзкая мысль рождается в Ахундове, так и не порвавшем с просветительскими иллюзиями: в корне изменить систему образования, заменив латиницей труднодоступный народу арабский алфавит, почитаемый священным, ибо на нем написан коран.

Ахундов не теряет надежды расшатать мир деспотизма — пишет свои знаменитые революционные философские «Письма Кемалуддовле», которым не суждено было при его жизни увидеть свет: они случайно были обнаружены в наше время. Но автор повести об Ахундове допускает возможность издания «Писем», а они и впрямь должны были, в это верил и сам Ахундов, со дня на день выйти и в Петербурге, и в Париже. Можно представить себе, какие волнения вызвала бы эта публикация!

И часто с тех пор, как Ахундов вступил в полосу духовного кризиса, у него появляется двойник, а с ним — и воображаемое развитие событий, графически показанное в тексте повествования усеченной строкой. Ведь реальная жизнь включает и сиюминутное настоящее, и давнее, будто случившееся вчера, постоянно вторгается в сны и сегодняшний день, и устремленность в будущее. Вспышки мимолетных мыслей. Энергия сгустка дум. Реальные представления (то, что было на самом деле). Ирреальные картины (что могло бы быть). Но как выразить это? И в тексте автор в едином потоке помещает порой то, что было, что есть и что будет, ибо будущее Ахундова — уже прошлое для автора.

И вот конец всему. Ахундов умер, а его невозможно даже похоронить: протестуют фанатики, не желающие, чтобы тело грешника было предано земле на мусульманском кладбище... Нет, Ахундову ничего не удалось изменить. Та же неразвитость и темнота, тот же деспотизм. Только зарево пожарищ освещает тьму. Конец семидесятых годов минувшего века. Еще далеко до подлинной зари. Но неизбежен приход нового века.

Впервые об Ахундове я услышал в далеком детстве от набожной бабушки Наргиз, пережившей деда: она молила аллаха не мучить на том свете ее Мелик-Мамеда, простить ему грехи. «Какие?» — спрашивал я бабушку. Она сердито отмахивалась, думая о своем, и ее губы шептали молитву. Грехов было много у моего деда, капитана большого торгового судна, плававшего по вспыльчивому Каспию, и первый грех — чтение еретических «Писем Кемалуддовле» Мирзы Фатали.

Многие годы спустя я узнал, что «Письма» в рукописи будоражили не только Баку, но даже захолустную Нахичевань. Они обсуждались в кружках просветителей-демократов, революционной молодежи, звали к борьбе против деспотии и невежества, фанатизма и рабства.

Прежде чем взять в руки перо, я прошел не спеша по старой и узкой бакинской улице, носящей имя Мирзы Фатали, спустился к треугольному скверу и постоял рядом с гранитным Фатали, сидящим в широком каменном кресле. А потом был Тбилиси, и жаркое солнце жгло мне спину, когда я взбирался на один из его холмов. Тяжело дыша, я поклонился могиле Фатали, глянул на величественный памятник, а он — неужто не видит меня? — смотрел на неведомо откуда забредшее сюда белое облачко, потом, будто живой, опустил голову, задумался и так застыл навек, а облачко стремительно таяло и вскоре вовсе исчезло в небесной сини.

Я больше не явлюсь к тебе, мой читатель, на страницах документальной фантазии о жизни, уже однажды прожитой.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

— это нескончаемый кризис иллюзий, начавшийся в долгом одна тысяча восемьсот тридцать седьмом или чуть позже, и если бы не Колдун, придуманный Фатали, у которого орлиный нос, и на клюв похожий, и на горбатый изгиб крыла, не было бы надежды (а это *ЧАСТЬ ВТОРАЯ*), вспыхнувшей в быстротечном восемьсот пятьдесят шестом, и крах, о чем *ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ*, наступил бы не так скоро.

Колдун жив и теперь, хотя минул век с четвертью, а может, и больше, с той поры, как он с легкой руки Фатали разрушил Париж, и была опасность, что от сотрясения рухнут соседние города и даже иные одряхлевшие государства; такое случалось и прежде: у всех на памяти страшный удар, который обрушился на упрямых нахичеванцев, вздумавших интриговать, когда треснула и откололась часть горы; и чуть было Колдун не потопил Петербург — что ему выпустить наружу дикие подземные воды и низвергнуть на град разъяренные морские валы; то ли не успел, то ли не понадобилось это ни ему, всеумеющему, ни Фатали. Париж вскоре отстроили, а сгонять народ снова в болота, чтоб из топей восстал Петербург, не жестокость ли?

А когда-то,
в наивную пору юности,

у Фатали при одном лишь упоминании Зимнего дворца жар разливался в груди и душа ликовала, готовая взлететь и пронзиться любым из шпилей имперской столицы, похожих на штык. Топот, пыль, и вдруг сверкнет, поймав луч солнца, грань штыка. «Запева-ааай!..»

Неужто это было — и юность, и наивность, и благоговенье? Ни сомнений, ни раздвоенности? Или стареет? На вере юнцов несмышленых и держится деспотическая власть: пока разберутся, что к чему, и раскусят горечь лживых слов — время упущено; тот, кто успел вскарабкаться на вершину, понял, но ему на руку иллюзии новых юнцов, а тот, кто отстал и уже горбатится,— что он может: бросит деспот юнцам клич, и они затопчут, глазом не моргнув, каждого.

На недряблой еще щеке Колдуна крупная, неровной формы родинка, будто муха села и не отгонишь, и лицо усеяно мелкими черными кранинками, а глаза удивленные, наивные, увеличенные слегка, как за толстыми стеклами очков, хотя Колдуну они не нужны: дальнозоркий, когда надо даль разглядеть, и близорукий, когда нужно увидеть вблизи.

Колдун лысеет с макушки,— единственное, с чем ему не сладить; но волосы, к счастью, еще густо растут у висков, загибаясь за уши, обычные, как у всех, и завиваясь у затылка над твердым накрахмаленным воротником батистовой рубашки, всегда чистой, поверх которой одета, чтоб тело сохраняло тепло, тужурка из леопардовой шкуры. «Ай-ай-ай!» — качает головой Колдун, аж шейный позвонок хрустит. Шкура леопарда движется, пятна на ней, как живые глаза. «Я волшебник, а не шарлатан, чтобы одурачивать невежественную ханум, выстроив из ку-

биков Париж и затем раскидав их ударом палки! Поздравляю, ханум, можете радоваться, Париж разрушен! И жених вашей дочери ни в какой Париж не поедет, можете играть свадьбу!..»

Кто-то кулаком стучит в дверь.

Фатали вздрогнул, оторвавшись от листа, испещренного арабской вязью. Неспокойно, война с горцами, шпиономания, хватают, кто попадется.

Высокое пламя свечи дрогнуло и закачалось, пригибаемое дуновением.

— Кто?

— К тебе.— Жена отошла, кого-то пропуская. У дверей, не разглядеть, темная фигура, шуршит плащ, слился со стеной. Из тьмы быстро шагнул, черные широкие крылья, личный курьер наместника Воронцова по особым поручениям.

— Велено срочно.— И протянул малиновый пакет.

Пламя гнется, свеча задыхается.

— Закрой дверь.

— Высочайшее обращение. Утром чтоб.— Глаза холодные, быстрый взгляд на бумаги, незнакомые арабские письмена, будто меж камышей след ящерицы, о да, он знает эти закорючки, летняя вылазка в логово горцев, шум горной реки заглушает все звуки, и камни сверху беззвучно летят, не слышно и пуль, вдруг проступает кровь на рубашке, многие полегли, а меж камышей — ящерица, нос к носу, чудом тогда спаслись.

Курьер ушел, стук сапог минуту-другую тыкался в стены, дверь плотно закрыта, а не уймется дрожь пламени.

«Ну вот, надо перевести! А ты еще догадки строил: как бы от сотрясения, разрушившего Париж!..» Острый осколок ломкого сургуча, как застывшая кровь, прилип к пальцам; Фатали разорвал пакет. Предписание с размашистой подписью наместника, весьма срочно. Быстро пробежал глазами текст. Обращение императора Николая I

к народу. Прежде встал бы, заслышав имя, от первых фраз перехватило б дух. А была ли рабская покорность? Нет, Фатали, сколько он себя помнит, никогда не был слепцом. Случались минуты страха, когда и себе не признаешься в том, что разуверился в царском правлении, с которым связывалось столько надежд в пору юности: наконец-то в край пришел долгожданный покой!.. И отчаяние: что делать? Как устранить деспотию? Это унизительное рабство, от которого нет, кажется, спасения: было при шахе, осталось при царе. А потом будто луч надежды — и как он осмелился? Был тихий вечер, сидели на открытой веранде, он и его друг Хасай-бек Уцмиев, где он нынче? Черное тифлисское небо было усеяно крупными звездами, и они казались такими близкими — протяни руку и достанешь звезду. Ни страха, ни боязни. И Фатали заговорил о масонской ложе. Хасай-бек, прежде спокойно внимавший размышлениям Фатали, вдруг вспыхнул: «Да в своем ли ты уме?! Безумец! Создать масонскую ложу! Собираются друзья-единомышленники, царский чиновник Мирза Фатали и царский офицер Хасай-бек обсуждать проблемы просвещения народа! «Эй, где ты, мой народ!» — кличут они на Эриванской площади или на Шайтан-базаре».

А Фатали, пока Хасай-бек распалялся, листал привезенную ему книгу земляка, недавно в чине царского генерала вышедшего в отставку, Исмаил-бека Куткашинского, которую Фатали сам-то не очень понимал, а каково народу?

В ту же ночь он записал на обложке книги, думая утром вручить ее Хасай-беку, да тот нежданно покинул Тифлис: «Душа моя из тех пламенных душ, которые никогда не в состоянии скрыть ни радости, ни печали, а потому я не могу не сообщить вам сегодняшнюю мою радость — уничтожилось для меня всякое сомнение о несбыточности начатого нами предприятия и желание наше близко к исполнению, о чем с сего же числа даю

вам верное обещание. Объяснение оставляю до другого удобного случая».

Тогда патетически прозвучали прощальные слова его друга Хасай-бека Уцмиева: «Кто одолеет царя? Француз? Англичанин? Германец? Или кичливый султан? Трусливый перс?..» «Мы, мы одолеем!» Не иначе, как теплые мартовские лучи весеннего праздника Новруз-байрама, когда радуют взгляд сочные и острые светло-зеленые побеги пшеничных зерен, насыпанных на блюдечко, водили рукой Фатали. Или — это был тот же теплый март — его и теперь, а ведь скоро тридцать семь! не покинула детская вера в свои силы,— отец его предупредил, чтоб он не разбил нечаянно огромный глиняный кувшин, в нем пресную воду хранили. «Ну да, разобьешь»,— сам с полкувшина!.. И камень был с палец, и не очень Фатали размахивался, а кувшин, такая громадина, вдруг раскололся и грохнул!.. «Мы, мы одолеем царя!» — бросил Фатали, и Хасай-бек, восприняв это как шутку, умолк. Да, одолеешь — одних секретных комиссий и комитетов сколько! Ждут не дождутся тебя и Третье отделение, политическая тайная полиция с корпусом жандармов во главе (умер наконец-то шеф, Бенкендорф, а что изменилось?), и шестое — по кавказским делам; и бутурлинский цензурный комитет, недавно всю ночь напролет переводили: Фатали бросили на подмогу к цензору Кайтмазову. Кайтмазов моложе Фатали, но преуспел: к языкам восточным еще и немецкий, и даже армянский; то ли горец, то ли с низин — не поймешь. Фатали слышал, как тот однажды личному адъютанту наместника Воронцова: «Мы, мусульмане...» И тронул цепочку на шее, мелкие-мелкие звенья, стояла жара, воротник на одну пуговицу расстегнут,— крест? Фатали подмывало спросить: «Какому богу поклоняешься, друг Кайтмазов?» — да не решался, боясь обидеть. Всю ночь переводили, а на рассвете Кайтмазов, откинувшись в кресле, зевнул и, глядя усталыми глазами на

Фатали, вдруг сказал: «Тебе что? Ты в непосредственном подчинении наместника. А у меня два начальства — по внутренним делам и по внешним. Каждое слово взвесить надо, прежде чем пропустить, чтоб чужестранцам ни одного козыря не давать». То Ладожский потребует к себе, то Никитич, почти в одно время прибыли все сюда.

А тут такая дерзость — пьеса о французском восстании, Париж разрушен!

Запретить самое упоминание! Выжечь из памяти! Мы — не Европа, и она нам не указ!

Вулканический кратер, из которого и теперь льется разрушительная лава! Крики?! да, да, эти бедственные крики: свобода! (И равенство! И братство!)

Из-за тюков, раздвинув ситцевый, синие незабудки, занавес, вышел Колдун, усмехается, глядя на Фатали:

— Ну да, я понимаю, твой чин, твой мундир, твои ордена... А достоинство ценится, как говорил один мудрый человек, по числу орденов и крепостных! Крепостных у тебя нет, только слуга, повар да конюх, и ордена...

— Один только!

— Это и я уважаю, как без чинов и мундира?! Орден, правда, чужестранный, но зато как звучит: «Льва и Солнца»! И в ломбарде принимают, некоторые уже сдавали, ах, как ты переводил с фарси на русский и с русского на фарси! Указ о награждении подписал сам Мухаммед-шах... Я видел, как ты радовался. Кстати, а что ты получил от тех, кому ревностно служишь? Ах, ничего! Но все еще впереди! А что тебе дал новый шах, к кому вы недавно ездили?

— Не Насреддин-шаху я служу, а императору!

— Ну да, знаю, ездили вручать поздравление от имени императора, многие годы уже в мире и царь, и шах. Да-с, тридцать лет воевали, как век начался, угомонились! Как твоего царского генерала звали, с которым ты ездил? Шиллинг, что ли? И полководцы перевелись, то ли прежде

было! Цицианов, Ермолов, Паскевич. С ними, увы, тебе работать не довелось.— И морщится.

— А барон Розен? Он принял меня на службу.

— Ну да, похвалил тебя за восточную поэму!

— А Воронцов? Это ж целая эпоха на Кавказе!

— Да, пристрастил тебя к сочинительству комедий! Но не отчаивайся. Еще доведется знаться с великими...— И снова умолк.

— Но я не только вручал поздравление, я навестил могилу отца! И увидел сестер, шутка ли — сколько лет не виделись.

— Да и не могли увидеться. Разрезан край, через Аракс не переплывешь.

Фатали задумался: да, Туркманчайский договор! Царь и шах скрепили раздел Азербайджана, и Аракс стал границей. (Фатали тогда было шестнадцать лет.)

— Но прежде отец воссоединил две свои семьи: северную и южную.

А потом наступило то памятное утро, когда отец... вернее, сестра разбудила тебя: «Вставай, Фатали!» И ты с мамой навсегда покинул персидский юг и перебрался на российский север. Чистейшая случайность, фатум, а как повернулась твоя судьба!

— Неужто начинать с того утра?

— А может, вернуться к началу века? Тебя еще не было, но дух твой витал и ты должен был появиться. Правда, через двенадцать лет, но что такое в масштабах вечности этот срок?

И царские войска под командованием генерала Цицианова, обрусевшего грузина Цицишвили, в стремительном броске штурмом захватили древнюю Гянджу, тут же переименованную, дабы в перспективе переварить в энном поколении, в Елизаветполь — в честь императрицы

Елизаветы Алексеевны, она же Луиза-Мария-Августа, постоянно вдыхавшая немецкую твердость в царя Александра, когда душевные силы — о, усталая душа русского падишаха!..— начинали ему изменять, особенно после оставления французам Москвы. Гянджу разрушали персы, арабы, хазары, грузины, турки, знала она зависимость от тимурской орды, султанов и шахов; а ныне — царское владычество; гянджинский Джавад-хан, будто годовалый малец — зрелому мужу, тщетно противился царскому войску и на весь остаток жизни запомнил приторно-сладкий запах своей окровавленной руки, о которую уткнулся носом, да горы увидел вдали, засыпанные свежим январским снегом.

Ай как хвалились своей мощью азербайджанские ханы, когда им доводилось собираться! Их звучные титулы создавали иллюзию власти, но вскоре они лишатся своих ханств. Как клялись они в верности друг другу! Но каждый ждал вероломства: могут предать, выслуживаясь то ли перед турецким султаном, то ли перед персидским шахом, который из года в год неотвратимо слабеет, то ли перед царем — он точно холодное дыхание гор!.. могут подослать наемного убийцу или, пригласив, подлить в душистый чай молниеносно действующий яд, неуютно ни в гостях, ни дома. Ханы как разойдутся — жди или набега, или угона скота! Границы зыбки, и никого не удержишь, бегут, собираясь в разбойничьи шайки, ханства трещат, как рубашка на теле поверженного в кавказской силовой борьбе.

С Севера прет — с суши и моря — царь, а с Юга выставил тебя щитом шах, и, пока удары достигнут его, рухнешь прежде ты; с Запада — опять-таки царь, особенно близкий к твоим пределам с тех пор, как грузины поспешили вверить ему свою судьбу; им-то все же легче — один бог, единая вера.

Лишь на Востоке — море, но и оно стало неуютным.

И персидский шах — кто же был на престоле? Ах, да, как можно забыть? Фатали-шах, тезка! — объявил войну России, как всегда, невпопад, так издавна водится у них, опьяненных былым величием.

Последней каплей в переполненной чаше персидского терпения стала измена шахскому престолу дочерней Грузии. Казалось,— может ли быть хуже оскорбление! — некто ворвался в тронный зал, не отряхнув пыль с сапог, а к шаху допускаются лишь спустя трижды двадцать четыре часа после приезда, кто бы ни был этот гонец; ворвался без четырехкратных приветствий, но это еще не все,— ступил на священный, с красной каймой, отливающий шелком легкий и прочный ковер (а он покрыл весь деревянный пол, ибо в щелях скорпион запрятаться может!) не то что в красных чулках, как того требует этикет, а еще и не сняв обувь! Дошли слухи и о новых изменах: Карабахское ханство!

Хан Карабаха Ибрагим Халил, чья дочь — одна из жен шаха, отправил посла к командующему Цицианову с просьбой встретиться и завершить составление условий о подданстве; а на шахское послание, каллиграфическим почерком личного писаря шаха составленное и полное скрытых угроз и сладкоречивых обещаний, даже взгляда не бросил. Но шах отомстил Цицианову, когда тот, захватив Шемаху, двинулся сушей и морем в Баку. Правитель Баку Гусейнкули-хан, раскинув шатры недалеко от крепостных стен, послал к Цицианову гонца с письмом: «У меня имеются некоторые тайные мысли, я должен их поведать вам с глазу на глаз, поэтому прошу пожаловать в мой шатер». А устно было обещано торжественно вручить генералу ключи от крепостных стен. Быстрые победы вскружили голову Цицианову, и он лишь с адъютантом-грузином и казаком вышел навстречу Гусейнкули-хану, значительно отдалился от войска, и в момент получения ключей один из пяти сопровождавших хана людей, его

родственник Ибрагим-бек, кому шахом были обещаны щедрые дары, внезапно выстрелил в Цицианова, а двое других убили адъютанта; казак бежал, и не успели в стане русских войск опомниться, как люди Гусейнкули-хана тотчас обезглавили тело Цицианова и, захватив с собой голову, скрылись в крепости. Голова Цицианова в плотном мешке была отправлена шаху.

Но крепость Баку спустя полгода пала, и Бакинское ханство прекратило существование. Без боя пало и Кубинское ханство, царские войска подавили восстание в Шекинском ханстве и захватили Шеки.

«...где вскоре родишься ты, Фатали!..»

Война войной, а будущий отец Фатали Мамед-Таги мечтает разбогатеть. И снится ему, живущему в шахской деревне Хамнэ, древний город Шеки, где уже власть царя: шекинский шелк!..

И как он не угодил под пулю казака при пересечении зыбкой линии фронта — реки Арпа-чай?! А он уже в Шеки, в доме земляка, а тут как в ловушке — попал если, не скоро выберешься. И ему сватают — мужчина ведь! полгода, как в пути!.. — племянницу уважаемого шекинца, члена шариатского суда Ахунд-Алескера — Нанэ, почти девочку. Всем хорошо: и Ахунд-Алескеру, что устроилась судьба сироты, и Мамед-Таги не будет маяться, заключая временные браки, у него будут две освященные договором жены: одна по ту сторону границы, Лалэ-ханум и две дочери, другая — по эту, Нанэ-ханум и сын Фатали.

Лалэ — это Мак, а Нанэ — душистая полевая Мята.

Война двух держав, той, что в силе, и той, что одряхлела и не в состоянии уже удерживать некогда захваченные земли, близится к развязке, а тем временем в Гюлистане, Крае цветов, что в Карабахе, скрепляется договор, по которому к Российской империи отходят навсегда и бесповоротно хилые азербайджанские ханства — Бакин-

ское, Гянджинское, Дербентское, Карабахское и прочие, а также Дагестан и Восточная Грузия.

Вернулся в родное Хамнз и Мамед-Таги, чтоб воссоединить семьи, с новой женой, существом подвижным и быстрым, и двухлетним сыном.

«Фатали?! Ха-ха, Фатали-шах пожаловал, крепко папаху держи, как бы не слетела!..»

Аксакалы деревни сидели на корточках, прислонясь к полуразрушенной стене некогда оживленного постоялого двора — караван-сарая.

Неужто отсюда пролегала когда-то караванная дорога из Индостана в Арабистан?

«Кто-кто? Александр Македонский? Ах, Двурогий Искандер! Так бы и говорил!.. Ну да, было такое, и он здесь проезжал!» — И чешет, чешет ржавую от хны бороду.

Фатали задумался, вспоминая далекие годы: пыль, разрушенные крепостные стены...

Подал голос осел. Затяжной, жалостливый, будто всхлипы при рыдании, крик доносился со стороны мутной от недавних весенних дождей Куры. Осел привязан во дворе угольщика и кричит, глядя на голубеющий кусочек неба, а рядом две огромные плетеные корзины, снятые со вспотевшей спины, разинули черные пасти, никак не отдышатся.

А Фатали вдруг вспомнил ржанье гнедого коня, обиду, негодованье, боль,— отец схватил его под уздцы и с размаху ударил плетью по шее, и на шкуре остался след — темная широкая полоса. Конь вздрагивает, брызжет слюной, а отец ему: «Вот тебе! Вот тебе!..» А рядом разинутая пасть домотканой ковровой сумы — хурджина, из которой только что вылез, как же он уместился? Фатали.

«Я посажу Фатали в хурджин, а в другое гнездо... кого же в другое, а? — оглядывает дочерей от старшей жены.— А в другое тебя!» — и сажает ту, что спасет Фатали, переменив его судьбу. В хурджине тесно, бок коня крепкий,

как стена, что-то стучит молотком гулко-гулко, не шевельнуться, больно коленкам и локтям, трутся об узлы ковровой ткани. Едут и едут, он и сестра, в двух гнездах хурджина, и оба слышат большое сердце коня. «Ах ты тварь!..» — и плетью по шее: конь оступился, дрогнула нога, чуть не свалился на бок, где Фатали.

Фатали помнит коня — нечто высокое и недоступное, дрожит ноздря и в глазах испуг. Помнит осла, в больших глазах которого всегда горькая-горькая тоска, будто не овсом его кормили, а полынью. И помнит верблюда, гордого и равнодушного, слышит голос караванщика, прерывающего на миг звон колокольчиков, привязанных к шее верблюда.

Чистейшее везенье, фатум!

Шаги верблюда, убаюкивающе-медленные, переносили Фатали через Аракс из сонной Азии в бурлящую Европу, хотя и здесь не совсем Европа, и даже за Кавказским хребтом еще далеко до Европы, немало примешано всякого однообразно-монотонного, как пески, сонного, дурного и жестокого, уже невмоготу, а ты потерпи и познаешь самую совершенную и сладостную любовь — подчиненье силе, а когда воспоешь ее, и вовсе почувствуешь себя ее частицей, и голос твой на высокой ноте упоенно зазвучит, сливаясь с другими голосами, и в каждой трели — окрыляющее: я верноподданный!

Развод?! И Мамед-Таги ударил Нанэ-ханум. А потом затряслись руки... Лишь имя грозное, а сам вроде теста. Мак и Мята не ужились, и Мамед-Таги привык к нытью младшей жены, будто комар из близкого болота звенит над ухом в тихий вечерний час перед сном. У Нанэ-ханум лихорадка, тело ее покрылось крупными пятнами, а по ночам чем не накроешь, дрожи не унять.

— Эй, Фатали, вставай!

Фатали никак не откроет глаза.

— Вставай же! — Сестра чуть не плачет. А он сядет на миг и, как куль, снова валится на ковер мимо подушки.— Мама уезжает! Ты ее больше никогда не увидишь!

Вскочил:

— Где?!

И на улицу.

А там мать с заплаканными глазами, стоит верблюд и меж его горбов крепят хурджин.

Бросился к матери на шею: — А я? Как же я?!

И погонщик вдруг к Мамед-Таги: — Да отпусти ты его с матерью!

Мамед-Таги на силу закона надеется: сын принадлежит отцу и при разводе остается с ним. Но кем он будет здесь, его сын? А Мамед-Таги хотел бы видеть его... Кем? Он отдал его в ученики к сельскому молле. «Мясо твое», бей, истязай, даю тебе права, «а кости мои», бей не до смерти! Так кем же? В Шеки он видел: молодой, в погонах, фуражка на голове, гяур распоряжался солдатами, мост разрушенный строили. «Может, и Фатали станет мосты строить?» Ноги изодраны, сколько рек перешел, не запомнил, как их называют, то мутные, то чистые, камни скользкие, острые, нога попадает между ними, исцарапана до крови нога, в холодной воде кровь не видна. Будет строить мосты, а здесь что? «Что же ты будешь делать здесь, сын мой?!»

Бренчит колокольчик, Фатали смотрит, как плывет горизонт, домик уменьшился, отец... по папахе узнает, что это отец, сестра стоит рядом, та, что разбудила, темный платок на голове, пока не чадра, но скоро, очень скоро вся будет укрыта с головы до ног.

«Эй, Фатали!..»

И развод, и возвращение на родину не без ведома Ахунд-Алескера — он живет почти рядом, в селе Хоранид, куда переселился в свите покровительствующего ему быв-

шего правителя Шеки Селим-хана,— его жены, дети, слуги, верблюды, телеги, арбы, кони, скот, навьюченные ослы, овчарки, пастухи, собственная охрана, еще какие-то люди; а неподалеку, в местечке Шюкюрлю, в часе езды на добром скакуне, ширванец Мустафа-хан, тоже покровительствующий ученому человеку Ахунд-Алескеру; ханы без ханств, и он обучает ханских детей мусульманской грамоте. «О боже, как ты коверкаешь арабскую речь!..» Ахунд-Алескеру постелили на лужайке, и бабочка, приняв маковый узор на паласе за цветок, села на него, Фатали не сводит с нее глаз и невпопад отвечает на вопросы своего нового учителя, дяди матери Ахунд-Алескера. Нанэханум лежит в шатре, хворь у нее не проходит, только в первые дни, когда кончилось черное время в Хамнэ, она чувствовала себя лучше. Ушла головой под толстое, набитое шерстью одеяло, и лишь изредка доходит до нее голос Ахунд-Алескера — он ей за отца и сыну ее — как отец; ей теперь пожить бы, молода еще, что она видела?

День — арабский, коран; день — фарси; день — азербайджанский и по ходу кое-что из других тюркских языков. И даже — или предвидел будущность Фатали? и горские войны? знал он их, горцев, живя в Шеки, шумные, вспыльчивые, обидчивые!..— учил Фатали различать: араб ли говорит или лезгин, выучивший арабский, быстро, съедая окончания, или, напротив, четко выявляя, как кумык, переходы между словами.

Ощущение покоя посещает Ахунд-Алескера лишь в утренние часы, когда царит оживление в большом стане. Появляются порой близ поселения какие-то вооруженные люди, но не трогают их,— то ли шахские воины, то ли кочующие племена.

Иногда соберутся ханы: «Надо спасать нацию!» А меж слов Ахунд-Алескер слышит: «...собственную шкуру». Чеченец Бей-Булат, этот разбойник, не дававший покоя Ермолову? О ком ты вспомнил?! Но звуки глушатся о

густой и плотный ворс ковров и тюков постели над сундуками. «За горцем пошли люди, потому что честь у них есть!..» — «А чего ты раскричался? И его тоже, Бей-Булата, сманили, правда, при Паскевиче, присягнул на верноподданность, но так ему и поверили! убили, пустив слух, что кровная месть!..»

Самым безопасным местом казалась Ахунд-Алескеру Гянджа. Почему? Ахунд-Алескер пожал плечами.

— Как-как? — хохочет Селим-хан.

Елизаветполь, бывшая Гянджа, звучит в устах Ахунд-Алескера как Ельсебетпул — «ветер, корзина, деньги», «корзина денег, выдуваемых ветром».

— Опять переезжаем? — стонет Нанэ-ханум, худые ноги, желтое лицо, губы в волдырях. Но не успеют они обосноваться в доме бывшего ученика Ахунд-Алескера, неподалеку от мавзолея Низами, как ночью поднимется сильный жар, она будет бредить, а затем — резкое охлаждение. И ясность. «Фатали,— скажет она сыну, всю ночь не сомкнувшему глаз у ее постели.— Ахунд-Алескер тебе за отца, а Алия-ханум за мать...» Алия-ханум уже думала подыскать мужу вторую жену, чтобы та родила ему, и вдруг надежда: «Не усыновить ли Фатали?» И после сорокового дня, помянув дух Нанэ-ханум, Ахунд-Алескер усыновил Фатали, и отныне он стал называть двоюродного деда «вторым отцом»; но не имя свое дал Алескер мальчику в отчество — ведь жив отец! — а обозначение своего духовного звания — ахунд, и стал Фатали «сыном Ахунда», или «Ахунд-заде», или еще проще, на новый манер,— «Ахундов».

А место здесь — край огнедышащего вулкана!.. Далеко-далеко отсюда, в сердце империи, отыскалась горстка смельчаков, не иначе, как съели волчье сердце, и с оружием пошли они в декабре на могущественного белого падишаха.

И когда до Аббас-Мирзы, наследного принца в Тавризе, и до Фатали-шаха в Тегеране докатились слухи о смутах, говорили даже о гибели царя, Аббас-Мирза уговорил отца отомстить за Гюлистан — ведь случай какой! А в день, когда аллах принес Ахунд-Алескеру, денно и нощно думающему о паломничестве в Мекку, нежданную радость — Алия-ханум родила дочь! именно здесь, неподалеку от их дома, у мавзолея Низами Гянджеви, ударные части Аббас-Мирзы атаковали Елизаветполь. В тот июльский день император находился в Царском Селе. И ждал важной вести. Он стоял над прудом, бросал в воду платок и заставлял свою собаку выносить его на берег.

Вместо четвертования — повешение, «сообразуясь с высокомонаршим милосердием».

«Экзекуция,— говорилось в донесении,— кончилась с должною тишиною и порядком... сорвались, но вскоре опять были повешены и получили заслуженную смерть». Что? Древний обычай? Миловать упавшего с виселицы?! Никогда!

Не успел император, прочтя записку, запечатлеть для потомства: «...пять казненных проявили большое чувство раскаяния», как доставили новую радостную весть о первых победах на персидской границе.

Как отыгрывающийся игрок — Аббас-Мирза уже проиграл две войны: царю и турецкому султану,— он затеял третью войну, последнюю в своей жизни.

Гянджа пала в день приезда Паскевича. Два командующих: старый, десять лет наводил порядок во вверенных владениях, Ермолов, он еще не отозван, и новый, «с неограниченными полномочиями», только что назначенный.

После Гянджи пали и Эривань, и Нахичевань. Победы и на турецком фронте. «Граф Паскевич-Эриванский вознесся на высочайшую степень любви народной. Чиновники, литераторы, купцы, солдаты и простой народ повторя-

ют хором: «Молодец, хват Эриванский! Воскрес Суворов! Дай ему армию, взял бы Царьград!» Наш Ахилл — Паскевич-Эриванский!» И монумент при жизни — полк собственного имени!

Взята крепость Аббас-Абад, под угрозой Тавриз.

Разбили лагерь. Вскоре подошва гор со стороны Хоя запестрела вооруженными конными, и персы пригласили в шатер наследного принца Аббас-Мирзы царского посланника Грибоедова и его переводчика из знатного рода — Бакиханова.

Царская служба

— Да, мы были с ним неразлучны, Грибоедов и я, его языки: персидский, азербайджанский, арабский («и чего расхвастался перед юнцом?!»).— Чиновник старый, Аббас-Кули Бакиханов, и молодой, Фатали Ахунд-заде.

— Ад-зер-бид-зам — смешно не выговаривал он. А я поправлял: «Не «адзер», а «азер», огонь, пламя». «Азерби-жан». «Не «би», а «бай», богатый, «огнем богатый». И еще «джан». Так и не смог Грибоедов выговорить.

— А Туркманчай? — нетерпеливо спрашивает Фатали.

— Был и Туркманчай.

Это село близ Тавриза, где подписали трактат: к России отошли все земли по эту сторону Аракса, и река стала границей; Иран обязался заплатить контрибуцию за возврат ему Тавриза и других захваченных азербайджанских земель по ту сторону Аракса (Паскевич — императору: «...по всей справедливости может за нами остаться!..»). «Бремя сие падает единственно на Аббас-Мирзу,— писал Грибоедов,— ибо шах решительно отказался способствовать на свою долю ко взносу сих денег». У него ведь такой гарем!.: шутка ли — двести детей! Аж золотые

пуговицы пришлось спарывать Аббас-Мирзе с платьев своих жен!

Как же передать опыт молодому земляку Фатали? А разве опыт передается? Он, семь ступеней пройдя по военно-чиновной лесенке, уже полковник, а Фатали — только на первой ступени, прапорщик.

— Твое будущее — мое настоящее, Фатали.

— А как же твое будущее, Аббас-Кули-ага?

— Мое будущее — в моем движении к прошлому.

Бакиханов уезжает в Мекку. Мекка — как повод, пока еще разрешают паломничества, но скоро и это прикроют! Кто-то сболтнул, Фатали слышал: «...мало ему царских чинов, захотелось еще мусульманского титула Гаджи».

А пока разрешено поездить в пределах империи, замкнутой, как кольцо, он путешествует по Кавказской линии, Донской земле, Малороссии, Великороссии, Лифляндии, Литве и Польше. В Варшаве — Паскевич, князь Варшавский. Он бледен, на него совершено покушение. «Туркманчай!..» Радуется, а улыбка выходит кривая, еще не оправился. «Аллах пощадил!» Стрелок под Брестом плохо целился.

«Ольга Сергеевна? Неужто сестра Пушкина?!» И Аббас-Кули везет ее письмо в Петербург, родителям.

«Ты можешь, милая Оленька, себе представить удовольствие, которое я имел, получив твое письмо... Аббас обедал у нас. Он так обходителен, так любезен, так полон предупредительностью, что мы с ним были как старые друзья»,— пишет дочери в Варшаву Сергей Львович.

«...Какой интересный человек, как он прекрасно выражается, я люблю его манеру держаться, он мне бесконечно нравится. Я благодарю тебя, что ты его прислала к нам... много рассказывал о тебе, мой милый друг, о твоем желании приехать в Петербург, но когда он мне сказал, что нет дилижанса от Ковно до Риги и обо всех неприятностях, которые ты сможешь иметь во время путешест-

вия, я благодарю бога, зная, что ты в Варшаве»,— пишет дочери Надежда Осиповна.

И Пушкин от Аббас-Кули в восторге: занимательный разговор с сыном Востока!

Вез в Петербург еще одно письмо: Паскевича — министру иностранных дел Нессельроде. «В персидскую войну службою Аббас-Кули-ага я был особенно доволен: совершенное знание им персидского языка и неутомимая деятельность принесли много пользы. Через него шла почти вся переписка с Персидским двором и таким образом сделались ему известны все отношения наши в Персии и весь ход нашей персидской политики... Чтобы удержать на службе Аббас-Кули-ага и вместе с тем показать нашим закавказским мусульманам, что правительство не оставляет без внимания людей, усердно ему служивших, настаиваю, чтоб он находился в распоряжении Министерства иностранных дел».

Но — устал, устал наш друг. И в такие секреты получил доступ! Отпустить? А вдруг во вред?.. Нет, не боязнь, и не таких ломали! А все же: нельзя ли испросить у императора разрешение дать ему отдых на какое-то время, сохранив почести и выплачивая жалованье? И ценят, и не верят! «...фамилия Бакихановых не замечена в измене и неблагонамеренных поступках против Российского правительства, но (!?), чтобы утверждать, что она искренне предана нам, этого нельзя допустить, как точно и о всяком другом мусульманине. Почему знать, что сия же самая фамилия, при перемене обстоятельств, не сделает того же, что теперь сделали его противники». Это пишет на запрос из Петербурга — совершенно секретно! — главноуправляющий барон Розен. «...вызван был мною в Тифлис, дабы дать ему особенное поручение («шесть месяцев в Тифлисе и — ни одного задания!»), чего, однако, не мог исполнить, ибо он, приехав сюда, обнаруживал беспрестанно столь сильное против меня неудовольствие, что я не мог уже

иметь к нему никакой доверенности». Вспыхнуло восстание в Кубе — изолировать Бакиханова, отозвать! Пусть сидит в Тифлисе, держать его в Кубе опасно.

Износился! Иссяк! Тяжко, душит мундир! Недоверие!.. К кому?! Подозрительность друг к другу, недоверие к самим себе! Не видеть, не слышать барона! Отставка! Бессрочная! В село, в глушь!.. «Ты еще юн, Фатали!.. Твое будущее — мое настоящее!..»

— А они и своим не верят!

— Ты о ком?

В Петербурге — Александр Сергеевич (неужто через три года не станет его?!), брат его Лев-Леон, Софья Карамзина, князь Вяземский, Сергей Львович, Мирза-Джафар Топчибашев (хитер! принял христианство).

— Вспомни о Пушкине!

«...при Аббас-аге он ругал большой петербургский свет уже слишком зло,— пишет дочери Сергей Львович,— а на мое замечание — рассердился, да сказал: «Тем лучше, пусть знает — русский или иностранец, все равно,— что этот свет — притон низких интриганов, завистников, сплетников и прочих негодяев!»

Пушкин — жене: «Я перо в руки взять не в силе! Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство».

Нет, не уйти от себя!.. всюду преследуют, даже в его глуши!

В Мекку!

Но дороги опасные: чума, холера.

— С кем ты разговариваешь, Фатали?

— А разве я разговариваю?

— Ну да, ты сказал: «Как мне тебя понять?»

— С Аббас-Кули-агой.

— С Бакихановым?! — изумленье в глазах жены, хоть и привычна к странностям мужа.— Но он же, бедняга, умер!

— Да, да, умер... Между Меккой и Мединой, шел по стопам пророка Мухаммеда.

— Пожелал, говорят, умереть на священной земле.

— Мало ли что болтают?!

В дамасском караване, к которому примкнул Аббас-Кули, было двадцать тысяч паломников, чума никого не пощадила. «Гаджи (почетный титул за паломничество) — Аббас-Кули-ага (раб пророка Аббаса) — хан (из рода бакинских ханов)». Сбросить мундир, отбросить титулы, выкинуть ордена. И даже последний, «Льва и Солнца», так и не покрасовался на мундире. «Нет, не зря мы в нем сомневались!..» — вспомнили в царской канцелярии барона, когда пришла весть о награждении Бакиханова иностранным шахским орденом. И на письме игриво-ироническая, аж до кляксы, резолюция: «Он умер, следовательно персидского ордена носить не будет. К делам».

«И отчего тебя любили? И отчего люблю тебя я?..»

Фатали знал, как Аббас-Кули сказал о нем: «Хитрый шекинец!»

Встреч было много. Отпечаталась последняя — перед паломничеством Аббас-Кули в Мекку, и запомнилась первая, когда Ахунд-Алескер привез Фатали в Тифлис.

Гаджи Ахунд-Алескер удивительно быстро согласился с нежеланием Фатали стать, как он, духовным лицом. Отпор? Разрыв? Даже доволен как будто! Служить новой власти? Светские науки? Тифлис?! Что ж, есть там Бакиханов, и он поможет! Но прежде была Нуха, бывший Шеки, новая школа, готовившая туземные кадры, а еще прежде — Гянджа и духовная школа, где Фатали отшлифует свой почерк, изучит, ведь дорога паломничества долгая и трудная, многие-многие науки!..

— Мы с тобой изучали? Ну да, кое-чему я тебя учил: ты постиг коран, науку о вере и ее истории, правила чтения и объяснения арабских книг, науку о всех верах на земле, учение о поэзии, законы гражданские и духовные,

науку о кратком и пространном выражении своих мыслей, даже кое-что о лечении болезней молитвами! Что еще? Ах да, кое-что об астрологии — предсказывании будущего и науку о разгадывании снов, авось пригодится! Да, Гянджа...— и задумался Ахунд-Алескер: то ли о трудном паломничестве, то ли о том, что, может, изучит Фатали в Гяндже русский, ибо там расквартирован полк.— Есть там мудрый человек, не чета и мне — знаменитый поэт Мирза Шафи!

Была ночь. Фатали никак не мог уснуть. Встал, зажег свечу, придвинул к себе белый лист. И возникло во тьме:

«А вы послушайте теперь меня! Мы оба с вами на «эф», вы Фатали, а я Фридрих! Только вы на А, Ахундзаде, или, как теперь у мусульман принято на русский манер, Ахундов, а я на Б, Боденштедт!..»

«На ваше Б, кстати, и Бенкендорф!»

«Ну, зачем так шутить?! Я же не говорю... Аракчеев!»

«Что вы так боязливо оглядываетесь?»

«Это невольно».

«А у нас ходили слухи, что вы чуть ли не в венской революции участвовали, да?»

«Помилуйте, я ведь все придумал — и меджлис поэтов у Мирзы Шафи, и его стихи! И у имама Шамиля я тоже не был, присочинил, а потом пойдет с моей легкой руки!..»

«Ну нет, вы это бросьте, Фридрих!»

«Вы меня не так поняли, Фатали! Конечно же он был, Мирза Шафи, вы мне рассказывали, он учил вас красиво писать в келье гянджинской мечети Шах-Аббаса! И вы помогли ему вырваться из гянджинского плена фанатиков, а в Тифлисе рекомендовали на свое место — учителем восточных языков при уездном училище, где в должности штатного смотрителя был ваш друг Хачатур Абовян! Я, между прочим, ваш рассказ записал, привычка такая,

что услышу — фиксирую на бумаге, могу дать вам почитать. Да, был, но другой, вымышленный мной восточный мудрец, который якобы сочинял, а я переводил, и пошли мои песни по Европе! Пятьдесят немецких изданий!.. (Будет и сто семидесятое!) Издания на итальянском! французском! английском! голландском! испанском!.. даже на еврейском!»

?!

«Сам Антон Рубинштейн, ваш российский композитор, он жил тогда в Веймаре, написал дюжину романсов на эти мои немецкие стихи! Не слышали? А могли бы, между прочим! Лист восторгался ими!..»

«А я вам сейчас прочту: «Звучание и звон колоколов зависит от того, какая медь, звучанье в песне заключенных слов зависит от того, кому их петь!»

«И это — есть у меня!»

«Но их читал мне сам Мирза Шафи!»

«В келье мечети?» — а в глазах недоверие.

«Да, в келье!»

«А я, кстати, и этот наш с вами разговор уже записал. Но мы отвлеклись. Шамиль и Шафи. Мне нравится звучанье этих слов: Шаммм... Шафффф. Как и наши с вами «эффф». Я мечтаю написать о вас, чтоб и документ и фантазия!»

«Документальную фантазию?»

«Именно это!»

«Может, и меня не было?»

«Но я знаю одного Фатали, другой — другого, а третий, кстати, не он ли смотрит на нас? — третьего!.. Вот вы меня выхватили ночью из тьмы, вам никак не удавалось уснуть, и увидели меня таким. Я реальность, потому что я был, но я и фантазия, потому что таким меня увидели вы. Как же я могу, посудите сами, не придумать поэту-мудрецу романтическую любовную историю, непременно с трагическим исходом?! О его гянджинской возлюблен-

ной Зулейхе, заметьте, какое имя! А ведь могу напомнить — и у Гете есть своя Зулейха! Он называл так, разве забыли? свою возлюбленную Марианну Виллемер! (ах вот какие у него мечты! Ну да, ведь пуст небосклон немецкой поэзии!). О да, я полюбил Кавказ, я был тогда единственным, наверно, немцем в Тифлисе, и я изучал ваш татарский язык, потому что он здесь язык-мост, это не лесть, а истина, в сношениях с многочисленными народами Кавказа, с ним можно быть понятным везде, где русский язык недостаточен!.. Да, да, и о тифлисской его любви к Гафизе? Слышите, какое я ей имя придумал! Я учился у Мирзы Шафи и арабскому, и фарси, он был начитан, образован, знал наизусть чуть ли не всего Фирдоуси, Хайяма, Саади, Физули! Он диктовал мне, импровизируя на ходу. Но какой восточный человек не играет на сазе и не поет?!»

«Я не играю!»

«Вот именно! И Мирза Шафи не играл и не пел тоже! А мне было так важно поэтически это окрасить для моих холодных рассудочных сородичей! И я писал: «Однажды на уроке дома у Мирзы Шафи он велел принести трубку и калемдан». Слово-то какое! И это так естественно, чтобы мудрец курил трубку... «Пиши,— сказал Мирза Шафи,— я буду петь!» И он спел мне много чудесных песен! И все поверили! Как же он мог и курить и петь?! И с какой стати, подумайте сами, дарить мне тетрадь своих стихов?! И тетрадь эта, и названье ее, «Ключ мудрости»,— плод моей фантазии! И «Тысяча и один день на Востоке», и «Песни Мирзы Шафи», будто я лишь переводчик! Наивные читатели! Они просили меня показать оригиналы песен, от которых, как они писали, веет свежестью гор, хотя мне одному обязаны они своим существованием! Не будь меня, никто б не услыхал о Мирзе Шафи и его стихах!»

«Мы благодарны вам, что сберегли стихи Мирзы Шафи! Однако...»

Но Фридрих перебил:

«Это же для восточного колорита, игривая форма авторства, черт возьми!»

Видение исчезло. Но остался испещренный арабской вязью лист. Только что записанное о Мирзе Шафи «со слов Фатали».

Ведь вот какие, неужто свыше писанные? истории случаются меж Большим и Малым хребтами Кавказа: должен был в семье гянджинского зодчего родиться Шафи, он же Мирза Шафи Вазех, чьи стихи и песни, неведомые на Востоке, покроют себя громкой славой на Западе, чтобы потом вернуться на родную землю в поисках оригиналов, как душа ищет свою плоть; и должен был именно в Гянджу, в келью Шах-Аббасской мечети, где живет Мирза Шафи, зарабатывающий на хлеб уроками каллиграфии, привезти Ахунд-Алескер Фатали перед паломничеством в Мекку;

и где-то в далекой Германии, в Пейне, в Ганноверском королевстве, должен был в те же годы родиться Фридрих, по фамилии Боденштедт, которому непременно захочется приехать на Кавказ, он случайно познакомится в Германии с князем Михаилом Голицыным, станет наставником его детей, три года будет жить в семье Голицыных на Тверском в доме Олсуфьева, переводя по вечерам Пушкина и Лермонтова, чтоб закрепить в памяти приобретенный запас русских слов, и он примет (не сам ли напросился?) приглашение главноуправляющего Кавказским краем Нейгардта, приедет в Тифлис, чтоб прославить Мирзу Шафи, а затем... Но история эта длинная, а пока мы в келье мечети, куда определил своего приемного сына Ахунд-Алескер. Мирза Шафи учит Фатали, называя его «Мирза Фатали», дабы вдохновить воспитанника в его рвении к восточным наукам и каллиграфии.

Выводишь ты свои некогда придуманные арабами «алифы» и «беи» в различных их написаниях, прочтениях

и соединениях каллиграфическим почерком «насталиг», очень ценящимся на Востоке, пишешь, будто ткешь, узор к узору, орнамент к орнаменту, рука устала, глаза слезятся, спина разламывается, и долго потом ноет плечо; белизна бумаги радует, когда садишься, положив на колени дощечку и обмакнув тонкое тростниковое перо в чернила; «если все моря чернилами станут, а все леса — калемами, то и тогда не описать мне страданий, выпавших на долю мою»,— звучат в голове чьи-то стихи.

Буквы — вроде стройных тополей или похожие на Ковш Семи Братьев на низком и черном южном небе, а то и на взлетающих лебедей; а сколько точек! будто родинки на белой щеке!

Разные чувства вызывает в людях эта вязь, которой выражаются слова в трех языковых системах — арабской, персидской и тюркской,— благоговение, будто берешь в руки не какую-то обычную писанину, а чуть ли не священное писание; и надо непременно — не то грех! — слегка прикрыв веки, приложиться губами; случается, письмо вызывает и иное чувство — безотчетный, почти мистический страх, первозданную боязнь, ведь премудрость-то какая! только избранным и постичь эту вязь... заклинание или безмолвное общение с неземными силами.

Но и иные чувства вызывает эта вязь: подозрительность — а ну, что ты там связал-соединил неведомыми крючками-закорючками, какую крамольную мысль запрятал, дерзость какую замыслил в этой своей тайнописи? бред фанатика, козни злодея, вероломство лазутчика. Чуждые звезды на чужом небе эта вязь! и чувство негодования: нет чтоб как у всех! страх, что уйдет-ускользнет нечто важное и не снести тебе потом головы.

— Да, Фатали,— говорит Мирза Шафи,— ты одолел, почти наизусть выучил премудрый, с обилием темных и неясных частей и смыслов коран. Мы с тобой говорили о суре «Скручивание», помнишь? «Когда солнце будет скручено,

как фитиль, и когда звезды померкнут, отлетят, и когда горы с мест своих сдвинутся, и когда девять месяцев беременные верблюдицы будут без присмотра, и когда все звери столпятся, и когда моря перельются, и когда зарытая живьем будет спрошена, за какой грех она убита, и когда тайные свитки развернутся, и когда небо будет сдернуто, и когда ад будет разожжен, и когда рай приблизится, тогда душа узнает, что она приготовила...» А дальше как? Теперь ты!

И Фатали (сколько зубрил он эту суру!) продолжает: «...но нет, клянусь движущимися вспять, текущими и утекающими в небытие, и ночью, когда она тьма, и зарей, когда она дышит!.. и это не речь сатаны, побиваемого камнями; куда же вы идете? это ведь увещевание мирам, тем из вас, кто желает быть прямым. Но вы этого не пожелаете, если не пожелает он».

— Да, есть во что еще углубляться, чтобы постичь до самого донышка, хотя это недоступно разумению смертного,— в волшебные мгновения всевышний желал ниспослать Мухаммеду свои откровения, чтоб через него росло племя правоверных; да, не все ясно в коране, но жизнь впереди ясна, ибо закончились в этих краях кровопролитные сражения.

— А горцы?

— Да, да, пожары потушены, хотя кое-где земля еще дымится, очажок огня то здесь — затаптываешь сапогом, то там — надо спешить, чтоб каблуком, каблуком, вдавить, растоптать, в пляс, в пляс!

А потом Мирза Шафи задал Фатали странные вопросы:

— Любил ли ты, Фатали? По глазам видно — не любил. А если не любил, то ты еще не вполне человек. Но, как сказал один поэт, неважно кто (Фатали потом узнал: сам Мирза Шафи!), любовь мужчин не терпит многословья, чем ярче пламя, тем прозрачней дым... Ладно, от-

веть мне тогда: неиавидел ли ты?.. Нет? Ну тогда ты и вовсе ие человек еще! — И, помолчав, успокоил: — Успеешь еще! — оказывается, для того лишь, чтобы к главному перейти вопросу. — Но ответь мне, какую цель ты преследуешь? Неужели и ты хочешь стать фанатиком, одурманивать иарод?

На склоне лет Фатали вспомнит об этом разговоре и запишет: «И ои начал мие рассказывать о вещах, которые до того времеии были для меня покрыты мраком, и сиял с моих взоров пелену неведения...»

Никто не гиал, а ты уже скачешь над пропастью, и такое творят хлынувшие вдруг из-за поворота скалы, разорваииые клочья тумана; и какие-то бесы вдруг шепчут едкие эпиграммы, и ты не можешь их ие писать;

и служба у великовозрастиой дочери гянджинского хаиа, губы-лепестки ее младшей сестры Зулейхи;

и песни, и стихи, и безумство — похитить Зулейху!!! и плети за то, и темница, а утром — битва, царские войска, бегство хана, не до безумца поэта;

переписка книг, чтоб прожить;

и сиова бесы шепчут злое, колкое — эпиграммы, и иовые побои;

а тут грузинское восстаиие, беглый грузинский князь в келье Шах-Аббасской мечети!

польское восстаиие и какой-то чудной востоковед, зиающий гяиджииского Шейха Низами наизусть;

и стихи, стихи...

а Фридрих уже в пути, он спешит, какое-то иеясиое предчувствие славы; иовый гений иа горизоите немецкой поэзии?..

«Фатали, может, и тебе?..» И ои ие помиит, как сами собой родились иа фарси раиией весной стихи, когда сюда пришла роковая весть о гибели Пушкина.

Но еще предстоит встреча с бароном Розеном в Тифлисе, куда они приехали с Гаджи Ахунд-Алескером, чтобы с помощью Бакиханова устроиться на работу — служить царю.

К удивлению Бакиханова, барон Розен тотчас согласился: «А вот ты думал, что не приму, раз просишь ты, а я приму и докажу, что без тебя обойдемся!..»

Но Фатали запомнил озабоченность на лице барона.

Много лет спустя, роясь в архиве, понял: именно в эти годы барон Розен изучал следственные материалы в связи с заговором грузинских князей, а потом изложил свое «мнение о наказании исправительными мерами». Есть и постановление Аудиториатского департамента военного министерства, утвержденное царем, о виновности подсудимых и разделении их на категории по степени виновности; и четвертование — именно в эти дни и решилось: «милостивое смягчение»!..

И приказ за номером 485 (ведь только начался январь одна тысяча восемьсот тридцать пятого года и уже столько?..): «Шекинского муллы Гаджи Алескера сын Фет-Али, зная российской грамоте и хорошо обученный языкам арабскому, персидскому, турецкому и татарскому, назначен по канцелярии его высокопревосходительства штатным переводчиком».

Стрелы смерти

— Ай да хитрый шекинец-нухинец...— сказал Аббас-Кули Бакиханов, когда Фатали прочел ему свою поэму на смерть Пушкина. И подумал: «Но написал бы сам!» А правда, почему не он? А ведь знал, и очень близко, трех Александров: одного, Грибоедова, убили фанатики, другого, Пушкина,— кто же? Поди ответь.

А третий Александр — тот, кто будто бы за царя, а ведь посягал на его жизнь! и будто бы против горцев, а

ведь воспел их... Но горец о том не ведал, когда целился. Что писать о них? О первом, о втором, о третьем? Первого Фатали не знал, о втором только наслышан, а третий — он пока жив — Бестужев-Марлинский — пуля горца еще не настигла его, и он поможет ему.

— А за хитрого шекинца-нухинца не сердись. Это я так, какой азербайджанец, покажи мне его, не любит посудачить? Уколоть без умыслу, просто от безделья, когда темы беседы иссякли, а время надо заполнить, вот и вспоминают то одного, то другого: «Ай да Фатали! Ай да хитер! Ай да шекинец!» Я же любя!

Ты знал трех Александров и печалился об их судьбе. И он, тот, который будто бы за царя и будто бы против горцев, тоже сокрушался о судьбе Александров: «Я был глубоко тронут трагическою кончиною Пушкина... Я не сомкнул глаз во всю ночь и на рассвете дня был уже на крутой горе, ведущей в монастырь святого Давида. Придя туда, я призвал священника и попросил отслужить панихиду над могилой Грибоедова, над могилой поэта, попранного святотатственными ногами, без камня, без надписи. Я плакал тогда, как плачу теперь, горячими слезами, плакал над другом и товарищем по жизни, оплакивал самого себя. А когда священник запел: «За убиенных боляр Александра и Александра», я чуть не задохнулся от рыданий: этот возглас показался мне не только поминовением... Да, я сам предчувствую, что смерть моя будет также насильственна и необычна и она недалека от меня. Какая, однако, роковая судьба тяготеет над поэтами нашего времени. Вот уже трое погибло, и какою смертью!..»

— Кстати, Фатали, я рассказывал тебе как-то об Александре Бестужеве,— говорит Аббас-Кули.— Мы вместе штурмовали крепость Байрут, а потом я лжеантиквария разоблачал. Он, рядовой егерского полка, и я, главный переводчик при Паскевиче... Представляешь, низкорослый такой, упитанный, выдавал обыкновенную медную крыш-

ку, ты ведь знаешь, она на шлем похожа, за шлем самого пророка Мухаммеда! Ну и плут!..

И умолк. До разоблачения ли теперь лжеантиквария?!

— Есть еще четвертый, Аббас-Кули-ага, и он, ненадолго переживший всех их, в бреду малярийной лихорадки вспоминал своих тезок,— Александр Одоевский. Вы с ним разминулись в пути, может быть, в Шемахе: вы ехали отозванные бароном Розеном из Кубы в Тифлис, а он — в Кубу, подавлять кубинское восстание. О вас ему рассказывала Нина Чавчавадзе. Его суждено было узнать мне.

Четыре Александра! И еще будут: изгнанный из страны; объявленный сумасшедшим; и — сослуживец Фатали, который возникнет и исчезнет, будто и не было его вовсе!

Но Фатали пока знает четырех: одного зарезали, о другом его восточная поэма, третий вскоре будет убит горской пулей, четвертого скосила лихорадка.

Еще один Александр, помимо тех, которые были и будут,— только и разговоров в Тифлисе: вернулся Александр Чавчавадзе!.. А как мечтал Фатали попасть к нему домой, познакомиться с ним! Человек-легенда, генерал, дважды ссылали в Тамбов, и оба раза за участие в заговоре за независимость Грузии; но возможно ли? Ссылали и выпускали: в первый раз помогло ходатайство отца, а во второй — прежде всего собственные заслуги: дрался против Наполеона, воевал с персами.

— А ты о масонстве! Кто за тебя, Фатали, походатайствует? Какой князь?! — Поди ответь Хасай-беку Уцмиеву.

— А ты? Разве ты не князь?

Хасай-бек махнул рукой. Если такие, как Чавчавадзе, ничего не смогли, и такие заслуги, такая слава, столько звезд... Чего добьешься ты?

И никто не узнает. Заглохнет голос меж стен каземата, крикнуть не успеешь. Но кому кричать?

Кто услышит? И даже там, на севере, вот же они — и Одоевский, и Мишель. А прежде — Бестужев...

— Могу вас познакомить, Фатали.— Это Бакиханов. Но и не спешит, ханская гордость не позволяет являться незванно к грузинскому князю.

Может, Одоевский? Он ввел к Чавчавадзе Мишеля, может, Мишель введет Фатали? Но он сам-то был лишь раз, а Одоевского скосила лихорадка. Фатали б говорил с Александром Чавчавадзе на фарси, о Хайяме, которого перевел поэт на грузинский.

Так и не навестил, то да се, а там нелепая гибель князя: с чего-то внезапно испугалась лошадь, впереди будто блеснули волчьи глаза,— шарахнулась, князь вылетел из одноколки и разбился насмерть.

Одоевский желтый-желтый, губы воспалены, улыбнулся, выступила кровавая трещинка на ранке: «Мне улыбаться нельзя...» Фатали это знакомо — мать!.. Здесь и Мишель, но Фатали много лет спустя понял, что означают слова:

«...говорили, что именно ты о мечах и оковах».

Прочтет лет через двадцать тонкий-тонкий листок: «...но лишь оковы обрели».

И к Фатали, будто споря с ним:

— Да и прочли вы разве мои стихи прежде, нежели написали свою элегическую восточную поэму, этот, кажется, в «Московском наблюдателе» я прочел, прекрасный цветок, брошенный на могилу Пушкина.

А в ушах Фатали — слова барона Розена: толстые губы, одутловатые щеки, багрово-красные генеральские погоны; пунцово-алое и желтое-желтое...

— По-моему,— это Одоевский,— вы не могли их прочесть тогда.

«Ух, как холодно!..»

Дрожь передается и Фатали.

Малярийному комару очень была по душе кровь ссыльных.

«Впивайтесь, впивайтесь!..» — император шлепнул по руке — меж рыжих волос запутался безобидный северный братец южного малярийного комара; смельчак — испробовать царской крови!.. Шлепнул, а потом вывел размашистым, но четким почерком резолюцию, как обычно, по-французски, на ходатайстве, кажется, барона Розена разрешить перевести измученного лихорадкой Бестужева из Гагр, где свирепствуют малярийные комары, в другое место («может, в Санкт-Петербург?!»): «Не Бестужеву с пользой заниматься словесностью! Он не должен служить там, где невозможно без вреда для службы».

Неужто это Бестужев? — удивляется Фатали.— И так близко! Потрясен и Бестужев: уж где-где, а здесь и не мыслилось прежде, что придет день, и он вчитается в иноязычные строки о Пушкине; что-то новое, другими глазами, иной душой; и далекое и близкое! А те, кто пошли в декабре на падишаха, представить не могли себе! Чтоб иноязычные, чтоб иноверцы — да так написали?! Если б прежде доверились Фатали, и он бы смог прочесть стихи северного собрата!

— Барон, если помните, всегда восторгался, что письма в Тифлис из Петербурга приходят за одиннадцать дней.

— Почта!.. Да разве можно такое по почте? — взвился Бестужев.

— Прочти я те стихи — может, и поэма была бы другая.

— Полно скромничать! Вы можете гордиться своей поэмой. А что касается тех стихов, боюсь, обожгли б себе руки, попадись те листки к вам.

— Как вы могли — знать и не показать! Я догадался потом, как вспомнил выражение вашего лица, когда барон Розен спросил вас: «Вы читали стихи на смерть Пушки-

иа?» И когда, уже зная о тех листках, я заново просмотрел ваш перевод моей поэмы, сначала, не скрою, удививший и испугавший меня.

— Вы ж были наивны, Фатали! Да и прошло-то ведь всего три года, как вы пришли на службу к барону...

Как расскажет много позднее краснощекий, стыдливый, с седой бородкой, позволяющий себе лишь изредка, но непременно безадресно, браниться: «Это черт знает что!..», благовоспитанный и добрейше-милейший востоковед Адольф Берже:

в мае тридцать седьмого года была предпринята экспедиция в Цебельду под начальством главнокомандующего, взявшего с собой Фатали и Бестужева, пользовавшегося особенным расположением генерала (обожал государственного преступника!). Покорив цебельдинцев (три повешенных на пятачке сельской площади и двадцать убитых), отряд возвратился в Сухуми, где его уже ожидали суда, на которых он должен был отправиться к мысу Адлер для наказания горцев (но горец о том не знал, когда целился!). За три дня до отплытия в море Бестужев в числе других обедал у барона Розена, который между прочим спросил его:

— Вы читали стихи на смерть Пушкина?

Бестужев растерялся: читал ли он!

«Читал! знает!»

За столом оцепенение, застыли, барон — он-то читал! — быстро поправился:

— Ну да, стихи нашего Фатали... Наш юный друг посвятил памяти Пушкина трогательную восточную поэму, очень вам советую переложить ее на русский язык.

Потом, ранней осенью или поздним летом: Фатали знает — ходят листки по рукам. Но как достать? Спросил у одного: «Вы случайно не слышали?..» Тот оловянно ус-

тавился на Фатали и повел плечами. Еще у одного. Тот оживился: «Что? Какие? Покажите?!» Не к самому же барону идти?! Спросить у Бестужева! Но как? Если б желал, мог бы сам...

— А где оригинал?

— Боюсь, что не поймете.

— Я не пойму? Ваш, можно сказать, ученик?! — и продекламировал: «Гечме намерд кюрписиндан...»

Адольф Берже тут же перевел, он сидел рядом с бароном: «Не ходи через мост лукавца, пусть лучше быстрина унесет тебя. Не ложись в тени лисицы, пусть лучше лев растерзает тебя!»

— Но я написал на фарси.

— Почему? — сник Бестужев.— У вас же у самих прекрасная поэзия! «Чах дашы, чахмах дашы, аллах версин ягышы!» «Кремышки, камешки, дай бог вам умыться дождем!» Да-а... Надо было на своем, на родном! С ним ведь, как с французским в Европе, можно пройти из конца в конец всю Азию... Ну да ладно, не огорчайтесь, в другой раз напишете на своем.

На первых же словах поэмы — «Не предавая очей сну...» — не дочитав строку до конца, запнулся, потрясенный: это ж и его слова к брату, когда узнал о смерти Пушкина: «Я не сомкнул глаз...»

«Не предавая очей сну, сидел я в ночи и говорил сердцу: о родник жемчуга тайн! Что случилось, что соловей цветника твоего отстал от песен...» — Фатали, дайте мне перо! — И стал править, шевеля губами, вчитываясь в текст.— Чуть-чуть иначе! «...отчего забыл песни соловей цветника твоего?» Фатали молча наблюдает. Бестужев, исправив, шепчет, чтоб постичь музыку стиха: «Откуда ж теперь печаль твоя? Для чего теперь ты стенаешь и сокрушаешься, как плакальщица похоронная?.. Отвечало на это сердце: «товарищ моего одиночества, оставь меня теперь самому себе... мне знакомо вероломство судьбы и жесто-

кость этой изменницы. Я предвижу конец мой. Безумна птица, которая, однажды увидев сеть своими глазами, для зерна вновь летит на опасность!..» Поднял глаза на Фатали: «Безумна ль?»

«Прицелились в него смертной стрелой... Грозный ветер гибели потушил светильник его души. Как тюрьма стало мрачно его тело...»

Шепчет, правит, снова шепчет: «Россия в скорби... Убитый злодейской рукой разбойника мира!» — Неужто читал? Но к чему тогда это «милосердие божие»?! — И последняя строка, прочитанная вслух: «Старец седовласый, Кавказ, ответствует на песни твои стоном в стихах Сабухия». Сабухия?

— Сабухи!

— Это что же, ваш псевдоним? — В вопросе Бестужева Фатали уловил иронию.

— Как же без этого? У поэтов восточных, вы знаете, есть обычай сверх настоящего имени принимать пиитическое.

— И что оно означает?

— «Утром выпитое вино».

Ожидал нечто выспреннее: «Лучезарный», «Мудрый», а тут такая странность!

— Но утром пьют, чтоб после пьяной ночи опохмелиться?

— Я был хмельной, проснулся утром — и такая ясность и трезвость, к чему они мне, если кругом творится такое?

— И вы тоже... Но раз была трезвость — не скрыться. И вас не спасут, увы, хмельные ваши глаза. А псевдоним — это уже игра.

— Но и у вас...

Махнул отрешенно рукой.— Не надо никаких псевдонимов, друг мой, поверьте мне. У вас такое чудесное имя: Фатали!.. Фатали Фатальный!

Не спросил: «Почему фатальный?» Только слушал. А Бестужев вдруг будто на исповеди — рассказывает, никак не остановится: и о том, как накануне рокового декабрьского дня, перед восстанием, собрались Бестужевы всей семьей — мать и ее восемь детей: пятеро сыновей и три дочери. Потом распрощались с матушкой и сестрами, трое навсегда... Царь приказал стрелять. Ни вздоха, ни судорожного движения, стояли и валились замертво. Еще, еще, еще! И эскадрон конной гвардии. Побежали, но где спрячешься? Картечь догоняла, прыгая от стены в стену и не щадя никого. А потом Якутия: летом ночи без теней, а зимой дни без света. И о братьях. Но первым уйдет он сам. Следом Петр, сойдет с ума на Кавказе. «Хожу, как сердце выронил... Он очень болен, а я не могу лететь к нему!» Потом уйдет Павел, назвавший своего сына в честь брата Александром. «Жив,— рассказывает о брате,— но что толку? Погублен талант, ах какой прицел к пушкам он изобрел, истинно бестужевский!..» Потом Николай, каторга, и Михаил, тоже каторга.

«Отчего ж фатальный?» — спросит как-нибудь потом, да поздно будет спрашивать: через три дня высадка десанта на мысе Адлер, атака на горцев. Куда? Постой! А Бестужев вперед и вперед!

Горец целился метко, еще бы не попасть в этого неистово рвущегося вперед, так близко... И тела не нашли. Забрали горцы? Похвалиться, что убили прапорщика,— произведен только что!

«Единственная моя молитва — не умереть на одре страданий, либо не пасть на незначительной стычке».

Исчезновение Бестужева — ни среди убитых, ни среди живых! — породило слухи: жив, скрывается в горах; сдался горцам в поисках романтических сюжетов; предался, чтоб сражаться против царя — не удалось, мол, на Сенатской, решил здесь... Так и не узнал горец, какие слухи породила его пуля.

А стычка была незначительной — крепость вскоре пала; и романтические сюжеты, увы, вышли из моды.

«...единственная моя молитва!..»

Какая мелкая месть!

Это было первое поручение барона: объявить горцам по-арабски; как угодно! только втолкуйте им так, чтоб засело в их тупых башках, что впредь будут конфискованы бурки, привезенные в Тифлис или куда-либо в наши пределы! об этом предписано и гражданской милиции! никакого спуску!

И месть эта потому, что мятежный Гамзат-бек ширит свою власть в горном Дагестане и берет верх над домом аварского хана, преданного царю; но разве можно верить хану? тучный, как кабан, дикарь!

Особенно был разгневан барон, когда узнал, что Гамзат-бек обманул аварскую ханшу; ей надо было немедленно дать знать им через лазутчика, и никто не отговорил ее послать детей на переговоры к Гамзат-беку — он тут же обезглавил сыновей ханши и, пленив ее, захватил Хунзах.

— Сыграйте на религиозных чувствах старшин Хунзаха. Насчет Кербелы и убиенных имамов...

— Но они сунниты! — робко вставил Фатали. А барон глух:

— Вызовите у них эти страсти, чтоб с Гамзат-беком покончили!

Но к чему эта ложь?!

ложь!.. ложь!.. на устах одно, а в душе иное... и в мыслях...

«Убит Гамзат-бек!» И барон, какая улыбка на лице! только что сообщил военному министру: «...в мечети, во время молитвы». И первый, и второй имамы пали при бароне Розене. Государь будет доволен: и Гази-Магомед, и Гамзат-бек... Специально созвал канцелярию, чтоб поговo-

рить об искусстве проповеди и новичков выдрессировать: «Учитесь у горцев, как зажигать подвластных!» «Кто считает себя мусульманином, не щадит своей жизни. Вся жизнь ничто, когда над вами царская власть!» Но именно он, барон, осадил Гимринскую крепость — ах, какая досада: упустил Шамиля... Неужто и его, третьего имама, суждено убить барону?

А Шамиль, удивительное дело, то вдруг знает такое сокровенное, что и самому себе не признаешься, а то наивен, как ребенок. «Мы сами хотим своими землями править, почему чужие? Дружить, но не быть рабами!..» Фатали послан бароном Розеном на переговоры переводчиком; у Фатали располагающее на откровенность лицо, близ Гимры встретятся с Шамилем, надо убедить, уговорить его прекратить борьбу и явиться в Тифлис, куда прибудет вскоре сам государь, он уже в пути.

Шамиль высокий, у него большие, задумчивые серые глаза, сплошная жесткая щетина, сжал губы, и они не видны.

«...ты погляди, как гибнут горы! ты видел кровавые горные реки?! они прежде всегда были чисты!»

Неумолим. Но уже другой взгляд, умиротворенный — пора молитвы, и Шамиль молится. Но отчего эту суру шепчут его губы: «Клянусь небом и идущим ночью!.. звезда пронизывающая... они ведь замышляют хитрость. И я замышляю хитрость. Дай же отсрочку неверным, отсрочь им немного!»

Сколько бился над сурой Ахунд-Алескер, чтоб втолковать Фатали, а и сам не поймет!

Шамиль обещал и — обманул. Но кто первый? — выстрел снизу или камень сверху?

«Не я нарушил,— перевел Фатали письмо Шамиля, барон верит только переводчику своей канцелярии,— а вы, и я поднял оружие для собственной своей защиты, и дело сделалось по воле всемогущего бога и великого пророка».

Что ж, придется карать!! «...на рассвете, подойдя к сему селению, окруженному лесом, послал казаков окружить. Люди, искавшие спасение в бегстве, были пойманы и истреблены. Сопротивлявшиеся сделались жертвою своего отчаяния. Погибли на штыках егерей. Сакли горели. Деревня Кишкерой, состоящая из десятков дворов, с значительным запасом хлеба и сена, предана огню».

— Я Мирза Фет-Али Ахунд-заде.

— Аббас-Мирза, Хозрев-Мирза...— стал вспоминать Лермонтов.— И вы Мирза?

Фатали растерялся и заученно произнес:

— Слово Мирза, прибавляемое после собственного имени, означает принца крови, а если перед именем, как у меня, выражает ученость.

— Помилуйте, нельзя ли проще? Татарин?

Фатали улыбнулся. Как объяснить? По-всякому называли и называют и будут, вероятно, еще долго называть: и татарин кавказский, и азербайджанский татарин, и турок, и тюрок, и турок азерийский, и просто азери.

— Да, татарин.

— А имя... нельзя ли покороче? Я — Мишель.

— А я Фет-Али, можно Фатали.

— Фатали-фаталист?

— Уже пытались. Покойный Бестужев.

— Вы что же, не верите в предопределение? У вас ведь кажется: что на лбу у человека начертано, того не миновать?

— Спорил я долго с мусульманскими муллами в гянджинских кельях медресе, неужто и с вами мне спорить?

— А можно просто Али?

— Вам дозволено. Перед роковым отплытием в Адлер покойный Бестужев велел мне непременно вас разыскать.

— Но мы с ним не были знакомы.

— А он знал, что вы прибудете в наши края.

— И до вас успело дойти!

— Мы ж в единой империи, а у дурной вести длинные ноги.

— Скачет, весел и игрив! Да-с! Под фанфары и гром барабанов! А почему именно вам он велел?

— Я автор поэмы на смерть Пушкина.

— Вы? Поэмы?! — И вдруг вспомнил: — Ах да, я, кажется, слышал!

— Сказать по правде, и мне кажется, что это не я, а кто-то другой. Не верится, как я решился. Жизнь текла мутная, как Кура, и вдруг кто-то внутри, неведомый, приказал: «Встань! Возьми в руки перо! Как же ты можешь молчать?! Ты напишешь о нем! Бумага жаждала потерять белизну свою, лишь бы перо Пушкина рисовало черты по лицу ея! Погиб глава собора поэтов!..»

Вот она, первая неожиданность, уготовленная ему Востоком! Русские карательные отряды и — приобщение к русскому собору поэтов! И кто же в том соборе? «Читал ли меня?» Нелепое любопытство! Если б не читал, к чему тогда знакомиться со мной? Читал, конечно же читал! С недавних пор выработалось наблюдение, какое-то особое свойство именно у этих его стихов о гибели Пушкина: сразу, по глазам, по голосу, по тому, как смотрели или говорили с ним, Лермонтов тотчас определял для себя — читал или нет. Этот татарин читал!

— Если позволите...— Достал листы.

— Можно взглянуть? Эта вязь как тайнопись! — «Постигнем ли?»

— Извините, если перевод мой коряв: «...Ломоносов красою гения украсил обитель поэзии, но мечта Пушкина водворилась в ней. Державин завоевал державу литературы, но властелином ее избран Пушкин. Карамзин наполнил чашу вином знания, и Пушкин выпил сей полной чаши вино...» И вам в том соборе...— Не докончил.

— По одному-то стихотворению?

— Но какому!
— Восток любит льстить, вижу.
— Восток сразу выдает, что думает.
«Штык и — благо?! Кровь — и Ломоносов?! — задумался Лермонтов,— и собор поэзии?! Надо разобраться...»
— Вы удивлены, однако. Право, удивлен и я: как же так, русские штыки — и кавказская поэма о Пушкине?! — воскликнул Фатали.
— А вы колдун, читаете мои мысли...
— Вы мой кунак, а хозяин обязан угадывать желания гостя.
«Вот он, мой провожатый по Тифлису! Но надо спасать Одоевского!..»
— О стихах мы потом! — поспешил Лермонтов.
— Бестужев очень ждал встречи с другом своим, Одоевским, он тоже наш кунак.
«А вы определенно колдун!» — но на сей раз промолчал: поймет ли Али его шутку?
— Да, да, кунаки поневоле! Мы с ним в одном полку, аллах миловал, спас от горской пули.
Фатали наслышан о кунаках особого рода. Но Лермонтов — из новых, такого изгнанника еще не было в их крае: за стихи! И когда Лермонтов сказал: «Меня на юг, а вас на север, сразу в печать!», вспомнил Бестужева: он сидел, правил, что-то вычеркивал, переделывая по-своему некоторые строки его восточной поэмы,— на такое б Фатали не осмелился. У Фатали сначала был испуг: Бестужев вычеркнул имя Его Императорского Величества (!!). У Фатали было: «Распространилась слава гения Пушкина по Европе как могущество и величие Николая от Китая до Татарии». Бестужев сразу же резко вычеркнул имя и величие и вставил: «царское». Сначала не понял, когда Бестужев благодарно взглянул на него: «А вы человек смелый! Рядом поставили Пушкина и Николая! За такое б вас!..» Но рискнуть вычеркнуть!

И шепчет: «... убит...» Очевидно ведь — не какая-то там «стрела смерти» и прочее...— Вздохнул:

— Жаль, не могу показать вам иные стихи. Вернемся из Адлера (вернусь ли?), покажу, быть может. Вы потом поймете. Кстати, скоро здесь будет поэт, он тоже написал на смерть Пушкина... Надо б так: «Убитый злодейской рукою разбойника мира!» — и подумал: «Может, оставить «стрелу смерти»? Но рука в порыве зачеркнула. «Так тому и быть!» Фатали и сам не помнит, как решился поставить имена рядом. Кое-что от Бакиханова слышал, ведь встречались они с Пушкиным, еще в турецкую войну, и сам прочел потом в секретной переписке.

Печать онемела, когда пришла весть о смерти поэта: запрет! Лишь извещение в «Литературных прибавлениях» к «Русскому инвалиду»: «к этой мысли нельзя привыкнуть!» И сразу же взрыв негодования — редактор немедленно вызван к председателю цензурного комитета: «Я должен вам передать, что министр крайне, крайне недоволен вами! К чему эта публикация о Пушкине? Что это за черная рамка вокруг известия о кончине человека не чиновного, не занимавшего никакого положения на государственной службе? И что за выражения! «Солнце поэзии!!» Помилуйте, за что такая честь? «Пушкин скончался... в средине своего великого поприща!» Какое это такое поприще? Разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж?! Писать стишки не значит еще великое поприще!..»

А Фатали — рядом Николая и Пушкина...

— Были с Одоевским у Нины Чавчавадзе, обещали зайти еще, да вот, жар!.. Нужен доктор! — беспокоится Мишель.

— Есть. Был другом Бестужеву, неподалеку, за углом. И пошли.

— Может, лихорадка? Она здесь всех наших косит.

— Наших тоже... берегите себя.

— Чему быть, того... Ах да, вы же не фаталист!.. Но как же мне не быть фаталистом, когда я знал, я был уверен, что начертана мне на лбу судьба такая: Тифлис, мой приятель ученый татарин Али, у которого я беру уроки татарского!

Они уже у доктора. «Вот здесь!»

— Из тех?! — спросил по-азербайджански.

— Да.

— А этот?

— Тоже.

— Такой молодой?!

— Что такое «джаван»?

— Молодой.

— А поэт?

— «Шаир». А доктор, между прочим, большой поклонник романтической поэзии.

— Увы, я не Байрон!

Одоевский укрыт. Высунулся из одеяла, небритый, бледный.

— Саша, мы к тебе с доктором.

— Ну-с? — Долго ощупывал, вот она, раздулась селезенка.— Да, все признаки пароксизма.— Смотрит на Фатали.

— Яман? — спросил Лермонтов. Одоевский улыбнулся: юный друг Мишель заморочил ему голову с татарским: «Непременно изучу!»

— Сначала озноб, потом жар?

Одоевский кивнул.

— Закачу-ка я вам хины...

— Я укроюсь,— дрожат и слова.— Бросьте на меня что-нибудь еще.

Три шинели поверх одеял да еще бурка соседа, сидит на дощатом диване.

— Настоящий кавказец!— шепнул Лермонтов Фатали.— Презабавнейший человек! Вот бы написать о нем.

(И напишет.) А «настоящий кавказец» мечтает о белой андийской бурке, с черной каймой внизу.— А я не успел вас познакомить!.. Ты слышишь?

Голова выглянула на миг из шинелей: — Да, да, слышу.

— Ученый татарин Али, у барона Розена служит. Буду учиться по-татарски. С татарским в Азии, как с французским в Европе! Так о чем мы с вами, Али? Да, о поэме вашей и о наших штыках! Прямых и кривых, явных и тайных! Уланы, драгуны, булат!

«Да, да, слышу!..» Дрожи никак не унять!..

Слово за слово, фраза за фразу цепляются, переплетаются, какие-то мелькающие, плывущие причудливые фигурки, бегущие точки, они ширятся кругами и лопаются, дрожи не унять, пламя внутри, но оно не греет, чем же накрыться? Ледяные ноги одна холодней другой, пальцы смерзлись, а как они там, в острогах, стужа и холод.

И слова, и фразы, строки, не забыть это собственное, успеть записать, «очнулся я в степи глухой, где мне не кровною рукой, но вьюгой вырыта могила».

Озноб, дрожи не унять!..

Умру я весь, и грубый камень на череп мой остывший ляжет! сверкает меч, и падают герои. Но не за Русь, а за тиранов честь.

То озноб, то жар!.. как много огня!.. искры в темных облаках... искрятся молнии... пять жертв, и как венец вкруг выи вьется синий пламень!..

Сей огнь пожжет чело их палачей!

Два юных товарища рядом, вспыхнуло и погасло, Мишель и тот, другой, «и внемлет ли востока сын?», а перед закрытыми глазами, меж веками и оком, нечто причудливо радужное разрастается и взрывается; вспышки, обломки, того уж нет, не вернешь, сохрани его господь, ах какие стихи, запомнить, не забыть, прочти и ему Мишель, «пред вами суд и правда — все молчи!», старое рухнуло, нового

нет, и тот и другой, поймем ли мы их, и поймут ли они нас и какое-то мягкое имя, ли-ли, Али, Фатали, ученый татарин.

О чем они, Мишель и Али?!

Голос звонкий и взрывчатый (это Мишель), грамотно, с акцентом только, а это и не акцент, а шекинский выговор, и на своем родном когда говорит — пробивается диалект, но где Одоевскому до таких тонкостей иноязычных! Иногда татарская речь — это Фатали и старый кавказец.

— Хороший народ, только уж такие азиаты...

У Мишеля двоякое чувство: не надо, не надо бы при Али.

— Никак меня не ранят! Надоело уже, домой хочется... Придется когда-нибудь («а ведь ни за что не сделает! — думает Мишель.— Сложит он непременно кости в земле басурманской!»), да, придется, видно, голову положить на камень, а ноги выставить на пансион, благодатная пуля попадет в ноги, и мне тогда — отставка с пансионом, отставной герой кавказской войны!

Надо ли при татарине-то?! Но Али не чужой! И все же: лучше б при нем не говорить такое!

Ахунд-Алескер наказывал: это их дело, они меж собой и подерутся, они и помирятся, кто силен — тот и казнит. Да, Фатали понимает, за что их — и Бестужева, и Одоевского: пошли с оружием на падишаха... А за что Мишеля? Тоже понимает: руки горели, ожоги на них, когда листки попали; принес домой, чтоб переписать: «Ты послушай, Ахунд-Алескер!» — «Не лезь, не встревай в это их дело!» Он, Гаджи Ахунд-Алескер, помнит, и Фатали помнить должен, как обманулся Аббас-Мирза, глупый человек, полез в драку с великаном! А Фатали — даже слов таких не отыщешь в родном языке, чтоб силу лермонтовских стихов выразить обнаженно, без иносказаний. И ведь вот какая загадка! — идут эти люди в бой, чтоб славу царя

приумножить... А на царском смотре войск, скоро, очень скоро, царь уже в пути... многих из сосланных не было: увели на ученья. Но Мишель был: их разделили — Мишель может на царском смотре быть, декабрист Одоевский — нет!

— Саша, ты слышишь?

— Да, да, слышу! — горькая хина, отрава, поможет ли унять дрожь, она снова волнами от пяток и кончиков пальцев, которые и кипяток не согреет, к макушке; согреться бы!!! следы роковые дней роковых, волна за волной, согреюсь ли?! и тогда наступит ясность, и слово за слово, мысль за мыслью, более мысль, нежели действие!.. О чем же они, Мишель и Али? Одоевский согрелся, но шинелей еще не скинул, а старый кавказец снял бурку, постелил ее на дощатый диван и лег, уже спит.

— ...разбудить Восток! Но хватит ли сил?

— Хватило б жизни! — Мишель, кажется, шутит: удивительное умение приземлять высокопарность.— Вот он, настоящий кавказец, прискакавший сюда с пестрыми уланами, ведомый седым генералом, разбудил Восток, а сам уснул... А я, между прочим, тоже намерен разбудить, но кого — еще не решил.

Шамиль — такая каналья, охотимся за ним, пытаемся взять, да ускользает. И возрождается из пепла сожженных аулов, как Феникс!

Будут охоты аж два десятка лет! И Мишель поохотится в отряде генерала Галафеева на левом фланге Кавказской линии, в Малой Чечне, «хотел воды я зачерпнуть, но мутная волна была тепла, была красна...».

— Уже пытался разбудить. Пришлось посидеть за свои стихи неделю в здании Главного штаба да испробовать силы в умении выводить стихи на сером листке с помощью печной сажи и вина, увы, не кахетинского.

«Вольнодумство более чем преступное!» Докладная Бенкендорфа и резолюция государя. Стихи пришли к нему

по городской почте с надписью: «Воззвание к революции». По всему городу списки.

И наивное «объяснение губернского секретаря Раевского о связи его с Лермонтовым и о происхождении стихов на смерть Пушкина» (ах, какие имена в чиновничьей фразе!..). «...Дано для переписывания; чем более говорили Лермонтову и мне про него (о дитя!.. надеется перехитрить, и кого? всесильного графа Клейнмихеля...), что у него большой талант, тем охотнее давал я переписывать экземпляры».

И кого вздумал Раевский вспомнить — Екатерину Вторую! «Лучше простить десять виновных,— какая щедрая царица!..— нежели наказать одного невинного!» Очень красиво, а главное, ведь фраза-то какая меткая... Это ж, дурья башка, привычка такая у наших властелинов — поступать затем противно, дабы на собственном опыте изрекать вам в утешение (а кое-кому для цитаций-нотаций) истины новые...

Хохотали петербургские сослуживцы Ладожского — агенты Бенкендорфа, филеры-фискалы,— как удалось обвести вокруг пальца наивного поэта и его доверчивого «переписчика»: «А ну мы позволим вам пообщаться, будто мы не ведаем, тупоголовые, о вашем желании списаться!» И посылает Раевский Лермонтову записку, желая помочь, через камердинера (а бенкендорфцы начеку, ждут! и записка — им в руки! читают, хихикают, «юнцы! юнцы!..» и не таких хитрецов ловили!..): «Передай тихонько эту записку и бумагу Мишелю. Я подал записку министру. Надобно, чтобы он отвечал согласно с нею, и тогда дело кончится ничем. А если он станет говорить иначе, то может быть хуже».

Потом допрос от «самого государя». А как допрашивали!.. Ну, сознайтесь! другу вашему ничего не будет! честью клянемся! а если запретесь!! если самого государя разгневаете!!! в солдаты!.. Один жмет, другой спорит, чтоб

доверие заслужить — авось сознается? аж до разрыва спорит, а потом, как не помогает,— «ну да, чего церемониться?! Штыком к стенке приткнуть, и весь разговор!..»

«Это вы рисовали?» Профиль Дубельта, начальника штаба корпуса жандармов.

«Нет, не я».

«Но нашли у вас, и стихи — ваши!»

Черновик!.. «А вы, надменные потомки!..» И рядом фамилии «надменных», «под сению закона»: Орловы, Бобринские, Воронцовы, Завадовские, Барятинские, Васильчиковы, Энгельгардты, Фредериксы. «Кем составлен?!» Можно было б добавить еще, чья-то рука поскупилась... Лермонтова на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк, а Раевского в Олонецкую губернию. «Боже мой! И я смею роптать! Ссылка на год! А каково ему?» Иллюзия одновременной, в тридцать седьмом году, ссылки и его, и Одоевского на Кавказ. Но после двенадцати лет, после читинского и петровского острогов! Через год он вернется к себе, в свой лейб-гусарский полк, в тот свет, который еще будет льстить ему! Те, которых он поносил в стихах, эти графы, князья, бароны, будут искренне льстить. И преследовать, тоже искренне, клеветой. И обида французов: будто бранил не убийцу, а всю нацию. «Его убийца хладнокровно...» О нем ли речь? «Боже мой! и я смею роптать? и при ком! При Одоевском!»

Вдохновенье? Хорошо мыслится и работается в изгнании, в заточении и когда сражены недугом? Мы машем мечами картонными, освистанные и затоптанные горланящими шарлатанами, плясунами, танцующими на фразе: «Довольно! Хватит!» Оставим пустую и бессмысленную болтовню, эту рылеевщину, эти сумасшедшие бредни Чаадаева, политиканство Герцена и попытаемся сродниться с нашею прекрасною действительностью? Но вот уже накапливается новая боль, новый стон, в кипенье бурлим, негодуем, накаленный рев в высокостенном, с петровских

времен не чищенном чугунном котле, вот-вот взорвется, и каждая рвань с осколок царь-пушки, но нет ни взрыва, ни осколка, нашелся кто-то, чуть-чуть приоткрывает крышку, чтоб вышел опасный пар и чтоб слегка поостыли страсти; изгнаны — высланы, сосланы, а там уже накапливается новая боль за поруганную честь, новый гнев за униженное достоинство и попранную человечность, в кипенье бурлим, накаленный рев в высокостенном, величество ваше, высочество ваше, чугунном котле! Кто это? Неужто Фатали?! Рано еще — он только собрался в дорогу, а она ах как длинна! Мишель?! Увы, не успеет. Или Одоевский? Озаренье в бреду лихорадки? Но не настоящий же кавказец?! Он спит, прикрыв лоб и глаза мохнатой бараньей шапкой, и во сне видит себя на почтовой станции в родной губернии, куда он добрался, чуть прихрамывая, нога прострелена, на плечах настоящая кабардинская бурка, тележка, а в нее запряжена пара верховых кляч, и он не спешит, хотя надо спешить, кто там, дома у него, остался в живых? Матери, наверно, уже нет, женой обзавестись не успел, но снится, что молода мать и ждет его невеста, он везет им разных персидских материй, рассказывает, поправляя на голове черкесскую мохнатую папаху: «Ужасные бестии, эти азиаты!» «Он мне: «Урус яман, яман!» — плохой, значит, русский, а я ему: «Урус якши, чок якши!» — очень, мол, мы хорошие».

«Эй, посторонись, встал тут на дороге!..» — Проснулся, голос Одоевского:

— Брось, что ты изводишь себя, они же вероломны!

Лермонтов только что шутил, и уже забыт Кавказ, а Одоевский, ему, слава богу, жарко, скинул шинели, но может простыть, и Фатали затапливает печь, успокаивает Лермонтова:

— Не сокрушайся! Эх, юнцы, юнцы! Разве можно верить царским служакам? Впрочем, мы сами тоже поддавались обману.

— Нет, нет, я не должен был так глупо доверяться.

«Ты не можешь вообразить моего отчаяния, когда я узнал, что я виной твоего несчастия...— писал Лермонтов Раевскому.— Я сначала не говорил про тебя, но потом меня допрашивали от государя: сказали, что тебе ничего не будет и что если я запрусь, то меня в солдаты... Я вспомнил бабушку и не смог. Я тебя принес в жертву ей... Что во мне происходило в эту минуту, не могу сказать,— но я уверен, что ты меня понимаешь, и прощаешь, и находишь еще достойным своей дружбы... Кто б мог ожидать!..»

— Нет, нет, дать так глупо себя обмануть!..

«Один мой хороший приятель, Раевский, слышавший, как и я, многие неправильные обвинения и по необдуманности не видя в стихах моих противного законам, просил у меня их списать; вероятно, он показал их, как новость, другому,— и таким образом они разошлись».

— Самая большая моя печаль, что Раевский через меня пострадал! — А в старости Раевский «для отнятия права упрекать память благородного Мишеля» напишет: «...Мишель напрасно исключительно себе приписывает маленькую мою катастрофу (!) в Петербурге в 1837 году».

Кавказская лотерея

Это известный метод: накалять и остужать, бить и обласкивать; до похвалы за восточную поэму, еще в Тифлисе, в апреле было сделано бароном Розеном замечание, а потом долгое-долгое внушение; может быть, оттого и хотелось ему сгладить резкость; это по памятному делу — началось весной тридцать седьмого, а завершилось осенью тридцать восьмого — об отчаянии армянских, а частично азербайджанских переселенцев из турецких провинций — обложены непомерной данью; пере-

селились после поражения турецких войск, по Адрианопольскому договору, еще при Паскевиче — из Арзрумской, Карской и Баязетской провинций, и — взбунтовались!

— Вы молоды, чисты и доверчивы, Фатали, у вас впереди блестящее будущее, не надо было вам встречаться со смутьянами. Эти полудикие переселенцы!

— А вы произвели на них такое благоприятное впечатление, барон!.. «Нашли наконец-то живую душу!» «Неужто,— рассказывали они,— мы обманывались, когда переселялись сюда, к своим же?»

— Учтите, ласковое и снисходительное обращение с ними они почитают слабостью, я дал команду для обуздания и отклонения вредного примера от других, а также для поселения в них страху...

— А они на вас надеялись... «Счастливый, под началом такого генерала работаешь!» — говорили мне.

И в рапорте военному министру барон пишет: «Меры кротости и убеждения на них не действуют, как и вообще на азиатцев, пребывающих в невежестве; дальнейшее снисхождение им послужит весьма опасным примером для всех других, не только переселенцев, но и коренных жителей, и не в одной Армянской области, а и в прочих провинциях, при каждом исполнении требований начальства». И в конце секретного отношения мысль: «Все эти распоряжения я покорнейше прошу ваше сиятельство подвергнуть на высочайшее благоусмотрение его императорского величества». «...Без послабления и всякой уступчивости!» — изволил найти государь.

— А не поможет,— завершил тогда внушение барон,— что ж...

— Но им нечем платить! Земли у них каменистые, ничего не родится, а тут повинности почтовые, поставка дров, а лес-то далеко, за полсотни верст, содержание есаулов, не мне вам рассказывать, какие это грабители...

Первый устный выговор. Трещинка, трещинка, зама-

зать, чтоб не разрослась!.. «...трогательную восточную поэму...»

На всем протяжении следования главнокомандующего барона Розена из Сухуми к Анапе, где предстояло обеспечить безопасность движения государя, о боже, как долго он едет!.. им попадались беглецы крепостные.

Еще в Сухуми — долго говорил казах, низвергая трудноуловимые Фатали слова, вспотел, глаза красные, размахивает руками, рубашку поднял, спину всю в рубцах показывает.

— Постой, постой! Спросите их, отчего бежали?

И снова посыпались слова, но Фатали уловил смысл:

— Притеснение им от есаула, не поддержал хан, отказал в помощи оренбургский военный губернатор.

Барон информирован о Букеевском ханстве, восстали там киргизы («Казахи, казахи мы!..»), неспокойно, уже год как бьются, никак не восстановят порядок на берегу Каспия.

— За помощью к султану? Против нас? Это кто ж вас надоумил?! — Ведь надо же: с такими-то рожами прошли незамеченными, не остановили их! Так-то обеспечивается безопасность сообщений с Закавказьем?! Как шли-то? Разве дознаешься?

А у башкиров из Татарии иные беды.

— Объясните им, Фатали, что слухи эти ложны и нелепы, никто магометан в христианскую веру обращать не намерен.

У одного уже есть на лице знаки,—наказан за бесчинства, у другого чересполосица на спине от свежих ран. Шпицрутенами через сто солдат? кнутом? плетьми? а потом на земляные работы, очищать горные завалы, дороги к аулам? и чтоб там их — горские пули?!

А вот те, которые им в Анапе попадались, свои же, русские крестьяне, что ж они?! Бегут на Кавказскую линию, возмечтали — по ложным слухам — о вольности.

А слухи будоражат воображение крепостных, множась в кабаках и на базарах. Читал, читал барон Розен, присылали знакомиться и ему, свод мнений насчет внутреннего состояния России.

Так всегда: при каждом новом царствовании возбуждается в народе мысль о свободе. Ждут, а ее нет и нет, и начинается: ропот, пожары, их много... пожар в Зимнем! во мраке долгого зимнего вечера!.. и всю ночь гигантские зубчатые языки!.. пляска мести! крепостных, студентов, беспоместных дворян из чиновников, которые, будучи воспалены честолюбивыми идеями и не имея что терять, рады всякому расстройству, писак всевозможных, тьфу!

победили шаха — жди свободы!

турку прогнали — перемены случатся!

Аракчеев богу душу отдал — амнистию жди!

а ожил, сказывают, великий князь Константин Павлович, из мертвых воскрес — быть чему-то непременно!

бракосочетание княжны Марии Николаевны, ну да, барышня уже! — снова вести о свободе!

как? неужто его высочество наследник женится на дочери — кого бы вы думали?! — вчерашнего врага! турецкого султана!.. хитрость-то какая!..— и на радостях сожгут три губернии!

Царь, дескать, хочет дать свободу, а чиновники противятся!..

Но объявление свободы — это мнение здравомыслящих — может от внезапности произвести беспорядки, разгул черни, благоразумная постепенность и постепенное благоразумие, господа!

А поток просьб неостановим: кто ж заступится? «Всеавгустейший монарх, всемилостивейший государь! Первый по боге, отец наш, воззри на невинностраждущих!..» А это — поновей: «Взирая оком домостроителя на обширное государство свое, процветающее под сению благодетельных законов, карая неправды...»

Фатали понимает, когда горцы или земляки. Или даже грузинские князья и польские возмутители, сосланные на Кавказ. И армяне-переселенцы. Или гурийцы — сколько тревоги было! Разогнали пограничную кордонную стражу, разграбили казачий пост, разорили таможенный пост, напали на карантин, сожгли два казенных кирпичных завода...

Но когда свои же! И покойный Бестужев! И эти крестьяне! Что ж они-то?!

— Да кто ж тебя, дурья башка, допустит до государя?! — Узнали ведь, канальи, что государь на Кавказскую линию поехал.

— Меня никак задерживать нельзя, выданную мне доверенность от мира при сем имею счастье всеподданнейше представить государю.

А ну что за прошенье — взять!

— Сам вручу, сам!

— Выловить всех до единого!

А ночью снится Фатали сон: сам Николай Павлович запросто беседует с ним, улыбается, надо что-то попросить, но что? Затем в фаэтон посадил, а фаэтон особенный, вместо коня пушка на колесах движется. Едут они, вот он, рядом с императором, дотронуться может, да опасается. Вдруг в зале они, кто-то подходит и отзывает государя, а Фатали ждет, ждет, нет его, надо попросить, но о чем — сообразить не может, а надо, когда еще такое случится? Может, написать ему?! А его задерживает генерал, сам барон:

«Как вы здесь оказались?! Кто вас впустил?!»

«Да я же почти полдня с государем был, в фаэтоне с ним катался!»

«Что за бред? Вы с ума сошли, Фатали! Как вы сюда попали?!»

А в руках у Фатали какая-то бумага.

«Прошение?» — спрашивает барон.

А там перечень наказаний: приговорен к колесованию; шпицрутеном через двести солдат; прогнать через строй; «Ах, болен?! что ж — додержать присужденное ему число ударов по выздоровлении!» кнутом! плетьми! розгами! палками! нагайками! батогами! ссылка в каторжные или крепостные работы! отдача в солдаты! поселение сибирское! и прочее и прочее и прочее. И еще приписано: «восточная пытка — зашить жилами рот!! бунтарский, кричащий!..» — разорваны губы, висят, окровавлен рот!..

И вдруг — государь. Не узнает его. «А этто ктооо?!» — круглые губы, круглые-круглые глаза, круглое и выпуклое что-то пошло, покатилось на Фатали. «Это татарин!» — лепечет барон. И огромное колесо мимо прокатилось, будто оторвалось от телеги (но ведь был фаэтон!).

«О чем же хотел спросить?» Не вспомнил и когда проснулся. Может это: «Как же свой-то против тебя, государь?»

А тут, как назло, и именно перед царским смотром войск па Кавказе, все в том же долгом тридцать седьмом пошли неудачи, и первая — позорное поражение у Ашильтинского моста в Аварии. Горцы взобрались почти на перпендикулярные, как сообщается барону, скалы и стали во множестве низвергать с высот огромные каменья, а потом с яростью бросились в рукопашную! Пал генерал-майор граф Ивелич, командир Апшеронского пехотного полка,— сраженный пулей, упал в пропасть, и два горца потом отыскали в ущелье; выкупили тело.

Двухмесячное беспрерывное движение по гористым местам, износилась одежда и обувь, половина артиллерийских и казачьих лошадей перебита, артиллерия пришла в негодность.

И восстание в Кубе!

Аббас-Кули зашел к Фатали, когда тот переводил очередное воззвание к восставшим кубинцам.

Бакиханов пробежал текст.

— Опять? Узнаю барона! Это его: «...рука Шамиля!.. Виселицы!! Расстрел!..» Я говорил ему, нельзя так стращать! Надо же знать кубинцев!

Аббас-Кули прав, но Фатали молчит.

— Кстати, не мешало бы твоему барону объяснить, чем вызван мой спешный вызов. Я ж работу свою неоконченную оставил в Кубе! Хочет меня обезопасить? За мою жизнь опасается? Или это — форма недоверия? Это оскорбительно. Я как-никак полковник... И это воззвание тоже! Чем он думает, твой барон?!

«Почему мой?»

Фатали — к барону Розену:

— Я бы в этом воззвании...

— Что, Бакиханов здесь?! — Догадался, черт! — Это он вас надоумил? Я вашего Бакиханова насквозь вижу. Именно так, и ни буквы не менять!

Распустили слух, что «и наш Бакиханов» причастен к возмущениям; восстание подавили, но на всякий случай командировать в Кубу еще один батальон ген.-фельдм. кн. Варшавского гр. Паскевича-Эриванского (о боже, как длинно приходится писать!! пока выведешь, и войска не поспеют!..) полка; и еще один батальон — в Баку до окончания военного суда над зачинщиками кубинского восстания (зачеркнуть! никаких восстаний! «возмущения»!).

Государь ехал через море. И уже в Кутаиси — пожар запасного хлебного склада, зрелище показалось дурным предзнаменованием, в глазах постоянно играл огонь, предчувствие не обмануло: зарево горящего Зимнего дворца в том же тридцать седьмом! Он знал: это должно случиться! Иногда шел пешком, колеса вязли в грязи до самой оси, и встречи раздражали, и смотром остался недоволен, какая-то гарь в горле, дыму наглотался, непременно быть еще пожару!

Парадным разводом командовал зять барона флигель-адъютант князь Дадиани, а развод был на площади при стечении народа. Вдруг государь приказал военному губернатору Тифлиса Брайко сорвать аксельбант с Дадиани. Губернатор подошел к князю и, протянув руку, а сколько пировали вместе! сорвал с него аксельбант, толпа замерла, и, как гром над ухом, крик г. и.: «С фельдъегерем в Бобруйскую крепость и там судить!..» В ушах зазвенело. Вот она, царская служба! И закатилась звезда барона...

После Розена ждали, а вдруг снова Ермолов? Но пошли-поплыли другие, один нежданнее другого, пока не пришел Воронцов.

Так всегда на Кавказе: вроде бы двоевластие; и при Ермолове тоже — еще действует, а уже новый прибыл, Паскевич. И сейчас: барон пока не ушел, а распоряжается Головин. Дадиани и прочее — лишь повод: барон не сумел обуздать горские племена.

Как же можно лишать туземную знать прав? Упускать из виду важность посредства знати между нами и туземной чернью? (как эстафета, передается эта мысль, запечатленная на секретных заключениях главнокомандующих — главноуправляющих — наместников). Грубые понятия черни, привыкшей смотреть на вещи только наглядно, могут быть руководимы не иначе, как сильным и ближайшим влиянием своего высшего сословия. Правительству легче привязать к себе несколько частных лиц из местной знати (боже мой, сколько тут способов!), и тогда выжмут из своих народов соки. А дабы приручить и к порядку призвать,— высокие чины с прикомандированием к казачьим полкам. Ведь как исправно служит, готовый сверкать шашками, наш конно-мусульманский полк в Варшаве! И команды мусульман в собственном императорском конвое. И особые отряды противу горцев. Пользуясь влиянием местной знати, действовать на народы.



«Стоп! Стоп!..» — это Кайтмазов.— «Как можно?! Ведь секретно!», да, не забыть: непременно объявлять туземным вождям высочайшие рескрипты... и о всеобщих торжественных случаях не забыть... а что может быть радостнее для верноподданных, как тезоименитства государя и государыни?!

И все же — кто-то над ухом государя ноет — от Закавказского края мы терпим одни убытки.

А государь только что провел в Аничковском дворце, где снова живет после пожара в Зимнем, прибыльную лотерею, очередная его страсть... Из английского магазина во дворец привезли золотые портсигары, украшенные драгоценными камнями, старинные серебряные кубки, египетские статуэтки, китайские веера, а камер-лакеи разместили их на столах в зале рядом с гостиной императрицы, а после чая государь подойдет к столику, где лежит стопка игральных карт, на одной — точь-в-точь его лицо, в двух проекциях. И под каждой вещью, вроде номера,— карта.

«Король трефовый... а мы их проведем!» — и обозначил им дешевый китайский веер с изображенным на нем драконом.— «А двойку бубен — к золотому портсигару!.. Что же обозначить валетом червей? — задумался государь.— Может, малахитовую шкатулку?»

— Господа, кто желает купить у меня туз пик? Славная карточка!

«Я!» — это князь Врязский. «Позвольте, я!» — это граф Роффенгроф. «Может, я?!» — басит барон фон Грон.

— А что дадите? — добродушный тонкий голосок, улыбается.— А?..

«Двести!» — картавит граф и без «эР». «Триста!» — и легкая дрожь в голосе князя. «Может, триста тридцать?» — почему бы барону не сделать приятное государю?

А он ах как забавляется: — Господа, расщедритесь! Ведь такая карта — король треф!

И когда карты распроданы, государь в сопровождении генерал-адъютанта и дежурного камер-юнкера идет к столам, а флигель-адъютант называет карту, обозначающую вещь, и сам государь лично ее вручает. Ух, сколько денег! Оплатить стоимость английскому магазину, а остальное — на благо государства.

«Да-с, такую бы прибыльную лотерею с Кавказом!..»

«Закавказский край — «неужто это Розен сказал? нет, кажется, Ермолов!» — смесь разнородных племен, языков и обычаев. Общее у них только одно — невежество». Как устранить безвыгодность и приискать средства сделать край сей полезным для России?

«Я имею в виду, государь,— это молодой энергичный Ладожский, еще в Санкт-Петербурге, перед назначением на Кавказ, в гражданское управление наместничества,— в предстоящем случае уничтожить навсегда мнение о непрочности владения, а что пререкает сему, должно быть непременно изменено, ослаблено, уничтожено».

«Ай да молодец Ладожский!..— Очень по душе императору эта простая фамилия, есть в ней что-то доброе, ладное...— Ах, вы еще не кончили, извините!»

«...природное наше дворянство одно в состоянии составить верный надзор как самая бдительная и верная сила, да, да, государь, я понимаю, такая перемена судьбы должна быть для туземной знати тягостна и оскорбительна».

«И что же?»

«...и туземное дворянство! Сии новые дворяне, быв воздвигнуты из ничтожества нашим правительством, непременно возлюбят...» «Что еще?» «...отсылать для окончательного образования в Москву или Петербург в корпуса, академии и другие училища! По выпуске из сих заведений пять лет прослужить в наших краях, и тогда

перемещать их можно за Кавказ. Отлучка, воспитание и служение среди наших и иные факторства,— и тем самым ослабить туземное противудействие».

«Но сколь долго?!»

«...какие бы ни случились в будущем перемены, увы, вполне доверить нельзя, и посему непременно, так сказать, за кулисами...»

«Да, да, именно! Это хорошо — за кулисами! Вторые, но на первых ролях. Ах, за кулисами, нежно-розовые мотыльки... И какая славная нынче лотерея была... Сегодня бал-маскарад и княжна Врязская, нечто крупное, податливое и холодное под горячей рукой,— вряззззь! Что еще? Ах, да, стишки, поэмка в журнальчике, из Москвы нынче прислали. «Ваше имя — но так дерзко! туземец!.. рядом с этим, как его, камер-юнкером...»

И уже: «Не написал ли чего лишнего этот духовный вождь, муфтий в своем воззвании к горцам?..» — первое задание генерала Головина Фатали.

— Позвольте перевести?

— Некогда, пробегите глазами, что у него насчет государя императора?

А Фатали уже увидел в воззвании муфтия и о нем, новом главноуправляющем Головине,— не это ли не терпится узнать Головину?

«...мы, мусульмане, совершенно осчастливлены нахождением под покровительством доброжелательного всем государя великого императора, именуемого Николаем...»

— Вычеркните «именуемого»!

«...высокочтимого, а щедростью своей могущего охватить все климаты Ирана, Хошемтая...»

— Что за климаты? что за Хошемтай?! Ну и неуч же ваш шейхульислам! Вычеркните эти климаты!

— Лучше оставить.

— Это почему же?!

— Так звучит более по-ученому, производит впечатление!

— Вы так думаете?..— о боже, к каким дикарям я попал! — А что дальше?

«...храбростью, героя в мужестве, владеющего гербом Константина, фагфара Китайского в обращении с людьми...»

— Что-что?

Фатали улыбнулся: — И сам не пойму, что за фагфара!..

— А не ругань?

— За это ручаюсь!

— Ну-с, что еще там?

«Мы в лице государя имеем до того совершенного, что, если кто из начальников задумает мысль об угнетении, он его тотчас низложит, а на его место совершенного в милосердии уже назначил,— это о вас, ваше высокопревосходительство,— обладателя многими щедростями генерал-лейтенанта, первого в городе Тифлисе, для похвал которого не хватит слов!»

— Ну к чему это? — поморщился.

— Может, подправить чего?

— Бог с ним, пусть остается!.. И как подписал?

«Шейхульислам муфтий Таджут дин-эфенди-ибн Мустафа-эфенди-Куранский».

Началось с воззваний, это генерал очень любил, к горским племенам с требованием покориться. А затем карательные экспедиции.

Три месяца осады Ахульго, где засел Шамиль. Зной, рев, гул орудий, удушливый пороховой дым, пули, осколки, снаряды, камни, бессонница и голод. Шамиль заключил мир и выдал в заложники своего сына Джамалэддина. Но Головин радовался раньше времени: Шамиль только начинался. А тут еще и побег Хаджи-Мурата из тюрьмы, и часть Аварии примкнула к Шамилю.

Пулло, Граббе!.. «Ишаки и тот, и другой»,— кричит Головин, зная, что найдутся люди, которые передадут.

Пулло с мелкими-мелкими глазами, круглыми как пуговки, и ему доверился хвастун Граббе, большие руки, как лопаты, и лицо квадратное. «Так и передайте им. Не давать покоя. Изнурять осиные гнезда бессонницей, жаждой, голодом...»

А к тому же еще объявился один из близких людей Шамиля, будто ездил к египетскому паше, вот и письмо, с печатью, фальшивка!

И канцелярия днем и ночью работала. Фатали и не предполагал, сколько племен — какие уже покорились, какие — полупокорны, а какие — еще бьются.

Под сенью белого падишаха

О наивный мучтеид Ага-Мир-Феттах, или просто Феттах.

— Да, Фатали, в Персии не более трех таких людей, как я, духовный вождь мусульман-шиитов. Самого шаха я не боюсь, только тайно он может мне вредить. А в моем воображении ваш белый царь был идеалом ума и справедливости. Я видел столько тупой жестокости и насилия, что возгорелся ненавистью к шаху. Это именно благодаря моему влиянию Тавриз сдался Паскевичу. Я знаю, ко мне был приставлен единоверец наш, чтоб шпионить за мной: так ли, мол, я искренен, нет ли у меня иных целей? И когда заключили мир, я решительно объявил Паскевичу: мечтаю служить белому царю; бросаю дом, имущество — все. Паскевич поддержал меня! «Мы вас назначим,— сказал он мне,— верховным начальником всех шиитов, в провинциях наших находящихся!»

Фатали молча слушает, он знает о намерениях Паскевича: установить с помощью мучтеида надлежащий надзор за муллами.

«Я добьюсь для вас,— сказал мне Паскевич,— ежегодного пансиона. Дадим имение вам в провинциях наших,— вы же хотите создать под сенью белого царя рай, не так ли?» Мне пожаловали орден Святой Анны первой степени, пансион, отдали в пожизненное владение имение, поди пойми вашу хитрость, пожизненное или потомственное? имение — деревни бека, сбежавшего за границу... Да, я мечтал создать в своих владениях образцовый мир справедливости и братства. Но началось... Тянул ваш ширванский комендант, тянул пристав, тянул каждый, кому не лень. А потом узнаю: пожизненное владение. А как же, если я умру, моя семья? семьи моих родных, поверившие мне и бросившие родные места?!

«Ты из преданности России,— кричит мне жена,— сделаешь нас нищими! мы хотим вернуться в Персию».

«О каком рае мечтаешь? — бил себя я в голову. Но кому жаловаться?! Паскевич в Варшаве...»

Переполох в Тифлисе: исчез мутчеид. А тут донесение из Ставрополя: только что проехал Феттах и направил путь в Варшаву для свидания с Паскевичем.

Непременно задержать! А ведь обманул — кому-то не снести головы! — изъявил лишь желание отправиться на Кавказские минеральные воды, получил на проезд подорожную и — переменил намерение.

Была уже встреча с линейными казаками. «Бумага Паскевича?..» Сын переводил по-русски, выучился, не надо переводчика. А потом встреча с горцами. Тут — другая бумага, им самим составленная, по-арабски. Нашелся кумык, который прочел. От шаха? А может, участь горцев будет решена? А вдруг обман какой? Эй, с кем говоришь?! С мутчеидом! Молитву прочту — ослепнешь!..

Депеша военному министру, а тот — государю. «Отправить нарочного фельдъегеря остановить его на том месте, где застанет!» А вдруг какая тайная связь?! Только что в Закавказье сосланы поляки-бунтовщики.

Фельдъегерского корпуса поручик Макс Ланге, отправленный для задержания едущего в Варшаву вождя закавказских шиитов, прибыв в Брест-Литовский, узнал, что мучтеид проехал в Варшаву по подорожной воронежского гражданского губернатора, вследствие чего поручик отправил по почте конверт на имя Паскевича в Варшаву, а сам поехал обратно в Петербург. Паскевич долго понять не мог: Ага-Мир-Феттах и — Варшава!

И пошли обиды мучтеида — комендант, наиб коменданта, тянут, отбирают, грабят! И это — за его верность и преданность? А разве не он помог сформировать шиитские конные полки в турецкую войну, чтоб били проклятых суннитов? Паскевич окрылен победой над польскими восставшими, и ему не откажут, помогут мучтеиду.

И вдруг горит дом мучтеида в Ширванской провинции. Командировали туда для особого секретного дознания офицера корпуса жандармов, но улики ведут к коменданту... Закрыть дело...

И новый пожар — дом в Тифлисе. И сгорают в бушующем пламени семеро из его большой семьи. Месть? «Я просил, чтоб взяли меня на некоторое время в Россию! Или увольте на паломничество в Мекку!» Сгорело все: и деньги, и ценности, и ковры, и одежда, и книги... Из казны выданы деньги в долг, а просьба о паломничестве отклонена.

И проверить: все так же верен или угасла вера? разрешили — одному, без семьи, отправиться на поклонение в Мешхед, затем в Исфаган, чтоб приобрести, как просит, «некоторые книги, побывать в Тавризе и продать недвижимое имущество и вырученные деньги употребить в уплату долгов».

Вскоре вернулся, угрюмый, молчит, нет ему покоя здесь и нет веры там, на родине.

Что подскажешь, князь-граф? «Дозволь приехать для личных объяснений...» Письмо попало к царю. «Пусть пе-

редаст, что имеет пересказать, на бумаге генералу от инфантерии Головину или письменно — мне».

Что ж, вот мои последние требования, и, если одна просьба не будет удовлетворена, да, да, так и запишите, Фатали! я облачусь в дервишский отшельнический наряд и покину белого царя!

(«Так тебя и выпустят!»)

Построить дом, поблизости — мечеть с училищем. Дозволить выписать из-за границы книги без задержания их в таможнях и разрешить отправиться для покупки оных в Багдад и Стамбул и привезти прямо в цензурный комитет в Санкт-Петербурге.

А ну выясним (это Головин), так ли нужен он нам, как расписывает Паскевич? И как его ценят в Персии, куда вознамерился вернуться?

Головин пишет полномочному министру при персидском дворе и генконсулу в Тавризе.

«Да, шахский двор не питает к нему расположения, а уважение в народе к нему велико, главным образом, по отцу, почитаемому святым».

Куда сбежишь, мучтеид? Империя большая, но клетка!

«Находясь за границей, он может быть вреден нам по влиянию своему на умы последователей Алия... Не позволите ли найти полезным поручить нашей миссии употребить старание к склонению его возвратиться в наши пределы, обнадежив...»

«Основание преданности моей нисколько не поколебалось. Но какое горе свалилось мне на голову! Дети мои по стесненным обстоятельствам и беспомощности отправились в отечество, но в одну ночь — расследуй, государь! — не ропщу, отравленные, скончались оба. Происшествие сие так поразило меня, что, оторвав сердце от всего мирского, я предпринял путешествие. Но в странствии моем ваш полномочный министр внезапно известил меня о милосердии вашего и. в. Пустившись в обратный путь, в Тифлис,

я прибыл в Тавриз. И тем тягче становились воспоминания о смерти детей. Я не мог представить себе Тифлиса с окрестностями, напоминающими мне о детях. Нет мне возможности жить здесь и нет мне возможности жить там, у вас. Удостойте повелеть, чтобы семейству моему разрешено было приехать из Тифлиса в Тавриз...»

Воронцов (уже Воронцов?!) любит иметь под рукой на непредвиденные случаи — особенно на Кавказе! — людей. Вот и Ханыков, знаток Востока, пригодился; чиновник по особым поручениям; и его сиятельству была инструкция свыше: поручить Ханыкову разведать секретно о находящемся за границей Феттахе, бывшем некогда «тифлисском» мучтеиде — не имеет ли влияния на единоверцев подвластного наместнику края, а главное, не состоит ли в письменных сношениях с духовенством дагестанским, с Шамилем. Мол, неуспехи — причины вовне. Ханыков — чиновник, но ему поручено дело, к которому не лежит душа, и он поделился своими тревогами с Фатали, а потом и позабыл о неприятности миссии и проявил такое неуемное рвение, что Фатали развел руками.

И Ханыков честь имел почтительнейше представить на благоусмотрение его сиятельства собранные сведения; он знал, чего хочется князю, постарался, чтоб его данные отвечали пожеланиям начальства; тогда оно еще раз удостоверится в своей прозорливости, и это непременно отразится на отношении к подателю докладной — то есть к Ханыкову, ибо он укрепит князя в его интуитивном чувстве истинного состояния дел; надо чуть-чуть переакцентировать известные факты и то, что казалось ало-ярким и привлекательным, сгустить настолько, чтоб краски слегка потемнели:

«Перешедши в Россию, он значительно утратил свою важность в Персии как человек, предавшийся неверным исключительно из видов корысти... причуды его слабоумия! превратить свой дом в райский уголок!.. (а ведь в

Тифлисе сад мучтеида разросся, стал парком!..). Нет, он решительно никакого влияния на персиян не имеет — вот результат его преступного поведения, навлекшего на него справедливый гнев государя: «исключить из российского подданства и запретить въезд в наши пределы»; «зря его князь-граф защищает».

Очень хотелось Ханыкову найти хоть какую-нибудь ниточку, выводящую на связь мучтеида с Шамилем, чтоб косвенно дать князю для успокоения еще одну самооправдательную оговорку в связи с даргинской неудачей. Но не получилось никак.

А ведь придется потом встретиться с Фатали! И скажет он:

— Мы же с вами востоковеды, неужто не знаете вы, что раздувавшаяся веками между суннитами и шиитами вражда Персидской и Османской империй почти исключает возможность влияния шиитского мучтеида на дагестанское суннитское духовенство?! Ведь вам же выступать с проектом положения о мусульманах-шиитах: «...все высокоторжественные дни должны быть празднуемы ими молениями, по обрядам своей религии, господу богу о здравии и долголетии царствующего дома и членов августейшего его дома».

— Да, ты прав, Фатали!

И все же надо облечь мысль в форму замысловатую, думает Ханыков, и пишет:

«Догмат шиитского толка, повелевающий им скрывать свои верования в сношениях с суннитами, всегда вселяет в последних недоверие к отступничеству шиитов, и хотя есть примеры принятия последователей Алия в общества суннитские, но новые прозелиты остаются без малейшего влияния и занимают всегда роли второстепенные».

Воронцов считает, что именно с его наместничества начинается новая эра в покорении Кавказа, и Ханыков — о том же: «Общее неудовольствие вредным невниманием

многих главноуправляющих приготовило запасы ропота и смут в Нахичевани, Карабахе и Талышинском ханстве, коими Феттаху легко будет воспользоваться; и поэтому для выгоды нашей полезно было бы склонить персидское правительство на то, чтоб оно пригласило от себя Феттаха провести последние дни жизни где-нибудь в святых местах — в Кербеле или Мешхеде, свободно посвящать дни свои подвигам благочестия».

Так и закончил дни свои старец, мечтавший создать идеальный рай в краю справедливости и порядка. Но ни у кого не возникло и мысли, ибо кто знал, что белый саван, в который облекли тело умершего Феттаха, хоть как-то может быть увязан с образом белого царя, так пленившим в свое время мучтеида; потеряв сыновей и доброе имя среди единоверцев, чуть не сгорев при пожарах, лишившись любимых книг... Но кому нужен этот твой рай, Ага-Мир-Феттах?

— Фатали, ради бога, не жги бумагу! Сколько можно?! Пишешь и жжешь, пишешь и снова жжешь!

Было ясно, но начало запутываться. Четкая иерархия и порядок. И каратели — не каратели, а приносящие благо. И бунтовщики — возмутители, которых надо усмирять. Но краю нужен покой! Он измучен междоусобицами, разбоями, дикими набегами. Как в окружении сильных и больших государств удержаться? И — лучше царь, чем шах и султан. Ведь вот же — бежал из Ирана Фазил-хан Шейда. Да, да, тот, кто с Пушкиным встретился: северный поэт на юг, а южный — на север с извинительной поездкой (фанатики российского посланника убили).

Фатали поручено опекать беглого поэта, тот ему в отцы годится.

— Он поглядывал на мои крашенные хной ногти,— рассказывает Фазил-хан Фатали о встрече с Пушкиным,—

и произносил какие-то высокопарные слова, будто на приеме у Шах-Аббаса, я его перебил. Дорогой мой человек, говорю ему, не надо, давай проще, ведь мы с тобой поэты, и я не шах!

— Ну как? Червонцы целы? — при Фатали спросил Бакиханов.

Фазил-хан тогда, в свою извинительную поездку с сыном Аббас-Мирзы Хосров-Мирзой, получил в Петербурге от императора золотые часы, бриллиантовый перстень и несколько сот червонцев.

А накануне Бакиханов — Фатали: «Прочел бездарную оду, возвеличил императора!..»

— Как жить-то будешь?! — спрашивал Бакиханов, а тот молчит, сердится, но виду не подает.

Даже Фазил-хан Шейда сбежал в Россию. И нечего, выходит, бунтовать горским племенам. Угомонились бы — пошла б спокойная жизнь...

Но очень уж оскорбительный у воззваний тон.

«Наши войска истребят ваши аулы и все имущество ваше, и вы навсегда лишитесь земель, ныне вами занимаемых».

Но отчего ж царские бегут к горцам? И немало пленных!

— Я бы этих беглецов! — И не может Головин придумать более страшной казни, чем есть: сожжение сел, истребление припасов, угон скота. Старик с обгорелыми бровями и бородой. Девочка над трупом матери, вся измазанная сажей. Что еще?!

Шамиль: «...знайте, что те, кто перебежал к нам, стали чистыми!»

— Эй! — кричит кто-то в ауле.— Из этой миски есть нельзя! из нее гяур ел! испоганил рот — пойди умойся в реке... Только далеко не ходи, на той стороне гяуры, убьют тебя...

И генералы, генералы! «Тут одно дело намечается!..»

Но ни звука: убийство Шамиля. Или хотя бы его мюрида Ахверды-Магому... Жаль Хаджи-Мурата упустили, бежал! А о карательном отряде генерала Бакунина в селение, где укрылся после побега Хаджи-Мурат, рассказал Фатали сам Хаджи в минуту смятения в Тифлисе, уже замышляя новый побег. Они смотрели итальянскую оперу в новом тифлисском театре. Сначала у Фатали о Нухе спросил: кто у него там и как найти, а потом о Бакунине: «Андийские войска от Шамиля помогли, бежали урусы, а генерал погиб...» И вдруг: «Я должен быть в Нухе. Оттуда я пошлю человека к Шамилю. Он не смеет убить мою семью!» — «А ты бы посмел?» — «Я бы?» — задумался. «Да, я бы посмел! Я Гамзат-бека убил и не дрогнул. Я многие семьи уничтожил. Убьет Шамиль, непременно убьет. И ваши мне не верят, я бы захватил Шамиля, пусть дадут мне войско!..» — «Да, упустили Хаджи-Мурата»,— сокрушается Головин, думая о новой затее.

«Неужто,— спрашивает он у генерала Граббе,— не найдутся люди, которые решатся на истребление? Сумму какую употребить? До двух тысяч серебром из средств экстраординарных!..»

Нашли человека. Из чеченцев. И он убил первого после имама — Ахверды-Магому!

«Может, и с Шамилем рискнем, а?»

А пока думали, выяснилось, что Ахверды-Магома жив. И еще один слух окажется ложным, пока — уже при Воронцове — не будет действительно убит.

Воронцов узнал об этом, когда подписывал донесение к военному министру. «Магома?! Неужто?! Не Кибит, а Ахверды?! Поздравляю!..» — и улыбнулся лисьей своей улыбкой. «Ай да молодцы!» И стал читать дальше свое донесение: «...громкий и единодушный возглас за здравие государя императора, при пушечной и ружейной пальбе, дал знать неприятелю, что мы празднуем приобретение этого края, отнятого окончательно».

Усилилось дезертирство: из неблагонадежных (наводнили Кавказ бывшими мятежниками да злопыхателями-болтунами!), из ссыльных поляков. Из них Шамиль составил даже стражу, лично — свою, отвел им земли, а пока строят дома, Шамиль позволил им жить у кунаков. Одно время побеги уменьшились, когда узнали, что плен — пуще каторги, изнуряют тяжкими работами, но Шамиль изменил тактику: дарует дезертирам свободу. Льют орудия в Дарго, льют ядра и картечь на дворе Шамилева дома.

— Фатали, поговорите с ним, чего он от нас хочет?

— Я Чага Акаев.

— Кумык? — понял тотчас.

— Да, из андреевских.

— А я Фатали, из Нухи.

— Я Оздемира убил!

— А кто такой Оздемир?

— Ай-ай-ай! Чеченского наездника Оздемира не знаешь? Пятьсот воинов Шамиля, а он их начальник!

— Почему убил?

— Радоваться надо, а не «почему»! — И смотрит на Головина: мол, не радуется, как же так, начальник?! — «Вот доказательство!» — показывает Фатали кисть к шашке, вроде темляка.— «Читай! Что, трудно?» — наглый такой малый.— «Я наизусть выучил: «Нет Оздемира храбрее, нет его сабли острее!» Это Шамиля орден! Я, Чага Акаев, убил Оздемира!»

Ладожский ни одного туземца не упустит, чтобы досконально не выведать: кто? нюансы психики, поведения, обычаи?.. И Фатали тоже: все, что знает, доверчиво выкладывает — чтоб установился наконец-то мир на этой земле!

Ладожский ему: «Мы с вами послевоенное поколение и легче поймем друг друга». Будто сговорились: и Кайтмазов ему как-то о том же: «Мы с вами...» Ну да, а как же, ведь в двойном подчинении: внутреннем (Ладожский)

и внешнем (Никитич); но Никитич ни разу не сказал Фатали, что они-де — послевоенное поколение.

— А какую войну вы имеете в виду? — Надо уточнить, чтоб не было кривотолков.

— Какую? Неужто неясно? Отечественную! — Мало ли какие войны были? И персидские (две), и турецкие (тут со счету сбиться можно).

Фатали согласен с Ладожским: бесцельна вся эта мятежность, эти вспышки горстки людей,— ведь сила на стороне царских войск! Но с некоторых пор — и лицо Ладожского недоуменно удлиняется, даже макушка видна, а челюстью, как штыком, проткнешь любое чучело: бесцельна, согласен, но надо показать царю, что с нами нельзя безнаказанно, что это — все же наша земля и мы готовы добровольно соединиться с более сильным, с более опытным.

А Ладожский затеял нечто дерзкое — новые прожекты государю: как иные средства использовать для усмирения. На Фатали посматривает многозначительно.

Исчез, долго его не было. «Господин Ладожский, вам уже не понадобятся уроки татарского?» А Ладожский и татарский хочет изучить, и кумыкский, и ногайский, и...— все тюркские языки сразу. И похож на кавказца, только усы чуть желтоватые, но и такие встретишь на Кавказе. Может, с идеями в столицу ездил? Очень уж совпадали меры, применяемые против непокорных племен, с тем, что предлагал Ладожский — найти посреди тех же народов людей, через которых деньгами и щедрыми подарками действовать, сеять раздор между племенами и вождями и тем ослаблять.

Как карточные фигуры, разложил перед собой наибов Шамиля Головин: Ахверды-Магома (убийство провалилось); Хаджи-Мурат Аварский (упустили); Кибит-Магома Тилитлинский (входили с ним в сношения, падок до богатства, но одних денег оказалось мало — требует боль-

шей власти над некоторыми горскими племенами под нашим покровительством); Шахмандар Хаджияв Салатавский (в плену, в Метехском замке, фанатик). А кто наши агенты? Нет, не оправдывает Головин надежд государя: «Даю я тебе такие силы, каких Кавказ и во сне не видел; умей меня понять, исполни мою волю в точности: ты должен проникнуть в горы, разгромить Шамиля, все истреблять, что тебе будет противиться; сыпь деньгами; ты должен всюду пронестись грозою, все опрокидывающей».

На грани грез

Удалось-таки Фатали в последнее холостяцкое лето, будучи в Нухе, увидеть шекинца-нухинца Юсуфа-Гаджи.

Фатали вдруг исчез на время, и никому неведомо, где он: то ли задание получил разведать, то ли личное желание увидеть имама, то ли какое секретное дело Гаджи Ахунд-Алескера по части торговли: шариатский заседатэль — это само по себе, а тайная торговля — дело другое, надо ведь как-то жить... А вдруг у имама хорошая память? Должен был помнить личного переводчика царского генерала. «К Шамилю? Тебя?! Да он велит тебя тут же казнить! Ну да, отец Ахунд-Алескера, твой прадед, дружен был с учителем Шамиля. Нет, Шамиль об Ахунд-Алескере не слыхал, а вот Бакиханова знает, «что с того», говорил он о Бакиханове, что образован? Но кому служит знаниями? Гяурам! Так что и от Бакиханова тебе ездить никак нельзя, хотя как знать? Мол, Бакиханов книгу о Шамиле пишет, мечтает в Стамбуле издать, и о Шамиле турки прочтут!..»

— Кстати, а когда ты успел в Мекке побывать, чтоб стать Гаджи?

— Побывав в Стамбуле, нетрудно и в Мекку.

— А можно ведь и просто взять да прибавить к имени.

— Нет, определенно от тебя гяуровским духом пахнет! А ведь Шамиль учует!

У Юсуфа-Гаджи личная медаль Шамиля да еще курьерская бумага, тоже за подписью Шамиля,— в каждом ауле обязаны дать свежего коня и проводника, а если ночь — иочлег и пищу. У Фатали — удостовереиие, подписаиное Головиным, а тот с императором на «ты»!

Леса, спуски, подъемы и — новая гряда гор. И никого, будто и горы, и ручьи живут сами по себе, и иет им дела — видит их человек или нет. Раио утром следующего дия взобрались на вершину Гудор-Дага, и на той сторои е — аулы, подвластиые уже Шамилю.

А пока оии ездили, Шамиль, как потом узиал Фатали, заиял Кумух, вывел на площадь перед мечетью дюжину привержеицев ханского дома Казикумухского Агалархаиа и велел отрубить им головы. Один был совсем юн, побледиел, когда его вели на плаху, ио молча повиновался, и особых усилий ие стоило палачу разрубить тонкую шею. И его не пожалел Шамиль. Собрал головы в мешки и отправил Агалар-хану, вздумавшему за его спииой вступать в переговоры с царскими генералами. И еще ои мстил за своего наиба Кибит-Магому, который был посажен в темиицу за то, что помышлял вступить в какие-то связи с Агалар-хаиом; а иа Агалар-хана вышел тогда Граббе, после провала с убийством Ахверды-Магомы.

Фатали был потрясен новыми жестокостями, ио как скажешь Шамилю, когда ослеплеи гневом? Казнив измениикoв, Шамиль раздал иаграды отличившимся, потом с пленными распорядился, часть отправил в Дарго, где плавили железо, захвачеииое в Ичкерииском лесу, и переливали захвачеииые большие пушки на малые; при виде пушки Шамиль умилялся. «Тысяча воииов!» — называл он пушку, и ему доставляло удовольствие ставить на каждую отлитую пушку свою печать; а часть плениых — в Ведеио, иа пороховой завод, где работал опытный мастер

Джебраил-Гаджи, научился делу в Дамаске; со свинцом туго, лишь обливают им глиняные пули или употребляют пули медные. А тут и Юсуф-Гаджи, с письмом от султана!

— А это мой молочный брат, вместе из Стамбула едем.

— А брат твой мне как будто знаком.

— Ну да, и он тебя тоже знает. У русских служил, а потом бежал к султану.

Но очень верил Шамиль Юсуфу-Гаджи, и потом — это письмо! И вдруг Шамиль к Фатали обращается:

— Вот и будешь мне переводить одну беседу с грузинским князем! Но прежде покажи, на что способен. Какая ступень совершенства тебе доступна?

Фатали учили этому в келье Шах-Аббасской мечети в Гяндже. Сказать «шариат», это первая ступень, доступная всем, или перескочить на «тарикат», доступную лишь избранным?

— Я прошел через шариат и ступил на тарикат!

— Эмблема шариата?

— Тело, земля, ночь, корабль.

— Эмблема тариката?

— Язык, дыхание, звезда, море.

— А какая ступень доступна твоему молочному брату?

— Хакикат.

— Хакикат? — удивился Шамиль.

— Он достоин быть твоим наибом, имам!

— Эмблемы?

— Разум, свет, месяц, раковина.

— А как же я?! — Шамиль спрашивает.

— Вам доступна высшая ступень — маарикат!

— Эмблема?

— Мозг, глаза, огонь, солнце и жемчужина! — и пояснил еще: «Корабль выходит в море, в море раковина, а в раковине — жемчужина!»

— Да, нравится мне твой брат! А пока вот какое тебе задание: заболел мой переписчик, не успел последние суры корана для меня записать... На чем он остановился? — спросил у сына Гази-Магомета.

— На «Утре».

— О, я очень ценю эту суру! — сказал Фатали и изрек: — «Клянусь утром и ночью, когда она густеет, последнее для тебя лучше, чем первое...» — давно-давно зубрил, в детстве, и дохнуло чем-то щемяще-сладким: он юн, Мирза Шафи, ясные летние ночи, большие звезды.

А потом беседа с грузинским князем, молодым прапорщиком, плененным Шамилем. По дороге: «Вот, смотри, какую мне выстроили мечеть русские беглые солдаты!» Остановился перед мельницей и долго стоял, смотрел, как ходят по кругу лошади, приводя мельницу в движение,— диковинка в этих краях!

Князя вывели из ямы на свежий воздух, он зажмурился от света, и весь разговор щурился, отводя взгляд от Шамиля и Фатали,— солнце падало ему в лицо.

— Так ты говоришь, что султан турецкий выше египетского паши?!

— А как же!

— Но ведь египетский паша отнял у султана целое государство, покорил инглиса, френга, стал верховным властелином всех мусульман. Чего ты улыбаешься, разве я не прав? — К Фатали. Фатали промолчал.— Унцукульский Джебраил-Гаджи недавно в Египте был, говорит, у паши стотысячное войско, солдаты с одним глазом на лбу и одеты с ног до головы в железо! Неправда? Я тоже думаю, что неправда насчет одного глаза, но остальное — правда. Вот, смотри! — и достает бумагу.— Вот: переведи ему, Фатали! Это от египетского паши, прочти ему!

И Фатали читает: «Ко всем ученым и важным лицам дагестанским! До настоящего времени я имел войну с семью государями: английским, немецким, греческим,

французским, султаном Меджидом и прочими, которые по воле божьей имеют ко мне полную покорность. Но ныне мои силы обращены против России...» — Отнял Шамиль письмо.— Дальше можешь не читать, это тайна! Ну что ваша страна перед мощью египетского паши?! У вас же клочок земли от Крыма и до Казани, а Москву сожгли френги! Правду я говорю? — спрашивает у Фатали.

— Москву давно отстроили, имам.

— А ты там был?

— Нет, не был.

— А чего языком мелешь?!

И грузинский князь: — Пред обширным царством императора России весь Кавказ как капля воды пред Каспийским морем! как песчинка пред Эльбрусом.

— Вот-вот! И сын мой так пишет. Вас, как попугаев, выучили. Что ты, что мой сын.

— Что за польза горцам воевать с царем? Рано или поздно должны будете покориться.

— Зато аллах наградит нас в будущей жизни за наши страдания.

— А султан живет с нами в мире, как и персидский шах,— убеждает князь.

— Царю верить нельзя. Ласков, пока не завладеет нами. Ты думаешь,— вдруг разгорячился,— султан верный исполнитель законов Магомета, а турки истинные мусульмане? Они гяуры, хуже гяуров! Он видит, что мы ведем столько лет борьбу с царем за аллаха и веру, что же он нам не помогает?!

— Вы только что хвалили, имам!..— грузинский князь ему.

— Не твое дело! И тебя я буду морить голодом, чтоб сил не было бежать! Если не выдадут за тебя моего сына или племянника, которые у вас в заложниках, то верно пришлют вьюки золота и серебра!

— Я беден, только пустое княжеское званье.

— Прибедняйся! Но я буду тебя мучить, потому что там губят моего сына.

— Ваш сын учит науки, он окружен заботой государя, у него блестящее будущее!

— Но к чему эти знания? Мой сын сделается гяуром и погибнет. Ему ничего знать не надо, кроме корана. Что нужно нам, то в нем сказано, а чего там нет, того нам и не нужно.

На медном подносе горит бумага за подписью Шамиля, с которой Фатали беспрепятственно покинул мятежных горцев, обещал Юсуфу-Гаджи сжечь ее, как только вернется, чтоб больше соблазну не было помышлять о встрече. Свернулась, съежилась бумага, а потом вдруг вся вспыхнула. Вот и кружок, где крупно имя — волнистая линия, точечки сверху и снизу, и нечто похожее на ковш — арабское «эл». Горит, горит, и уже пепел, откуда-то дуновение, и улетают, как бабочки, обгорелые легкие крылышки, один лишь пепел, ах какой сюжет!

Выменяли грузинского князя за наиба, сидевшего в Метехском замке.

Обо всем написал князь в докладной: и о дикости, и о том, что достойно восхищения: честности, неподкупности, мужестве Шамиля. И насчет второй любимой жены Шамиля, плененной им моздокской армянки Анны Уллухановой, Шуайнат; Шамиль обратил ее в мусульманство, а она, видите ли, любит его! Она вскружила ему голову и нередко заставляет степенного имама прыгать с собой по комнате. И этого разбойника с такой симпатией?! Уж не подкуплен ли князь?

— Помилуйте, как можно? — возражает Фатали.

— А что? Вы там были?!

— Да, был! — не сдерживается Фатали.

— То-то! Не были, а говорите!

— Да был я, был!

— Вот именно! — гнет свое сослуживец.

Не доверяют бывшему пленному князю. Долго его мотали по разным инстанциям, а потом куда-то отправили, и больше о нем Фатали не слышал.

Князь в докладной писал и о строгих мерах Шамиля по искоренению дикого обычая кровомщения. А как называется иное? — тоже «крово», но не «мщенье»... Ах да, вспомнил! «Кровосмешенье!» Так, кажется, по-вашему называется, Ладожский?! Вы говорите: «Дикий обычай!» Может быть, вы и правы, но... нет, нет, я не спорю!

Сначала был сон, как это всегда водится у восточного человека, и, как обычно, странный: приставил Ахунд-Алескер клинок — Фатали лишь раз видел его с кинжалом, подаренным Юсуф-Гаджи,— к горлу, и Фатали чувствует, как клинок оттягивает кожу на шее. Вдруг лицо Ахунд-Алескера исчезло, на его месте Шамиль, и вонзается клинок медленно и не больно. И Тубу, дочь Ахунд-Алескера, рядом, ей уже шестнадцать, она смотрит на капли крови на рубашке Фатали, смотрит недовольно, будто Фатали сам виноват. Лицо ее нежное-нежное, и она вытирает платком пятно, а кровь остается, и Фатали вспоминает, как она бросилась ему на шею, когда летом он приехал в Нуху, бросилась, прижалась как к родному, в мундир упираются две твердые ее груди, а он чуть отстраняется, чтоб не больно ей было от металлических пуговок на карманах.

Ахунд-Алескер лежал больной. «Если умру, не оставь ее одну, возьми к себе». Тубу почему-то покраснела и убежала... Ну да, конечно, только непривычно резануло: «Если умру». Возьмет к себе, потом выдаст замуж. Вытирает она пятно крови на рубашке, сердится, нетерпеливо трет и трет, очень близко стоит она. Проснулся Фатали в тревоге. А Тубу была так осязаема, будто и не сон вовсе. Близкая и понятная, вдруг стала она чужой, неведомой,

странно было это разъединение Тубу: та, что была сестрой, ушла и отдалилась, а ту, другую и чужую, захотелось непременно увидеть.

А вечером у него гость. Слуга Ахмед, дальний родственник Ахунд-Алескера, присланный ему помогать, стоит, опустив голову, а на полу на высокой подушке сидит друг Ахунд-Алескера, известный в Нухе ювелир Гаджи-Керим. Сидит, перебирая четки, и шепчет молитву. Встал, обнял Фатали, и он понял. Недаром конюх Ибрагим, из кочевых племен, встречавший Фатали за углом канцелярии, уклончиво ответил Фатали, когда тот спросил: «Какие новости?» Не хотел первым сообщать горестную весть — ведь умер Ахунд-Алескер!

— Так было угодно аллаху. Легкая смерть, пошли всем нам такую!

И тут Фатали узнал о последней воле Ахунд-Алескера — Тубу!

— А где она?

— Не спеши, Фатали! Ахунд-Алескер сказал, что ваши звезды...

Дальше Фатали слушал как в тумане: достаточно и того, что он услышал: «Ваши звезды...» Мол, звезды ваших судеб соединились еще в небесах, когда вы только родились!

Боже, сколько раз ему говорили о женитьбе: спрашивали, советовали, отпускали всякие шуточки и колкости: и Розен (почему-то именно накануне царского смотра полкам!), и Головин (а этот как-то таинственно спросил и смутился, быстро ушел от разговора, сказав лишь напоследок: «О женщины, женщины!..»), и Бакиханов: «Я бы на твоем месте выбрал грузинку!» Почему? а ведь ходили слухи, мол, приезжает часто в Тифлис, потому что какой-то княжной увлечен; высказывался однажды и Мирза Шафи, при Боденштедте: «Поэту жена помеха», а тот сразу: «Переведите!» Не успел записать, а Мирза Шафи

сыплет, будто специально для Боденштедта, а тот — в тетрадочку: «Двум молниям в туче одной не жить!» То ли жена и поэзия — две молнии, то ли он, Мирза Шафи, и Фридрих Боденштедт. Никитич недоумевал (это Кайтмазов как-то Фатали): «А ведь пора бы уже, почти тридцать!..» Мол, нет ли здесь чего крамольного? И даже Фазил-хан Шейда: «Ты еще не женат?!»

В тот вечер Фатали сочинил короткое стихотворение на фарси, будто пытаясь состязаться с Фазил-ханом Шейда. Тот прочел ему пять бейтов на фарси о гуриях, без которых дом, этот рай души, холоден и неуютен; написал и Фатали, но не прочел, боясь, что тот обидится: «Нет, не мечтаю я о гуриях в раю, я отдал себя просвещенью, сказав: «О гуриях забудь! Науки путь заманчив мудрецам, пусть гурии достанутся глупцам!»

— Где же Тубу?

— Она постеснялась выйти к тебе,— сказал Гаджи-Керим.— Сидит у соседей, если будет твоя воля...

Фатали выскочил и постучал к соседям. Тубу встрепенулась, испуганная, в глазах страх: как он? и стыд. Взял ее за руку, и она тотчас оттаяла, ввел в комнату, она вдруг при людях застеснялась. Это Фатали, она знает его очень хорошо, но он, как только Тубу узнала о воле отца, неожиданно стал для нее чужим мужчиной.

А вот и молла, он скрепляет брачный договор.

Она заплакала, как только они остались вдвоем, прильнув к нему; крепко-крепко обхватила руками его спину; потом он усадил ее на ковер и сел рядом; и долго сидели, прижавшись друг к другу. Видели лишь язычок свечи, зажженной на письменном столе, язычок временами вздрагивал, а потом уменьшился, исчез и только отражался в оконном стекле.

— Ты постели себе здесь, а мне у окна.— Она удивленно подняла голову, посмотрела на Фатали и снова прильнула к нему, спрятав голову у него на груди. То ли

действительно она сказала именно эти слова, то ли послышалось Фатали, внятно было лишь «мне страшно», и остальное обожгло: «Я с тобой буду спать».

«Кровосмешенье? Вы говорите: дикий обычай, может, вы правы, Ладожский, но... Но я люблю, понимаете, люблю ее!..»

«Вы еще долго будете вспоминать меня, Фатали».

«За что нам такие беды? Я стерплю, но каково ей, она же мать; кто ты там есть, в небе — сохрани ей хоть одного!..»

Тубу родила легко и быстро: сын! Но вскоре потрясенье, нет, это неправда, не может быть, ее мальчик, ее душа, ее плоть,— кто-то пришел, увели, вырыли маленькую могилу. Потом новые роды, тоже мальчик, и — новая могилка, рядом...

И еще, и еще.

«Да, да, вы будете меня еще долго вспоминать!»

Фатали и Тубу не успевают уйти от траура, не прошел еще год, а уже новые траурные дни: третий, седьмой, сороковой, цепочка поминок, плачи, причитания, соболезнования, хождения на кладбищенский холм, где растут, прижимаясь друг к другу, нелепые могилки.

Утром после брачной ночи неожиданность: курьер немедленно призвал в комендатуру Фатали — арестован шекинский ювелир как лазутчик Шамиля. Ссылается на Фатали, будто невесту привез и свадьбу сыграл. «Шпион?! Какой я шпион, какой Константинополь, послушай?! Да умру я, на него посмотри! Что я там потерял? Пусть провалится в ад и султан, и Константинополь! Конечно, а как же? Какой тюрок не мечтает Стамбул увидеть? И поеду! Да! Но поеду не как контрабандист, я известный шекинский ювелир, а с разрешенья, да!»

Фатали слишком мелкая сошка в таких делах. Уж очень настаивал прапорщик Илицкий на том, что Гаджи-Керим — именно тот человек, которого он упустил, с кор-

донной линии за ним вели наблюдение прошлым летом... Может, Фатали пойти за помощью к Головину, а вот тут и сказалось: Головин уже ушел, а Нейгардт еще не приступил; Головин заперся, никого не принимает, стол его завален папками, переплетами, пакетами, прошениями, приемная пуста, адъютант, зевая, вышагивает по паркету; не станет Головин вмешиваться в дела военной комендатуры. С успехами Шамиля власти ожесточились: «Подозревают? Надо разобраться!..» Да и Нейгардт не станет какого-то шекинца выручать. Пришлось просить Никитича, а прежде, чтоб с Никитичем поговорил, Ладожского, он Фатали не откажет. «И ты осмелишься?!» — это Кайтмазов. «Но пойми — нелепость!» Да еще крупный залог оставили, перстень с бриллиантом, пока Гаджи-Керим не принес бумагу от шекинского пристава, что все лето безвыездно прожил в Нухе. «Такого бриллианта на короне султана нет!» Ну да, обознался Илицкий, они же с Юсуф-Гаджи родственники. Близко посаженные глаза и уши оттопырены.

А Нейгардт не успел осмотреться, как новый главный, да еще какой: сам Воронцов, это целая эпоха на Кавказе. Наместник!

Когда чувствуешь, слабеет в тебе вера и надо укрепиться в глазах подданных, есть испытанный способ, рискованный, правда, но игра стоит свеч. Надо только выбрать критическую ситуацию, когда неясно, как пойдет дальше, и момент подходящий — не раньше и не позже, чтобы осечки не было.

Съезд наибов. «Прошло более десяти лет,— сказал Шамиль,— как вы меня признали имамом. По мере сил я старался оправдать доверие народа и защищал его от врагов. Но настало время, и я прошу сложить с меня звание имама и избрать вместо меня более достойного...»

Испытать наибов... «Нет!» — ответили опи. И после такой единодушной поддержки Шамиль снова встал, еще более возвысившийся и сильный. «Я подчиняюсь воле народа, но вот вам мой наказ...» Именно выбор ситуации: только что разгромлено войско Воронцова, сам наместник чудом спасся, но победа, чувствует Шамиль, временная, может наступить полоса неудач, силы царя растут, ресурсы его неисчерпаемы, а силы имама гаснут, горцы в кольце, горы и леса их прячут, но кормят-то равнины! Из равнин их теснят, леса вырубают нещадно, а горы, как ни круты, люди одолевают их, и ядра достигают крепостных стен.

Шамиль призвал Джемалэддина: «Что-то ты умолк! Сочинил бы письмо шейхульисламу в Турцию, а?» — «А кто его отвезет?» — «Это моя забота!»

И с этим письмом попался Юсуф-Гаджи. И письмо это перевел по срочному заданию Воронцова Фатали. Долго не отправляли, ждали, как французские события повернутся, а потом к Никитичу пришло повеление: «Найти человека и переправить письмо, а послу наказать, чтоб проследил». Письмо Джемалэддина было пространное, перевод шел туго: каким почерком, кто писал? И это — накануне длительной командировки Фатали с генералом Шиллингом — поздравлять нового шаха со вступлением на престол. Перо не слушалось, в воображении вставали картины будущих встреч с сестрами в деревне, где прошло его детство.

— Тубу, родная, дай мне чай!

Она вошла, постоянный страх в глазах, на миг боится оставить девочку, ей уже полтора года: выжила, пройдя три критических срока: первенца — месяц, второго — три месяца, третьего — полгода; увы, и у нее есть критический срок: как уедет Фатали... Дал первую фразу перевести брату Тубу Мустафе, он изучает арабский и фарси у Фазил-хана, а Фатали учит русскому, тот пыхтел целый

день, не сумел перевести! «...Или подкрепите нас войсками, или подействуйте на русского султана, чтоб он перестал захватывать наши земли, истреблять нас!»

В канцелярии шепчутся, с опаской и ужасом передают новости о французских событиях; как отзовется в России? в Тифлисе?

А Шамиль пишет новые письма — капли воды на раскаленную дорогу, соединяющую Мекку и Медину; и туда, хранителю святых храмов, с паломником отправил. Письма перехвачены или утеряны; или прочитаны и осмеяны; и ответы будут: чаще — сочиненные приближенными, чтоб получить от Шамиля дары и титулы; и одно письмо утешительное, от султана, сочинил писарь в минуту веселья: «Ты закалился, Шамиль, и приобрел опыт в боях! Привлеку к тебе приказом население из нижеследующих мест, вместе с ханами и беками (положил перед собой карту Кавказа, не иначе!): Тифлис, Эривань, Нахичевань, Ленкоран, Талыш, Сальян, Баку, Карабах, (неохота писарю разбираться, где город, а где целый край; а султан, как прочтет, подивится познаниям своего писаря и одарит его рабыней), Гянджа, Шеки, Ширван... Ты получишь от меня, безусловно, великую награду за услуги, не считая, конечно, того, чем наградит тебя всевышний на том свете».

Но Шамиль окрылен. А вот и прибыл тот, кто ездил к шейхульисламу, подкупленный Воронцовым, друг Никитича, Гаджи Исмаил, а помощи нет. И даже война в Крыму не помогла.

— Исмаил, найди в Стамбуле французского посла! — просит Шамиль.— Через него к державам с мольбой! На исходе наши силы.

— Ну подумайте, Фатали,— размышляет Ладожский в минуту откровенности,— кому нужна эта пестрота племен, народов, ханств, султанств... Да, знаю, шафран только здесь и растет, дети ханов от знатных жен — это беки, а дети ханов от незнатных — чанки, а эти адаты и шариаты? Эти, черт голову сломает, господские сословия — агалары и азнауры, беглербеки и мелики, эти тавады вроде наших князей? А система налогообложения? Тут целую канцелярию под рукой иметь надо!.. И эти различия феодально зависимых крестьян; и каждый раз переводить летосчисление с мусульманского хиджри на христианское — и прочие, прочие премудрости?! О боже!.. Как быть? Связать всех в единое целое, озарить лучом и водворить животворящий! Грубые их понятия могут быть руководимы не иначе, как сильным, ближайшим и скорым влиянием местного высшего сословия.

Фатали слушает, думая о своем. Как быть с жалобами земляков — шелководов, крепостных по сути. Он постоянно читает в их глазах упрек: взнос хлебом — где его взять? ловля для откупщика рыб — в каких реках? а тут и постой для войска, отправление разных нарядов, доставок. Хорошо еще есть где переночевать землякам — дом Фатали с тех пор, как он в Тифлисе, часто служит им пристанищем; и даже не спрашивают; приедут, расположатся, так было и так будет до конца дней. И сады надо унавозить, и своевременно их поливать, исправлять канавы, изгороди вокруг садов, чтоб скот не проник, хорошо ухаживать за червями, следить за тщательной размоткой коконов в шелк,— и весь урожай кому?

— А вы не слушаете, Фатали.

— У меня шелководы на уме. Как им помочь?

— Сдались они вам. Служебных дел у вас разве мало?

Как, кстати, с нашей помощью карабахскому хану? Письмо его изучили?

— Тут еще запутаннее. Ими долго Бакиханов занимался.

И унесли думы Фатали в те дни, когда он прочел Бакиханову свою первую поэму.

— Много крови у меня попортили эти карабахские ханы,— рассказывал тогда Бакиханов.— Думаю, что и тебя не оставят в покое эти вожди нации. Когда прежде говорили «карабахский хан», хотелось встать и поклониться. Это белое облако волос над смуглым лицом, прямой как кипарис, в глазах особенный блеск. А теперь — полюбуйся — минуту назад был горд и неприступен, как гора Гирс, а стоит появиться высшему царскому чину — весь подобострастие, лесть, презренный из рабов, на все пойдет ради награды и нового чина.

Так о чем пишет этот генерал-майор Мехти-Кули-хан Карабахский?

«Имею честь покорнейше просить не оставить оказать строжайшие меры к должному повиновению моих кочевий и деревень и к удовлетворению меня законно...»

И как наверху зашевелились! Член Комитета по устройству Закавказского края, военный министр, главноуправляющий: «Я уже предписал, не извольте беспокоиться — о приведении в должное повиновение подвластных ему крестьян...»

Не успел Фатали покончить с делами хана, как является его племянник Джафар-Джеваншир со своими претензиями к дяде.

— Какой же он хан? Не он, а я — наследник карабахского хана! Ты только послушай, Фатали! Еще при Ермолове началось это, четверть века назад.

Но Фатали предысторию знает. Да, нити ведут к самому Ермолову (дальше тянуть ниточку Фатали пока не смеет). Спровоцировать побег Мехти-Кули-хана за гра-

ницу и — ликвидировать ханство, обратив его в провинцию. Но перед этим Мехти-Кули-хан овладеет землями своего племянника, законного наследника Карабахского ханства... Да, сразу ничего не разберешь, запуталось! Значит, так: было мощное Карабахское ханство, и хан с радостью вручил ключи ханства Цицианову; а у хана — два сына: старший, наследник, умер за два года до смерти хана — хан пережил наследника! а у него — сын, которому предстояло занять престол после смерти деда,— полковник Джафар-Джеваншир, и его престол отнял дядя, Мехти-Кули-хан.

— Почему я должен страдать из-за преступного поведения своего дяди? Ему простили измену, вернули генеральскую звезду.

— Но вы, кажется, помирились с ним,— улыбнулся Фатали.

— Я?! Никогда! И с тетей, этой старой шлюхой Геохар, известной своими любовными утехами с юных лет, ни одного мужчину не упустит, ни русского, ни армянина! Кстати, она хоть и в летах, а предана вашему нухинцу Сулейман-хану со всем пылом страстной молодой женщины! Не знаешь этого пучеглазого интригана? Так тебе и поверили! Это же друг султана Элисуйского Даниэля! Может, и его не знаешь?! Служишь наместнику, а об изменнике Даниэль-султане, перебежавшем на сторону Шамиля, не знаешь?!

— Знаю, очень даже хорошо! Вот она — верность российскому престолу.

— Они неразлучные друзья — Даниэль-султан и Сулейман-хан. И еще с ним знаешь кто дружен? Исмаил-бек Куткашинский. Не возмущайся, знаю, будешь его защищать, как же, ведь, как и ты, он тоже писака, повесть издал в Варшаве на французском, еще когда при Паскевиче там служил, в конномусульманском полку. Ведь вот как запуталось: азербайджанец, пишет на французском, в

польской столице, одной рукой царскую линию гнет, пенсию получает за «верную службу», а другой к изменникам царя тянется. Так вот...

Горы слов, имен, обид, измен...

Ханкызы, дочь карабахского хана, поэтесса Натеван, гостит у Фатали. «Какое счастье, что ты навестила нас!» Они с Тубу отвели ей самую большую комнату в дальнем конце коридора. У нее в глазах затаилась боль, будто именно ей судьба велела страдать за интриги и козни своего ханского рода. Они лгали, вероломно нападали на друзей, лицемерили, эти вожди нации,— и ей за это ниспосланы муки?

«Фатали, ты постоянно с нею!» Тубу молча страдает, а Фатали опьянен присутствием Ханкызы и шепчет, шепчет ее стихи, особенно эти строки: «И я напрасно в этот мир явилась, и этот мир, кому такой он нужен?» И никак ей не вычерпать до самого дна скорбь. А в темном и глубоком колодце прибывает и прибывает ледяная вода, она чистая-чистая, родниковая, но сколько в ней горечи! Нет, не вычерпать, и Ханкызы в отчаянии, в круглом зеркале отражается небо, и какое-то лицо смотрит на нее — она сама, и другая, очень похожая на отца, что-то есть у всех у них общее, и в ее взгляде тоже — затаенная гордость, будто именно они создали эти малые кавказские горы, и дяди, и тети со своими племянниками, ее двоюродные братья, она видит их всех в круглом зеркале на дне колодца, разбить, разбить, и она бросает вниз камни, приглушенный смех, лица на миг изуродованы, и новые камни, еще и еще, трудно их тащить, эти тяжелые камни, хватит, Ханкызы, не мучай себя, вода уж скрыта камнями, а ты бросаешь и бросаешь их, а потом обессиленная падаешь на груду камней, под ними погребены предки, но не уйти от их лицемерия, жестокостей, разврата.



О, как выбирали тебе жениха! Ведь единственная дочь последнего карабахского хана и родилась, когда отцу Мехти-Кули-хану было уже за шестьдесят. Непременно выдать за кого-либо из ханской фамилии, но где они, эти молодцы? И чтобы зять непременно остался навсегда в Карабахе! Но есть сыновья у Джафара-Джеваншира, так что не переломится спина Карабаха! Кто? Эти тифлисцы, ставшие царскими офицерами? Ах, есть сыновья и у другого брата, Ахмед-хана. Но всему Карабаху известно, что родились они от незаконной связи его жены с двумя нукерами. А сколько сыновей наплодил покойный хан ширванский, Мустафа; правда, дети никудышные, да и ханство — одно лишь название, но все же — сыновья! Эти вечные разговоры о сыновьях-наследниках, и Фатали, разбирая ханские интриги, должен держать в уме чуть ли не родословную каждого хана, дабы тут же, по первому вопросу наместника, дать нужную справку. Что ж ты, Мехти-Кули-хан, ни единым сыном жен своих не одарил? Хотя бы в зяте и внуке твоем продолжился ханский род...

Царь ждет не дождется, когда иссякнут ханские фамилии. Еще Ермолов говорил: «Болезненный и бездетный карабахский хан». Ведь думали, что долго не потянет. «И там не бывать ханству, оно спокойнее!» А хан тряхнул стариной, и белотелая его красавица понесла от него, злые люди хихикали, а подросла дочь — его глаза! Сокрушался Ермолов: «Ужасная и злая тварь» (это о шекинском хане), «еще молод, недавно женился на прекрасной и молодой женщине...»; да, хан шекинский, земляк Фатали,— неуемный, в точности выполнил завет пророка — у него четыре жены: грузинка, чей стан будто стебелек розы, так и назвал ее — Гюльандам-ханум; Джеваир-ханум, затем третья, имя сначала привлекло, тоже Гюльандам-ханум, и четвертая, дагестанка, как печка горячая!

«...Каналья заведет кучу детей,— негодует Ермолов,— и множества наследников не перереждешь. Я намерен не те-

рять время в ожиданиях. Богатое и изобильное владение его будет российским округом. Действую решительно, не испрашивая повелений».

Князь Воронцов недавно перебирал старые, тридцатилетней давности, письма, полученные им от Ермолова, когда тот был здесь главнокомандующим, усмехнулся саркастически: «Болезненный и бездетный карабахский хан!..» Вот и бездетный!.. «Такая красавица,— передавали ему,— эта ханская дочь».

Тогда Ханкызы была недоступно-закрытая, будто крепость, под неусыпным оком матери Бедирджахан-ханум, и они приезжали, чтоб Фатали как большой человек в ведомстве наместника помог им получить пенсию,— умертаки Мехти-Кули-хан!.. И Фатали составлял подробные записки об истории карабахского хана, расписывая деятельность генерала Мехти-Кули-хана. Не утаил и то, что он «был вытеснен из Карабаха»,— Фатали был доволен удачно найденному слову: именно «вытеснен», а не «бежал» — «и унес с собою данное ему наименование беглеца и изменника». Но! — и о бриллиантовом перстне, всемилостивейше пожалованном ему, и о восстановлении прежнего генеральского чина по его «возвращении» из Персии, и о кротости нрава — «никакого властолюбия»; весьма осторожно обвинить предпредшественника князя Воронцова — Головина; вот, мол, какие прежде несуразности были, но зато теперь, при наместнике совсем другое. «...Не могло не представиться соображению, что со смертью хана вдова и дочь лишались всех способов к существованию». «Я бы полагал назначить»,— предлагает Фатали, но сколько инстанций! Он — начальнику, начальник — наместнику, тот с особым докладом — в Кавказский комитет; секретарь, члены, управделами, председатель, мнение двух министерств — финансов и государственных имуществ, а затем журнал Комитета попадает в канцелярию его величества, чтобы государь император высочай-

ше соизволил, когда вздумается взглянуть в журнал, написать спустя год собственноручно: «Исполнить». Все было учтено: и если дочь умрет до выхода замуж, и если она умрет в замужестве, но бездетной; или же выйдет замуж и уедет навсегда за границу: «в таком случае имение оставить в пожизненном только пользовании матери ее, ежели она будет оставаться в живых».

Как же Фатали соединить, не укладывается в сознании: Хасай-бек Уцмиев, первый муж Ханкызы, с которым мечтали создать масонскую ложу... Ну да, Уцмиев — из ханского рода, правда кумык, житель низины, но все же князь. А рост! Боже, какому карлику отдаем наше сокровище, цвет, надежду Карабахского ханства — сокрушались карабахцы. Белобрыс, голубоглаз, сухонький какой-то и много молчит. Ибо стоит ему заговорить, как кто-то шепотом, но на весь меджлис поэтов, которые собираются у Натеван-Ханкызы: «Ну вот, опять начал коверкать нашу чистую речь... Когда ты научишься говорить без кумыкского акцента?» И у Фатали ревность к князю, увы, недолог их брак, а у князя Уцмиева — ревность к Сеиду, любимцу меджлиса поэтов, бесцеремонному, чертовски красивому, наглому баловню судьбы, покорил-таки Натеван, и в наказание аллах отнял у нее любимого сына. Хасай-бек Уцмиев служит царю, часто ездит в Тифлис, и идут следом анонимные письма, порочащие Натеван сплетни, очень, мол, вольна, но Натеван ни за что не распустит меджлис поэтов, без стихов ей смерть, а Сеид понимает ее как никто другой,— вспыхивает в Фатали ревность и к Сеиду, сумел ее опутать!

Натеван погостит и уедет, а Фатали еще долго будет ходить рассеянный по набережной Куры, будто потерял что-то очень нужное и не может найти, не слыша и не видя Тубу, хотя, казалось бы, без нее он не мыслит себе жизни. Ходит по набережной Куры, и вертится в голове стих Натеван: «и этот мир, кому такой он нужен?..» И ко-

лодец, заполненный камнями,— замуровано зеркало, но не разбито, усмехается, и много-много лиц: «Эх ты, Ханкызы, поэтесса Натеван!»

А в Карабахе неспокойно: шушинский уездный начальник — майор князь Тархан-Моуравов пишет срочную депешу шемахинскому военному губернатору барону Врангелю, а тот — наместнику Кавказа князю Воронцову: только что ограблена, вторично! казна... «Немедленно выезжайте в Джеваншпрский и Кебирлинский участки!» — приказывает наместник. И, признавая полезным облечь объявление наместника торжественностью, Тархан-Моуравов выехал сам; всю ночь плохо спал, решил подражать наместнику и каждый вечер допоздна играл в карты, чаще всего — с казием Абдул-Керимом; взял с собой и его тоже — почетное лицо из мусульманского духовенства. А на подмогу Фатали (может, еще какие даны ему наместником задания?) собрал старейшин всех деревень и кочевий. «Начальство вынуждено сечь без разбору каждого десятого!..» Некоторые сконфузились, наверняка прячут разбойников.

— Вот вам задание: поймать и истребить известнейших кебирлинских преступников, ограбивших казну! Можете?

— Мне? Поймать?! — карабахский хан Джафар-Джеваншир выпучил глаза на Тархан-Моуравова, вот-вот взорвется, высокий, седой, грузный, шутка ли — семьдесят уже, редкие седые усы топорщатся.

— Да, вам!

— А что я получу? — вдруг согласился хан.— Генералмайора дадите?

Ну да, уже сорок лет, как полковник, а наград — никаких! Чего не сделает ради генеральской звезды карабахский хан?

Семейства этих разбойников живут в шушинском уезде, в кочевье, где четыре кибитки в лесу, они посещают семьи, но с такой осторожностью, что решительно невозможно их поймать. Надо заманить разбойников в ловушку.

Пришли в назначенный день, с головы до ног вооруженные, а с ними их односельчанин, Алипаша, отчаянный сорвиголова, который и почту, и казну грабил. А хан время хочет выиграть, чтобы ночь наступила, оставить их ночевать, а там и обезоружить, слуги хана начеку.

— Наместник бумагу пришлет,— говорит он им,— если вы не соглашаетесь сдаться. Я же даю вам ханское слово! Вот моя седина, вот мои слова — не верите, что ли?

— Нет,— говорят наглецы,— не верим. И грабили мы, чтобы помочь сосланным и их семьям. А ты, вождь нации, хочешь нас в ловушку!

— Ладно, мы с вами ни о чем не говорили, подумайте, а утром продолжим разговор. А теперь за стол.

Поели, а часу в девятом стали просить, чтоб хан позволил им уехать, в крови это у них — дерзкую вылазку совершили — шутка ли, ограбить казну!.. а ханскому слову перечить не осмеливаются. А хан дает знать управителю своему, он же родственник, собраться и напасть. Софи, пятеро его братьев и два сына да еще дюжина нукеров окружили комнату, где засели разбойники, а хан, пока они ели, ушел, не сидеть же ему с ними за одной скатертью, это и разбойники понимают. Сын Софи Наджаф, прозванный Петухом за круглые и постоянно красноватые глаза, и четверо братьев, войдя в комнату, объявили разбойникам, что хан приказал немедленно отдаться в руки полиции, он им исходатайствует прощение. Ах так?! Алипаша, Гусейнали и Алибек разом вскочили и бросились на вошедших, закололи Наджафа, ранили одного, другого, те тоже успели выхватить кинжалы, ранили Алипашу, тот упал, а младший брат Софи убил Гусейнали, но Алибек

успел выскочить из комнаты и, сразив наповал выстрелом из пистолета Софи, скрылся в темноте.

— Тогда недосуг было рассказывать тебе, Фатали, расскажу теперь! — Алибек рискнул прийти к Фатали в его тифлисский дом.

Да, тогда было действительно не до того.

Алибек — давний знакомый Фатали, лет на пять моложе, вместе в келье гянджинской мечети учились. Его отец, как и Ахунд-Алескер, отдал детей в духовное училище, и в медресе они познакомились: взрослый Фатали, его ровесник Гусейнали и совсем мальчик — Алибек. Прибыл в тифлисский дом, чтобы возвратить мундир и коня, спасшего его в темную ночь, правда коня другого, тот конь пал. И чтобы Фатали помог (ведь капитан) организовать побег товарищу, запрятанному в Метехский замок,— увы, вскоре сам Алибек попадет туда...

— Заманить в ловушку! — сокрушается Алибек.— На старости лет взять на душу такой грех! А мы ему верили! Но прежде — о той ночи. Выскочил я, а куда бежать? Темно, но глаза мои видят, привычка многолетних скитаний... Вы приехали, выступали, мне передали, что и ты с ними, Алипаша рвался — убьем их! Утром меня непременно найдут, и я решил пробираться к тебе, а вы в доме сельского старшины: я царских чиновников хорошо изучил, вряд ли станут они, думаю, с Фатали в одной комнате спать, пробрался к дому, он мне известен, наверху господа, прокурор, судья — кази, там две комнаты, в одной свет горит, с чего бы, думаю, а потом вспоминаю, ведь вся округа знает, какие это картежники, и кази, и прокурор, кази ему нарочно проигрывает, у него большие деньги от судебных разбирательств. Внизу три комнаты, в одной старшина, в другой его семья, третья для гостей, вот ты где, решил. Стучу в окно, если ты — все в порядке, если чужой — бегу! Ты! Думаю, если прежний Фатали, сразу откликнется! Можешь ли, спрашиваю тебя, поменяться

со мной одеждой, будто ты спал, а тебя ограбили, оделись в твою форму, а свои лохмотья оставили. Сяду на твоего коня, и тогда меня никто не поймает, ускачу в горы; документы не трону, скажешь, что всегда под голову, и пистолет тоже...

— Да, на меня тогда подозрение пало, но поверили.

— Это ты умеешь! — говорит Тубу,— притворяться наивным простачком.

— Профессия такая — поэт! — с гордостью замечает Алибек.— Младшего брата жаль, Магеррама...— печалится он.— Этот грузин решил, что я домой прибегу, и со старшиной и милиционерами отправился к нам. Брат в жизни ружья не держал, не разрешали мы ему. Это Тархан выслужиться хотел: вот, мол, какого опасного разбойника ловить отправился, а Магерраму — четырнадцатый пошел... Жаль его. Когда он узнал, что Гусейнали убит, кинулся на конвоира, вмиг вынул из ножен кинжал и всадил ему в спину и бросился с кручи вниз, но выстрелом... Э! да что там говорить!.. Хана убить легко, но сделать мучеником?! Ореолом славы его имя окружить?! Старый лицемер, пусть умрет своей смертью, проклятый потомками!

В день тезоименитства государь император соизволил произвести полковника хана в генерал-майоры в награду за отлично усердную его службу и преданность престолу.

— Ты думаешь, я один? — сказал Алибек, прощаясь.

Фатали промолчал: он не смеет говорить Алибеку об их обреченности. На прощанье лишь: «Береги себя, Алибек!..» Примкнуть к Алибеку? Их дюжина, а если еще Фатали — станет чертова.

Джафар-Джеваншир того и ждал, что Алибек, узнав о судьбе своей любимой Назлы, подаренной сыну ширван-

ского хана, объявится — в карабахских лесах он расставил сыщиков из таких же, как Алибек, голодранцев, и те непременно поймают разбойника,— за одну только весть тому, кто прискачет с нею, обещана золотая десятка!

Новая боль

— А, Фазил-хан Шейда! Рад тебя видеть. Проходи в дом.

— Гарью у вас пахнет. Тубу-ханум, у вас ничего не горит?

— Это у Фатали спросите. Повадился жечь бумагу. Ночью не спит, а днем, когда рассветет, жжет и жжет.

— Ты уже давно ничего не пишешь, Фатали.

— Об Алибеке писать и его возлюбленной Назлы, проданной в рабство?

— Алибек? Этот разбойник, ограбивший казну?

— Или об агонии Шамиля?

— Сдался тебе мятежник!

— О пожарах, может быть? Как горел Зимний? Или о Воронцове? Это ты прекрасно пишешь оды!

— Но я восхвалял государя императора. Почему бы ему, Тубу-ханум, не последовать моему опыту? И не написать о славном победном царском оружии, о том, как царь наводит порядок в мятежной Азии и обуздывает распустившийся Запад?

— Сколько он еще продержится?

— Запад?

— Шамиль!

— Схватят и повесят. Так кончали все бунтовщики.

Были виселицы, но для других! В одной из комнат калужского особняка, имения графа Барятинского, пленившего Шамиля,— фотография: четверо сыновей Шамиля в бараньих папахах, в чухе с газырями, с кинжалами на поясе; у одного длинная борода и худое лицо, он на-

смешливо смотрит, у другого чисто выбритое лицо, во взгляде угроза, третий — у него только-только борода пробивается, взгляд недоверчивый и коварный, а четвертый еще дитя. В ту же минуту, когда Шамиль сдался, на плечи ему накинули дорогую шубу на меху американского медведя, а жене подарили пару часов, украшенных бриллиантами; и даже женам сыновей — бриллиантовые брошки. И Барятинскому — голубая лента, орден Андрея Первозванного, редчайший!.. и чин генерал-фельдмаршала, а ведь молод-то как, почти ровесник Фатали,— и ему, конечно, кое-что досталось: вся канцелярия была отмечена, такая радость, слова Шамиля из уст в уста: «Надоело воевать! Опротивеет и мед, если его есть каждый день!..» Фатали получил орден Святой Анны.

Но до пленения еще далеко, хотя поражение Шамиля очевидно. И наместник Воронцов в который раз возвращается к Шамилю. «Ведь обречен, не правда ли, Мирза Фатали? — любит он иногда поговорить по душам с туземной интеллигенцией.— И мы непременно утвердим свою власть в мятежных аулах».

И Фатали согласился. Но его мучило другое. Следом за карателями пришли царские чиновники, полиция, жандармы, все переплелось, перемешалось, кнут и шпицрутены! Как же можно? Чтоб снова шах, снова разбои? И грузинские князья, и горцы!.. Бесцельная, ненужная борьба... Но разве скажешь об этом наместнику? Эта цепочка заговоров как петля. За царский грузинский род, удачно вывезенный в свое время по распоряжению Александра I из Грузии в Россию, Николай I, когда провалился заговор, взялся сам. Одного царевича в Смоленск, другого — в Кострому; одну царевну в Калугу, другую — в Симбирск; всех-всех сослать! Десять человек были приговорены военным судом к смертной казни.

— Ой, какие вы дикие, Фатали! — говорит Воронцов.— Вашему народу надо образоваться по-европейски! Ну, от-

чего, скажите, юноше, который приобретает хлеб насущный и самое состояние не воровством, не разбоем, а путем истины, трудолюбием своим, прегражден путь к любви красавицы? Похитить девушку и при сопротивлении убить ее брата, а потом жениться на ней,— разве не в этом видится у вас похвальное молодечество? Сколько раз случалось: даст клятву даже на коране, что перестанет заниматься разбоем, а выпустишь — и снова за свое... Фатали, я сам видел: умирающий дома в постели не от насильственной смерти слышит одни лишь упреки, что он осрамил род свой, умирая не от кинжала и пули, и что для него нет рая в будущей жизни, и молла неохотно пойдет на его могилу. А убитого на разбое и грабительстве провожает рыданиями вся округа... Так вот,— любит себя Воронцов за это долготерпение! — почему бы вам, я слышал, что вы сочинитель, не написать пиесу, а? Вот мы открыли театр в Тифлисе, я пригласил сюда прекрасного писателя Владимира Соллогуба!

Вот она, мысль! Спасение! Прямо со сцены, с трибуны, не ждать, пока народ освоит грамоту,— говори ему, что накипело в душе, разбуди его; сколько веков поэзии, а народ темен, ибо неграмотен... И не это ль охладило в Фатали поэтическое рвение? А тут — театр и сюжеты... Боже, сколько их!

И уже куплена простая конторка, она возле письменного стола, белые листы в папке, подошел, открыл папку...

«Мой милый чтец, ты, который будешь читать или, выучив наизусть, исполнять мои комедии!..— да, мы отстали, вы правы! Я принужден объяснить чтецу моему, как выступать...— Где требуется удивление — удивляйся, где имеется вопрос — спрашивай, где надо выразить страх — бойся, где ужас — ужасайся, где крик — кричи, в речах армян соблюдай их произношение с армянским акцентом».

Он выставит в комедиях на посмешище почтенное мусульманское общество, этих самодовольных и тупых земляков, в чьих лицах увидят себя и карабахцы, и бакинцы, и ширванцы. И первая фраза: «Знаете ли вы, господа, для чего я вас пригласил?» Было уже? Было, да, а он повторит! И скажет их золотых дел мастер, земляк-нухинец, ох и обидится старик ювелир, чей бриллиантовый перстень конфисковали и прикарманили в канцелярии, но именно он, когда Фатали удалось спасти его и вызволить из комендатуры, и рассказал Фатали, как надул его алхимик. «Меня тогда поразило,— сказал земляк,— что армяне из Айлиса, побывав у алхимика, разбившего шатер в горах, выкупили у него пятьдесят пудов чистого серебра!..»

Граф Соллогуб долго ходил по директорскому кабинету, прежде чем пригласил к себе Фатали, принесшего ему нечто трагикомическое.

— Друг мой, к чему эти казни на сцене, они же царского рода, ваши ханы! Вы мастерски высмеяли азиатские нравы, это многоженство с очередностью посещения жен, сегодня очередь первой жены, но она уже увядает, хотя и полна страсти, кстати, а у вас сколько жен? Только одна? А говорили... ну, ладно, в другой раз!.. Так вот, а вторая тем временем готовит себя к встрече с супругом, моется в бане, натирает тело пахучими мазями, и оно, смуглое и гибкое, гладко как атлас. Да, это мило, это привлечет публику, ей подавай страсти, любовные интриги! А казнь?! Да еще особ царского рода!.. Не уподобляйтесь нашим критиканствующим писакам! А разве не может случиться, к примеру, что ваши стражники готовятся набросить кашемировую шаль на Теймура, принесена и веревка, чтоб вздернуть на виселице, но люди упрашивают хана, ведь Теймур — любимец народа, он обманут, у него незаконно отнят дядей престол,— пусть все это будет, хотя сюжет

этот прозрачно намекает на события в Карабахском ханстве, но пусть! Это хорошо! Мы на это пойдем! И театр должен откликаться на важнейшие политические события!.. Так вот, народ упрашивает хана, но тот непреклонен, и тогда, как у вас, Теймур выхватывает кинжал, ему удается бежать, а хан... Нет, нет, никаких казней!..— Соллогуб задумался.— А почему бы вам не поселить героев в Ленкоранском ханстве? Да, именно туда! Хан любит лодочные прогулки, и вот, расстроенный, что план казни сорвался,

— Но Теймура казнили!

отправляется кататься по морю, внезапно поднялся ветер, опрокинул лодку, и хан утонул. И в момент, когда Теймура вот-вот казнят, толпа приносит радостную весть: король, так сказать, умер, да здравствует новый король!

Как быть?

Соллогуб — граф, он однажды приходил к ним, и Тубуханум не знала, как угодить важному гостю,— разве можно не согласиться с ним? И Фазил-хан: «То Шамиль у тебя на уме, то казнь!.. Развлекать, смягчать дикие нравы, а казни оставь Шекспиру!..» — Фазил-хан тяжело дышит, и очень скоро появится о нем, в траурной рамке, напишет Хапыков, чиновник по особым поручениям при Воронцове.— «Надо, чтоб пьеса пошла на сцене, ты первый на Востоке проложил эту дорогу, и тебе надо идти по ней!»

Мирза Шафи, а что ты думаешь? В чьей лодке, того и песню пой, так, что ли? Двум канатоходцам по одному канату не ходить.

Исчез давний друг Хачатур Абовян (вот бы с кем посоветоваться!). Было уже однажды: исчез, думали утонул в Куре, но как увидели, сначала мурашки по спине («Воскрес?!»), а потом: «Да нет же, живой!» А ведь оплакивали друзья, даже в духане помянули... А он бродил по холмам, шел, куда ноги приведут: от суеты, от зависти, корысти, интриг, и забрел к приятелю-немцу, из эстонских, еще когда

в университете учились, познакомились; он некогда и сосватал ему жену: «У нее ты будешь как за каменной стеной!»

Неужто снова объявится? Месяцы прошли, годы,— не иначе как сгинул человек — затравили, запутали, и синод, и патриарх, и католикос, разуверился в духовном сане — уехал из монастыря, выгнали с насмешками!.. От горя умерла мать, умер отец, плач, слезы. Фатали помнит, как можно забыть? — их долгие разговоры: «Ты моложе меня, Фатали, кто знает, может, когда-нибудь возьмешь в руки перо, чтоб сочинить, ведь бед-то вокруг сколько. Пиши так, чтоб тебя твой народ понял. Как говоришь в семье — так и пиши!..» Он всегда и боялся реки, и тянулся к ней, любил глядеть на ее водовороты — будто чудище там, и оно, только окажись в этом роковом круге, затянет, засосет, исчез, пропал бесследно!.. Рассказывали, слышал Фатали, рыбак нашел в те дни труп в форме чиновника, испугался и снова бросил в реку; а потом слухи, будто видели нищим где-то.

Где ты, Хачатур, отзовись! Может, тайно вывезли тебя в черной карете? Замучили в Сибири? Фатали помнит, сказывали, что где-то в Сибири отыскался какой-то, из ссыльных, Абовян, неужто он?

А что скажет Александр, их новый сослуживец? Он усмехнулся:

— Между нами, только не обижайся, Фатали, ханы, их семейные любовные интриги и прочее, это пока забавы, может, так и надо высмеивать пороки, не знаю, вы очень и очень отстали, Фатали, не ваша в том вина, но что теперь поделаешь? И не ты хозяин в театре, но, кто знает, может, эта комедия и станет первой, которую когда-нибудь поставят на вашей азербайджанской сцене?

— Ну что же вы? Опять вас тянет к трагическим сюжетам! Ведь так важно, чтобы зритель, уходя из театра, видел: зло наказано! — И долго-долго граф Соллогуб втол-

ковывает Фатали, никак не остановишь, сколько бахвальства, а как ему скажешь: имейте совесть, ну куда вам до Пушкина, но нет же, он еще и о туземцах, о восточной музыке, что он в ней смыслит? бубнит и бубнит, сидя в своем директорском кресле: — Это же бессвязный, лихорадочный бред! Три человека, из которых один неистово свищет в коротенькую дудочку, другой поскребывает перышком по тоненьким струнам, а третий барабанит пальцами, дайра, кажется? Но из этого выходит нечто вроде звука, издаваемого пустою бочкою, которую везут по мостовой на несмазанных скрипучих колесах! Удивляюсь я нашим прославленным поэтам: неужели эта дудочка и есть воспетая ими зурна? Конечно, я не стану отрицать, Фатали, в этом скрипе и свисте есть что-то, не лишенное дикой прелести, в особенности когда где-нибудь на крыше хорошенькая грузинка, сбросив чадру (но грузинки не носят ее!.. а перебивать неудобно, ведь граф!..) и закрывшись рукою, пляшет лезгинку (все-все смешал, но как остановить, знатный человек!..) или когда идет грандиозная попойка, вы, слава богу, мусульмане, не пьете, и безостановочно передаются из рук в руки турьи рога с кахетинским. Но поймите, надо смягчать первобытные нравы. А вы с трагикомедиями! И вы хотите учить публику лишь горько смеяться над самим собой, как это делает кое-кто из наших?! Неужели и вам «Ревизора»? Пороки? Взяточничество? Есть, конечно, кто отрицает? Но чернить процветающее наше общество?! Да, есть и дурные люди, и карьеристы, но ведь с ними борется сам государь! Но чтоб на сцене восторжествовала взятка? лихоимство?! Оставьте это нашим желчным писакам!.. Я тоже сдуру некогда увлекался, да-с! И меня хвалили!.. Очень хвалили! Но потом понял: ни к чему это! Да, да, ни к чему! Оглянитесь — между саклями, отважно торчащими, словно гнезда, над обрывистым берегом Куры, вырастают красивые здания, перекидываются чрез бурливую реку каменные мосты,

выравниваются площади, возникают целые улицы, кварталы. Каждый день благодаря усилиям князя, выполняющего волю государя, приносит новый успех, новую мысль, новое развитие... и, куда ни глянешь, повсюду черкесы, лезгины, грузины, персияне, армяне, татары, бараньи шапки, папахи, смуглые и выразительные лица, сверкающее оружие, живописные лохмотья, кривые переулки, гулянья на плоских крышах домов, женщины в белых покрывалах, скользящие по пригоркам, как стаи пугливых лебедей, палящее солнце, горы, ущелья, да, да, надо крепить, а не рушить, именно так!.. Как у вас было? Сейчас вспомню. Встретились купцу два армянина, казенные крестьяне, один на осле, другой пешком. И эти возмутительные речи о насильниках, о вздорожании хлеба, неурожае, наручниках, каземате, о русском следствии, которое и за пять лет не кончится! Как же с помощью купца не обрушить на властей гнев? Увы, прием сей старый, и мы эти штучки преотлично знаем...

— Но ситуация комедийная! — оправдывается Фатали.— Трус купец, которому всюду мерещатся пограничники-есаулы да караульные, а он к тому же предупрежден, и земледельцы, не менее трусливые, чем он...— А Соллогуб и не слушает Фатали.

Рукой Соллогуба в рукописи были подчеркнуты слова крестьян: «без ропота отбывает повинности», и слова купца: «ответите кровью за причиненное народу несчастье!», а там, где о виселице,— синим карандашом: «Стоп! О виселице ни слова!»

Неужто лишь пепел? «Ты много работаешь по ночам, Фатали». Бумаги горят и горят. «Ты когда-нибудь подожжешь дом, Фатали». От слов-то?..

Умереть — что есть проще? Но как это значительно — смерть!.. Жизнь окончена, уже никогда ничего не будет. Подведена черта (недавно хоронили Фазил-хана), и мы можем увидеть осмысленность или бестолковость? Никчем-

ность? Пустяшность?.. Нет, именно осмысленность пройденного пути. А что оставит он, Фатали? Неужто так сросся с мундиром? А что, если мундир как действующее лицо? — Отдал преступнику, и тот спасся... Или — погубил?

Фатали без мундира: будто оголили, беззащитен, отовсюду — кто с палкой, кто с кочергой, и мясник с ножом; а ведь убьют, если мундир навсегда покинет... Что же делать, чтобы научиться говорить без утайки, полным голосом?

И эти хвастливо самонадеянные люди, которые пришли развлечься, что им до тебя?

А в день тезоименитства государя — бесплатный спектакль, хор колоколов тифлисских церквей, призывные крики с минаретов мечетей, иллюминация, бенгальские огни, театр дрожит от рукоплесканий, а площадь перед ним лопается от звуков зурны. А потом народный гимн, явился перед всеми державный двуглавый орел, блеснул щит с именным императорским вензелем — не было предела восторгу, пели все, кто был в театре: «Сигналы поданы! Сбирайтесь призывом батюшки царя! Вы, слава войска — гренадеры, и вы — герои егеря... И вы — драгуны, и вы Европы ужас — казаки, смыкайтесь в стройные полки... И вы, Кавказа дети,— царю спешите доказать, врагов крамольных наказать...»

Кованые кавалерийские эполеты, шитые мундиры и какой театр! Сколько листового золота пошло! Лучшими персидскими штукатурами исполнены лепные работы, самому мастеру Газеру специальные часы заказаны! А для отделки лож выписан беспошлинно из Парижа шерстяной бархат бирюзового цвета; кресла и стулья из чинарового дерева светлого цвета, гармонирующего с залою; а люстра заказана в Париже через царского военного агента полковника графа Штакельберга фабриканту Клемансону. На своде потолка, щедрою рукою изукрашенного золотыми

арабесками, размещены медальоны с именами знаменитых драматургических писателей: Эсхила, Плавта, Шекспира, Гете, Мольера, Кальдерона, Гольдони... Зал, похожий на огромный браслет из разных эмалей, напоминает предметы древней утвари с разноцветною финифтью. И ты, Фатали, не хочешь, чтоб твою пьесу играли на сцене этого театра?!

Актеры из Петербурга. Только, правда, нет первых любовников, но они тебе не нужны, Фатали, да и где найти их теперь? Примерные любовники так же редки, как и примерная любовь! Первых любовниц тоже нет, что делает честь тифлисским нравам. А публика!.. В ложах — женщины, знать. В креслах — львы и аристократы. Далее — степенные горожане, еще дальше — серая публика. Воспитание, уровень публики кресел и лож достойны изумления. Вдруг встал и ушел: как не похвастать, мол, ему уже все известно,— публично выказать умение предугадывать развязку пьесы. Ушел с грохотом, шумно, как победитель. А сколько дыму! Сколько курильщиков! И дирижер разгоняет смычком дым. А у подъезда — бичо в бурках с длинными складными бумажными фонарями. И неизменно фаэтоны. И ждет усатый фаэтонщик. И в небо бьют фонтаны лести!..

— А может,— думая о своих фарисеях, говорит Фатали,— показать на сцене лужайку, ну... вроде бы майдан жизни или шайтан-базар, и понатыкать шесты, множество, множество эф?

— Что за эф?! — недоумевает Соллогуб.

— Ну, Фа или Фи!..

— Ах вот вы о чем! — аж глаза на лоб полезли. И вспомнил вдруг (с чего бы?), тоже эФ, эФ, да, да, Фон-Фок! один из основателей Третьего отделения!..— О чем вы, Фатали?! Да как можно?!

А Фатали о том и не помышляет, хотя, может быть, именно в этот миг, когда изумился Соллогуб, и родилось

имя его героя, хозяина зверинца, он искал, чтоб было Фэ Фэ!.. Но не Фон-Фок, а Франц Фок!.. (и там, и здесь — зверинец?!). А Соллогубу уже мерещатся новые Фа, люди во фраках,— ведь именно они, эти фраки, как успокаивали себя в далекий декабрьский день напуганные царь и его приближенные, и смутили верноподданнический дух войска...

И по взгляду Соллогуб понял: другие эф на уме у Фатали.

«Ах эти растущие на ниве фурии!..»

— Да! И еще! — пока Соллогуб умолк, чуть успокоившись.— Аксакалы-вожди, которым верил, очернили фаброй седые бороды! И пришло понимание, что фанфары фараонов, феерические эффекты фраз, фейерверки пиротехники разве что способны произвести фурор средь мумий фараонов!

И где-то гнездятся угнанные картечью фазаны с вырубленных карателями кавказских лесов!

А фетва, эта восточная анафема, источаемая устами законников, вызовет разве что хохот у отовсюду выглядывающих филеров и фискалов, флиртующих с флюгерами и поющих фальцетом фуги и фугетты или играющих — им наскучило фортепиано! — на недавно изобретенной фисгармонии, а потом в тире под канцелярией наместника стреляющих на потеху из кремневых фузей, подшучивая над отставным фузилером, ведающим этими снятыми недавно с вооружения кремневыми ружьями...

Снятыми? Как бы не так!.. Ну что за ружья у нас?! — негодуют все, кто с Крымской живым вернулся.— Заряжать с дула! А пушки?! Нет чтоб, как у всех нормальных войск — стальные. Бронзовые пушки. Вот и повоюй...

— И чего вы норовите лезть в эти самые, как их? фурфуристы?! Не надо, не надо, Фатали! Тоже мне, фузилер! — обрадовался Соллогуб.— Ваше дело не стрелять, а облагораживать, да-с, не стрелять!..

Соллогуб недавно прибыл из Шемахи и накануне прихода к нему Фатали посетил князя-наместника, доложил о результатах секретного дознания, а перед тем как уйти, позволил себе — с чего бы вдруг? — вольность подмигнуть светлейшему: «Помните, князь-наместник? Для ознакомления туземцев с удовольствиями сценического искусства, а также для распространения угодного нам образа мыслей мы открыли театр — вот вам и результаты, пример со времен Ноя небывалый: князь Георгий Эристов начал писать комедии на грузинском, а Мирза Фет-Али Ахундов — на татарском...»

Да, да, это было: приезд наследника — цесаревича Александра в Тифлис! И на Дидубийском поле — высочайший смотр войскам, в большой свите Воронцова — князь Эристов, назначенный наместником (он любит рисковать: ведь Эристов — из сосланных за участие в заговоре. Недавно только вернулся из вильно-варшавской ссылки) младшим чиновником по особым поручениям, и опекаемый наместником образованный туземец Ахундов, чья пьеса «Медведь — победитель разбойника» (о нападении разбойника на зверинец Франца Фока) готовилась к постановке («в коей роль бразильской обезьяны исполнена будет г. Прево»).

— Рекомендую, ваше высочество,— представил наместник Эристова и Ахундова наследнику-цесаревичу,— грузинского и татарского Мольера.

— Сразу двух?! — Наследник милостиво изволил подать им свою руку, и они поспешили, и вихрь чувств!..

— А все, ваша светлость,— продолжает Соллогуб,— штык!..— Разговор о штыке ласкает ухо наместника.— Да-с! Штык! Он прочищает дорогу просвещению!..

лицемеры и ханжи! вы, для которых нет разницы между искусством слова и ремеслом пиротехника, изготовляющего фейерверки для пиров, приемов, парадов!..

водевиль или пьеса-экспромт в честь главнокомандующего или нидерландской королевы — сестры Николая и дочери Павла, дельный совет по части меню, декорации залов, стихи á propos — вам все равно.
и — убив вознести! это ваша привычка: убить, а потом вознести!
и Пушкин, и Лермонтов, и еще, и еще!..

А Колдун с обидой: «Всех вы с Соллогубом вспомнили — и шарлатана-алхимика, и купца-контрабандиста, и интриги ленкоранцев, и армянских крестьян, и немца Франца Фока с его бразильской обезьяной, и даже почти тезку его Фон-Фока! Но не упомянуть меня?! А Париж-то кто разрушил — забыл?»

— Как не вспомнили? Разве не слышал? Колдун — это хорошо! — сказал Соллогуб, добавив, правда,— но не скажу, что я в восторге от интриги, связанной с парижским бунтом!..

«Вот-вот! — И Колдун прячет в хурджин из ковровой ткани, а какие на ней узоры, какая вязь! домики-кубики «нотр-дам», «версаль», «тюильри», а на одном даже по-французски «de l'Horloge».

«А это что? — спрашивает Фатали Колдуна.— И когда ты успел французский изучить?»

«Это ж павильон де л'Орлож, а на нем часы!»

«А это? «Ка-ру-сель».

«Сочинил, а не знаешь?! Это ж карусельная площадка, куда въехал король на смирной лошади в надежде наэлектризовать войска!»

«И они кричали «Vive le roi»?

«Не виват, а долой! И король бежал в грязнейшем наемном экипаже!»

«В мизерном фиакре!.. В июльскую пыль прибыл, в февральскую грязь уехал!»

«Какова пыль, испанская, кажется, поговорка, такова и грязь!..»

«А чем кончилось?»

«Но ведь ликованье какое!.. А ты бы посмел о тех, кто разрушил Париж и выгнал короля!..»

Мундир Фатали на вешалке зашевелился.

«О дивах и шайтанах?»

«Да, о чертях и дьяволах!»

Мундир застыл, но оба видели, как оттопырились его плечи, а потом он снялся с вешалки, с одного плечика, с другого, и двинулся к Фатали, чтоб влезть ему на плечи.

«Наше прошлое удивительно, настоящее великолепно, что же касается будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение». Фатали выписал эту фразу, а рядом переводы ее на фарси, на азербайджанский. Бился и над переводом на арабский, но всех призвали к наместнику.

— Каков Паскевич, а?! — и тычет в только что полученную депешу.— Ай да Иван Федорович! Не зря, нет, не зря пожалованы ему государем титулы графа Эриванского и князя Варшавского. Задушил венгерскую гидру! Разом отсек ей голову и бросил под ноги его императорского величества... Что? Жестокость?! Это проявление энергии, а не жестокость! И не упрямство, чтоб всюду было, как у тебя дома, не прихоть, а выражение силы — наказать и подчинить!..

«И с такими мыслями,— голова Колдуна на миг, той щекой, где муха,— чтоб тебе еще ордена?!»

Фатали резко встал, скинув мундир, но он, чтобы сохранить чиновную честь и не пасть, вспорхнул рукавами, чуть ворса ковра коснулся и взлетел на вешалку.

Не с той ли поры и началось? Иногда видели лишь мундир: сослуживец, с ужасом,— только мундир!.. Выскочили:

— Ты что? Горячка у тебя? Пойди отоспись!..

— Ну что вы, братцы, я в полном здравии!..

— Или плоды спиритизма?!

Какое там!..

Потом еще кто-то сказал, что видел лишь мундир, может, еще чей-то?! но ушло — завертелось, были-небыли, а волны от слухов ширятся и рвутся, зацепившись за лавки Шайтан-базара, и краснобородый от хны Мешади, мимо которого Фатали проезжает, видел Мундир на коне!

Ночь и день Фатали

Фатали спал. Пара быков, натужась, аж жилы на шее вздулись, тащила на гору Давида телегу, груженную аккуратно сложенными ящиками, и солдаты подталкивали ее плечами, упираясь сапогами в каменистые уступы. Под присмотром стройных офицеров в высоких фуражках с красно-зелеными полосками на бортах солдаты разгружали телегу на плоскости, куда уже были втащены низкие изящные пушечки. Из ящиков стали вытаскивать длинные легкие снаряды, но Фатали — когда же успел? — уже был у подножья, миновал Армянскую площадь, оставил позади гостиницу «Азербайджан», баню «Фантазия» и шел по Шайтан-базару, как вдруг на горе Давида вспыхнуло во тьме зарево, и снаряд, Фатали отчетливо видел его ход, нечто огненно-светящееся, проплыл меж туч, освещая небо, и скрылся за Метехской крепостью, где в тот же миг взвилось к небу высокое пламя.

И еще один снаряд сигарой пронесся по небу, отражаясь в окнах домов, круто поднимавшихся над Курой. И, описав дугу, упал там же, за Метехом. Фатали торопится, идет по берегу Куры, скоро уже быть дому, но дорога тянется и тянется, а за спиной, чувствует затылком Фатали, низко летит, шипя в тучах, остроносый длинный снаряд, бесшумно взрываясь за крепостью.

— Ты слышала, Тубу?! — Но Тубу спала, обняв его подушку.

Такие же пушки, низкорослые и малые, у Шамиля: их отливали неподалеку от его дома русские и польские беглые солдаты.

А в Метехской тюрьме сидел Алибек, пойманный таки с помощью карабахского хана, которому нацепили на грудь медаль за поимку: восьмиугольник из позолоченного серебра.

Да, Фатали предупреждал! И о сыщиках, и о генеральском чине, и о ловушках. Через надежных людей и даже посылал своего конюха Ибрагима — ведь он из карабахских... И слуга Фатали Ахмед через родственников в Шуше дал знать Алибеку, что готовится крупная облава. И никак не удалось ему помочь...

Французы? Ну да — ведь Крымская война. Усилилась подозрительность. Ищут лазутчиков Шамиля и турецких эмиссаров, пробирающихся к нему с секретными письмами от султана. Пристально следят за бывшими ханами, и даже карабахским — ведь связан родственными узами с шахом: южные соседи присмирели, но тайно мечтают о реванше.

Однажды схватили и соседа Фатали, Фарман-Кулу, прилежного чиновника по налоговой части: работал в комиссии по разработке правил обложения жителей закавказских губерний новым окладом податей и поземельных доходов и к Фатали приходил то ли чтоб поближе познакомиться, то ли чтобы показать, как рьяно он служит царю. «Вот смотрите, я все высчитал! Сравнительные доходы по пяти губерниям: Шемахинской, я сам оттуда, Нухинской, это ваш край, Шушинской, родина, так сказать, Ханкызы, как она после развода? Ленкоранской и Бакинской. Вот здесь на таблице то, что было прежде: деньгами, с чалтычных посевов, шелка и прочее, а в итоге чистой прибыли в казну почти сто тысяч рублей!..»

Это случилось перед началом утреннего служебного приема. Фатали вошел в приемный зал следом за Воронцовым и застыл. На коленях перед Воронцовым стоял Фарман-Кулу: «Князь, спасите! Я раб ваш, я вам предан! Это скажут все! Вот Фатали! Все скажут!..» Он трясся, губы посинели.

— Мм... мм... что такое, любезный? Да успокойтесь, встаньте!.. В чем дело? — Воронцов протянул к нему руки и поднял.

— Ваше сиятельство,— Фарман-Кулу задыхался.— Враги мои, недруги, за верную службу мою оклеветали! Какой я — затрясся,— шпион? Я ваш раб!..

А у Воронцова застывшая улыбка:

— Не надо, любезный, успокойтесь, я наведу справки, все будет хорошо.

Воронцов прошел в свой кабинет и тут же вызвал Фатали. Отдал папку адъютанту: «Передать по назначению», а потом к Фатали: перевести перехваченное послание Шамиля к французам. «Что вам еще?» — спросил у адъютанта, видя, что тот все еще стоит.

— Ваше сиятельство, а что прикажете насчет этого татарина?

— А, этот татарин?..— «Неужто забыл?!» — думает Фатали.— Ах, этот!.. Он, по докладам, шпионит, поступить по обыкновению,— та же застывшая улыбка.— Повесить его.

— Как?! — вырвалось у Фатали; от изумления адъютант даже повернулся к Фатали, но быстро вышел, чтоб гнев князя не захватил и его.

— А что?! — и такой взгляд!

— Я его знаю!

— Ну и что же? Верить вам?!

— Да. Его надо помиловать!..

— да как вы!..
— смею!
— вы!.. вы!..— он побелел от негодования, губы посинели, как у того татарина.— да я вас немедленно!..— потянулся рукой к колокольчику.
— посмейте только! я вас, как собаку! — встал за спиной и дулом под лопатку.
— да за это... вас четвертуют, сам государь...
— выживший из ума мерзкий старик! и вы смеете обрывать жизнь ни в чем не повинного человека!
— да ведь он!..
— вызывайте адъютанта!
зазвенел колокольчик.
— того... татарина... выпустите его...

— Мм... Что ж, если вы ручаетесь, я распоряжусь...— Преотличное настроение: сына произвели в полковники, к тому же вчера хорошо сыграл в ломбер, да еще письмо, полученное от Ермолова, все тот же почерк, только (ведь прошло лет тридцать, а то и все сорок, как переписываться начали!.. еще когда рядом их части: Ермолов в Кракове, а Воронцов в Праге, «Священный союз!..»; а потом Ермолов — с Кавказа, «жизнь с полудикими народами и тяжелая возня с Петербургской канцелярией!..» — «странно тебе, живущему во Франции, будет получать письма из Тегерана...»). А теперь — Воронцов в Тифлисе, а тот — на Севере, да-с, только линии букв стали неровными, ломкие и угловатые; «Тебе суждено быть смирителем гордого Кавказа»,— писал Ермолов, а потом, по просьбе Воронцова, сообщал ему сплетни, «ты приказал сообщать, и я исполняю», «мнение болтливой Москвы» — и больно ударило, обиделся Воронцов, когда Ермолов ему о позорном поражении в Дарго — мол, «ты вынимал саблю в собственную защиту!..» Оттаяла, оттаяла теперь обида: Ермолов признает в письме, оно только что получено, что имен-

но при нем, Воронцове, правительство получило точное понятие о крае!.. вот: «доходы... перестают, как доселе, быть гадательными и приходят в правильную численность»; вот еще, как тут не возгордиться?! — «внутреннее устройство приближает страну к европейскому порядку».

Фатали окрылен, спешит сообщить радостную весть. Но Фарман-Кулу нет еще дома. И ночью — нет его. Утром к адъютанту.

— Ах, вы заступились!.. Ах, распоряженье...

Ворвался к Воронцову. «А славно утром поездил верхом!» И письмо еще не остыло, греет.

— Увы, пока я распорядился, успели казнить.— Устал, очень устал наместник.— Но вы не огорчайтесь, Фатали, и не забывайте, что отличительное свойство народов здесь — неблагодарность, не знают счастья принадлежать России и изменяют ей многократно и готовы изменить еще, да, да, и Цицианов был прав: можно ли переменить их обычаи?

О, Воронцов знает здешний край! воевал волонтером в корпусе Цицианова: дядюшка, тогдашний государственный канцлер, велел Цицианову беречь любимого племянника, «он у нас с братом один...» — и посыпались, как из рога изобилия, чины и ордена: при занятии Гянджинского форштадта и садов.

— Мы с вами, Фатали, не встречались? Ах да, вы же были там в двадцать шестом, а я, молодой человек, да, да, вам хоть сорок, а я еще за десять лет до вашего рождения за Гянджинский форштадт и за сады...— орден Святой Анны и был уже кавалером Святого Георгия, Владимира с бантом!..

тупое смертоносное дуло.

— и что дальше? так и будете стоять?

— я вас оставлю.

— и пойдете домой? — возвращается самообладание — к жене и детишкам? и ночью за вами являются. ах, какой был великий драматург, какие бы еще написал пиесы, а исчез. вся семья вдруг в течение ночи сгинула, и когда еще народ взрастит такого поэта? реформатор языка, философ!.. и из-за чего?! выбрал нелепую гибель, и никто не узнает, где он и что с ним! сгинули и его жена Тубу-ханум, и его две дочери, и сын Рашид, ах, какие были надежды!..

Фатали ушел от Воронцова, ничего не видя, оглушенный и подавленный. «Эй, народ!..» — хотелось ему крикнуть. Но где та площадь, с которой кричать? Да и кому? лавочникам? купцам? перекупщикам? кустарям шапочного или чувячного рядов? жестянщикам? лудильщикам?

Фатали переступил порог глинобитной лачуги. Сначала была радость («Ах, какого знатного гостя нам аллах послал!»). Но стоило ему только заикнуться о несправедливостях жизни, как радость сменилась испугом, а потом яростью. Чтоооо? Эй, Али, зови скорей Вели, пусть кликнет Амираслана, Гейдара!.. А ты, сынок, беги к старосте!..

Но староста не поверил:

— На мундир замахнулись? Да я вас!..— И, цыкнув на крестьян, просит прощения у Фатали, а крестьяне падают ниц, боясь быть битыми.

А потом пристав:

— Видите, какие они клеветники?

Что же остается еще, если душа народа закрыта на семь замков. Масонская ложа, общество благоденствия?.. Пятеро собрались, чтоб деспота свалить! Якобинский клуб? Ну да — и надпись, украшающая двери: «Что сделал ты для того, чтобы быть расстрелянным?..» Знатные офицеры, в своих ротах, батальонах, аж в самом Санкт-Петербурге, а не где-то здесь, в захолустье... И слова, слова... Закоснелость народа. Крепостное состояние, когда

никакого права мысли, лихоимство властей, презрение к личности, человеку вообще. Никаких стремлений к лучшему. И чтоб снова шах? новые раздоры? и грабеж пуще прежнего? кто удержит шекинцев против бакинцев? карабахцев против ширванцев? а возвысится хан Гянджинский — в каждую область своего гянджинца! возвысится низкорослый бек нахичеванский — о!.. и по новому кругу новые головы слетают!.. А что другое ему остается делать?! Как прежние, так и он, иначе нельзя!..

Мелкум-хан, чтобы не навлечь на тебя подозрения, я дам тебе псевдоним, сам некогда ими, громкими, увлекался, да бросил. Но тебе дам: «Рухул-Гудс», «святая душа» — расскажи о своих масонских ложах в Иране, я тоже, как ты, пытался, собрал двух-трех, поболтали и разошлись. Исмаил-бек, Хасай-бек, да еще Мирза Шафи, думали, примкнет, а его Фридрих у нас похитил. И родственник мой, брат Тубу, почти брат — Мустафа... Как разбудить, а главное, кого? Крикнуть у самого уха так, чтоб отозвалось в Баку и услышали в Нахчеване: «Эй, народ! Доколе на голове твоей орехи разбивать будут? Доколе тащить будешь по грязи, как вол, эту проклятую телегу, в которой расселись твои вожди, сытые и наглые? А многого, Рухул-Гудс, вы добились в «Доме забвения» — «Ферамушхане»? А? Не слышу!.. А как насчет вашего активного выступления против деспотического режима? А что с «Обществом человечности»? А как ласкает слух — «Джамияте-Адемият»! И тебя тоже? Тебя, личного переводчика шаха, удостоенного титула принца!.. И тебя выслали! Тебя, говорившего правду!.. И как поливали тебя грязью: «Армянин чистейшей крови, станет он за нас печься, у него свое на уме. Пусть скажет спасибо, что только выслали из страны, на соляные прииски не сослали! Не вырвали язык ядовитый! Руку, пером гусиным водившую, не отрубили! Что еще? Бороду его рыжую, истинно армянскую, к хвосту осла не привязали!..»

Потом был обыск в доме казненного Фарман-Кулу. И Фатали поразили вылетавшие из черного отверстия форточки белые-белые перья. Ветерок их подхватывал и нес на своих крыльях, а они качались, будто на волнах, уплывая к мутной Куре. Может, и Мечислав армянин? Поляк, призванный мечом своим прославить имя,— возник и исчез. Будто и не было его. Утонул в Куре? А с чего он был так разгорячен? И о Вильно, и о Варшаве, и о польском восстании, и о великом князе, и о Паскевиче... Фатали понимал его плохо, как и тот — Фатали, но как же удавалось Фатали еще учить поляка? Оба говорят не на родном, к тому же — что за странное желание? на старости лет учить фарси... в его-то положении! Весь отряд, к которому примкнул Мечислав, был сослан на Кавказ, и до Тифлиса — и то после многих лет!.. добрался лишь он один: кого-то скосила лихорадка, кто-то сбежал к горцам... Столько лет прошло, огню бы давно угаснуть, пепел лишь один остался, а нет — ведь какой был порыв, какое буйство, как пламенел гнев!

— А началось с вашего великого князя!

— Почему моего?

— Вы разве не служите его брату?

Фатали сначала не понял; ну да: ведь брат — это сам государь!..

«...и будешь служить племяннику великого князя, четвертому сыну государя Николая — наместнику кавказскому генералу — фельдцехмейстеру Михаилу!..»

— Ах, какая была сеча! Какой мятеж!.. Мы разделились на две части: одна пошла к кавалерийским казармам, другая к Бельведеру, где жил князь, чтоб убить его... Вот она, спальня наместника! Мы знали: он вечером спал, чтоб встать в полночь и работать до утра. Но его нет. Трогаем постель: она еще тепла... «Где князь?!» — спрашиваем у камердинера. Молчит. Узнали потом, что схватил насильно князя, а тот спросонья упирался и даже пощечину вле-

пил, когда камердинер вбежал к нему с криком: «Революция!..», и вытолкнул через потайную дверь в узкий коридор.

В Варшаву! Тридцатый год. Идем по центральной улице Новый Свят! С барабанным боем, триумф... Люди выскакивают из кофеен, трактиров, кондитерских!.. В Краковское предместье! Через Сенатскую улицу — в Медовую, где у университета к нам вливаются еще студенты, и мы направляемся к арсеналу. Всем — оружие! Строим баррикады, к нам присоединяется артиллерийская школа!

И пять гробов, покрытых трауром! И на них — имена казненных в декабре! И знамена: ваше и наше! И клич, начертанный на знамени: «За нашу и вашу свободу!» Вырыли пять могил — и вот уже пять холмов в честь повешенных!.. Кенотаф — пустая могила!..

Мечислав умолк: дальше известно — потопили мятеж в крови.

— Ах, как хорошо бился мусульманский конный эскадрон... А Паскевич?! Великий полководец штурмом взял Варшаву. Могилу бы его навестить, положить свежие цветы. А ваши земляки — как славно рубили они нас шашками... И ваш Бакиханов, видите, как крепко обнимаются они с Паскевичем? Нет? А я очень хорошо вижу Паскевича: с перебинтованной рукой. Земляк мой, зрение у него ни к дьяволу не годится, промазал!

— Ладно, давайте мы ваше имя арабскими буквами напишем! Итак, эМ, а по-арабски Мим, Чэ или Чим, зС или Син, аЛь или Лам, Вэ или Вав; Мчслв, точка здесь и сразу три! — здесь!

— Ах, как красиво!

— И емко!

— О боже, сколько точек!..

Мечислав исчез, когда еще Паскевич жив был. Но как предугадал, что князя ждет смерть именно в Варшаве?

Сначала исчез Абовян, потом Мечислав, а еще через год — Александр, друг-сослуживец из петрашевцев.

«А мы летели с тобой, Фатали, помнишь? — часто говорил ему Александр, как будто не Фатали, а он видел тот дивный сон, как прекрасно они летели.

Из туманного Лондона в солнечный Тифлис

Но туманным в этот день, когда Фатали и Александр бродили по набережной Куры, был Тифлис. Еще недавно здесь, на левом берегу, были заросли камыша, песок отливал желтизной и ютились лачуги, и черномазые худющие голодранцы удили рыбу, чтоб перевезти затем улов на утлых челнах, а их относит течением вниз, и надо бешено грести, чтоб добраться до того берега и продать (скоро построят и мост). Фатали часто их видел, они горланили, приставая к прохожим, чтоб купили у них огромные белые рыбины с выпученными глазами. Река порой разливается в половодье, камыши накрывает доверху, а потом вдруг отступит вода, и маленькие старицы в пойме сверкают на рассвете, как зеркала. Кое-где берег уже одет в гранит, тифлисцы застраивают левобережье, кипит работа во всем городе. Кажется, что очень давно, а ведь всего семь или восемь лет прошло, как красуется роскошный дворец наместника, привыкли и к арсеналу, и к госпиталю, будто был он всегда. И гимназия, и женский пансион, куда Фатали отдаст свою дочь учиться, и театр, где прежде был пустырь, и лотерейные клубы, и торговые дома, и сады с эстрадою, откуда ветер доносит трубные звуки — играет военный духовой оркестр.

А сколько развелось в городе носильщиков! Только по головному убору и различишь, грузин ли он, армянин или тюрок-татарин; у грузина-имеретинца на голове кусок

сукна, у армянина — колпак, похожий на опрокинутую чашку, а у тюрка или персиянина — рыжая папаха. И на спине у них, в этом схожи все, подушка, набитая войлоком, и тащат они то огромный комод или сундук, а то и рояль, обхватив его за ножки своими ручищами.

Туман над рекой, над городом, и тот берег растворился в белом, в двух шагах ничего не видать, лишь угадывается близость реки и слышно, как она дышит.

— Как туманный Лондон,— тихо произнес Александр.

— А вы были в Лондоне?

Александр промолчал: был ли он?! Он каждый день мысленно там и ловит вести с того далекого берега. Прежде многого не понимал, только порыв и юношеский запал, чужие слова из книжек, а потом ссылка (только за то, что однажды слушал чьи-то злые записки), и эти вести из Лондона, такая правда, от которой и боль, и надежда.

— Мне кажется, что я, как птица, чую приближенье бури. Вот увидите, Фатали! Все пошло вверх дном, готовится катастрофа! А впрочем...

Пока шли по берегу, туман рассеялся, на воде заиграли кровавые отблески солнца. Мимо прошел носильщик, взвалив на спину, как живого барана, бурдюк с вином.

— Да, Тифлис как вечный город, живет своей безмятежной жизнью, и нет ему дела до наших с вами печалей.

— Как знать, Александр.

Фатали вспомнил недавний кулачный бой на Мтацминдском плоскогорье, который поверг царских чиновников в панику: триста раненых, пятеро убитых! Как бы не разгорелись от кулачных боев страсти черни. Была срочная депеша Воронцова царю и царский запрет на кулачные бои. Напуган был и Александр, «Да,— сказал он бледнея,— разгул черни — это страшно, тьма-тьмущая, монарх — это ключ, это стержень»,— давние сомнения Александра, и он их высказывал Фатали, страх, что без сильного монарха затрещит и грохнет, а от черни перешел к

каким-то племенам. На крепконогих лошадях, низкорослые и кривоногие, не знают ни домов, ни пристанищ, произошли, он в книжке прочел еще в далеком детстве, от злых волшебниц, которые совокупились в степи с нечистыми духами.

Александр — частый гость Фатали в его новом доме; как стал заселяться берег, Фатали, получив ссуду, построил дом с застекленной галереей, опоясывающей двор. А началась у них дружба с бани, куда повел Александра Фатали. Не сговариваясь, оба вспомнили Пушкина, и это сблизило их. Банщик, как описывал Пушкин, был без носа. «Узнайте, не Гасаном ли зовут?» «Да, а что?» — уставился тот на Александра, оба хохочут; только на спину не вспрыгивал и ногами по бедрам не скользил, и вытягивание суставов было, и намыленный полотняный пузырь. И шелковая струя мягкой горячей воды.

А потом долгие разговоры. О чем они только не говорили!.. И часто — о будущем, какое оно? Может, через сотню и более лет жить не случайными и несчастными объединениями людей, грызущихся друг с другом, а... ну да, я уже говорил, союз, разумная цель и так далее, «кусочки, склеенные кровью...»; и о том, что за спиной одного сеятеля два царских чиновника-бездельника, «нет, некому будет, некому ни сеять, ни жать, ни молотить!» И об амнистии, «слишком поздно!» О тех, кто вернулся из сибирской ссылки, о декабристах, тысячами их погнали, молодых, а вернулись старцы, кто-то уже не в уме, в ком ясная мысль, но держится в дряхлом теле, а кто сломлен и духовно, и физически, а как выжил — трудно объяснить.

Фатали каждый раз провожал Александра; вот так однажды — проводит и больше не увидятся: исчезнет Александр!

И именно в те годы, когда Фатали, полный иллюзий («ах, каким ты темным был, Фатали!..»), поступил на службу в царскую канцелярию, в имперской ночи (это

сказал Александр) раздался выстрел — философическое письмо Чаадаева.

— Читай, что писал Чаадаев: «Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами!»

Не глазами статс-секретарей императора, называющих людей декабря буйными безумцами, не фразами гоффурьерского журнала будут судить потомки о бесстрашных борцах.

Фатали читает листки герценовского «Колокола» и глазам своим не верит: как бесстрашно и точно пишут!

Всеобщее отвращение к позорному прошлому, всеобщее негодование к разлагающейся деспотии,— иначе мы дадим миру небывалый пример самовластия, рабства и насилия, вооруженного всем, что выработала история, и поддерживаемого всем, что открыла наука: нечто вроде чингисхана с телеграфами, пароходами, железными дорогами.

Мы освободили мир — и от каких полчищ! — а сами остались рабами, подвластными какой-то многоэтажной канцелярии с кнутом в руках. Внизу, вверху — все неволя, рабство, грубая, наглая сила, бесправие, ни суда, ни голоса. Люди декабря ушли, и резко понизилась в обществе температура мужества, честности и образованности, оно сделалось пошлее и циничнее, стало терять возникающее чувство достоинства.

Надежды, надежды!.. Неужто в длинном и мрачном туннеле начинает мерещиться свет?! Или снова иллюзия?! Но ведь была уже телеграфная депеша о смерти императора!.. Да, да, цезаристское безумие!.. Яд!.. Свершилось горестное событие, Россия лишилась великого государя, а Европа и мир — великого человека!

Ну да, и амнистия тоже, перерезали веревку, и открылись пути за границу, и хлынули первыми те, кто на самом верху; при Николае заикнуться не смели, а тут —

всем сразу захотелось, и болезни нашлись, где же лучше всего лечиться, как не за границей,— и доктора, и воды, и неведомые новые лекарства.

А можно ли довериться татарину?

Разбудить! Вот он, голос Герцена и Огарева, бьют в колокол далеко, но доходит и до них — до Александра, его сослуживца, почти ровесники они с Фатали; назвал его как-то «Искандер», а тот вздрогнул, но Фатали не понял отчего, ведь Александр — это по-тюркски Искандер.

Листок этот, тонкий-претонкий, шел издалека в закавказский край через Стамбул!

Молодой турок, живет в Стамбуле на улице Кипарисовая аллея, хотя ни одного кипариса не осталось с тех пор, как назвали улицу, когда ворвались в Константинополь и штурмом взяли его, давно, очень давно, лет четыреста назад, и назвали Стамбулом, «Исламболом», «Много ислама», лишь узкая улочка, круто убегающая вниз, да низкие лачуги.

А из Стамбула до Туапсе, лодка пристает к безлюдному берегу, не врезаться б в скалу, ух, как качает на волнах!.. и — в Тифлис.

Царские сыщики охотились за людьми Шамиля, французскими шпионами и новыми лазутчиками — а это свои, они везут тонкие и свернутые трубочкой листочки белой как мел бумаги, одни лишь слова, но гремят, словно колокол.

Хлынули, хлынули в Европу: в Париж, Рим, Лондон... в Берлин успеется, это никуда не уйдет, тем более что всюду царские родственники: по матери и по отцу; смешана и перемешана кровь, так что не надо искать этот первородный чистый дух; едут, видят, удивляются — лучше, чище, есть чему поучиться, есть что привнести, но не могут или не хотят,— и хлынули именно те, кто был ближе всех к престолу; и почти первой — вдовствующая.

Александру и Фатали узнать о своих делах у себя же, так нет: свежие вести, только что испеченные, приносят эти тонкие-тонкие листочки в бамбуковой трости, а на ней — латинские слова: Patit exitus — «страдай, несчастный»!

Можно ли довериться Фатали?

А Фатали ищет свои пути: Шамиль? В это он не верит — что может Шамиль?

Сначала о пустяках: Александр о детстве своем, об отце-щеголе, пел, недурно танцевал мазурку, в ушах звучат отцовские восклицания, а мать нервничает: «Ах, ах!.. Какие красавицы!.. Княжна Нарышкина!.. Княжна Урусова!..», о стерляжьей ухе, — «подавалась в честь голубеньких (андреевских) и красненьких (александровских) кавалеров!..»

Кто не мечтает о голубой ленте высшего ордена — Андрея Первозванного!

А потом, когда сослуживцы ушли и они остались одни,— о пьесах. «Вы хотите разбудить пьесами?! Даже выстрелы не разбудили!»

Фатали сразу:

— На Сенатской? — накипело, чего таиться? амнистия ведь!

— Не только!..— Александр к тем не причастен.

— Я верю в силу слова!

— Разбудим и их, что дальше?! Поодиночке будут пробуждаться, их будут поодиночке топить.

— Что же вы предлагаете? Не помогут ружья, не поможет слово, что же остается еще? Что третье?

Вот именно — что же еще, кроме ружей и слова?

Тупик.

Но наступает утро, надо жить, надо идти на службу, надо видеть: униженье, лицемерие, обман.

И все же слово, без вольной речи нет вольного человека!

А нужно ли, Фатали? не проклянет ли тебя спящий, когда пробудится,— чем ты можешь ему помочь?! И все-таки: будить спящих, стращать деспота, грозить гласностью верховному правителю: отрекись, если во взоре сонная тупость, если немощен и нет сил управлять!

Взятки. Видят и знают, но всеобщее молчание, ибо нельзя!

Губернатор оказывается мошенником: судить?! Его делают сенатором или членом Государственного совета, но зато строго наказывается мелкий чиновник, стянувший гривенник.

Поехал как-то Фатали навестить больного Ахунд-Алескера. Вышел на улицу. Три крестьянских парня и он:

— Бек измывается над вами?

— Ну что вы, мы ему так благодарны, кормильцу нашему!

— Он тебя вчера нещадно сек!

— Нас иногда полезно сечь, чтобы дурь в башку не лезла.

Баррикады?! Кровь?! А потом топор палача?! Об этом говорят глаза крестьянских парней в родной Фатали Нухе.

— Знаете, господа, новые подметные письма! Оттуда!

Не успели отрезать веревку, на которой всех держали, как вдовствующая императрица дала Европе зрелище истинно азиатского бросания денег, истинно варварской роскоши; она больна — как не заболеть, когда амнистия? Ее пугают призраки, восставшие из рвов Петропавловской крепости, из-под снегов Сибири.

«В Риме августейшая больная порхает как бабочка»; «в Ницце — пикники».

Какую надобно иметь приятную пустоту душевную и атлетические силы телесные, какую свежесть впечатлений, чтобы так метаться — то захождение солнца, то восхожде-

ние ракет; чтоб находить удовольствие во всех этих приемах, представлениях, парадах, церемонных обедах и обедах запросто на сорок человек, в этом неприличном количестве свиты, в этих табунах — лошадей, фрейлин, экипажей, камердинеров, лакеев, генералов.

Надежды? Новый государь?.. Может, без огнедышащих катаклизмов? Как англичане, с обычным флегматическим покоем, тихо и у себя, и в колониях, где, так сказать, туземцы? Или мы настолько забиты и загнаны, так привыкли краснеть перед другими народами и считать неисправимыми наше крепостное право, тайную полицию и дикости, взятки и розги, что потеряли доверие к себе,— мол, труд этот не по плечам, авось будущие поколения!

О, Фатали! Цены бы тебе не было, если б к твоим восточным да эти европейские языки...

Официальные приемы, пышные балы, торжественные богослужения, парадные обеды и спектакли, народные гулянья по всей империи. Заставить забыть и проигранную войну, и звон кандалов, эти кости, скелеты, черепа. Отечество им что дойная корова.

Ах, отменен дикий налог на заграничные паспорта!

Прогнан ненавистный всем Клейнмихель!

Возвращены из ссылки те, кому судьба отпустила почти библейское долголетие!

Снят запрет показываться у священных ворот Зимнего дворца и у дверей дома московского главнокомандующего!

Неужто государь ничего не видит и не слышит? Но от кого узнаешь? От поэтов Третьего отделения? От чиновников? Они знают службу, но не знают России. Петербуржцы расскажут? Они заняты поисками связей с должностными лицами, жаждут Владимира, чтоб надеть его, и не ведают, что он висит у них или как ошейник с замочком у собаки, или как веревка оборвавшегося с виселицы. Или москвичи расскажут, занятые только тем, что каждый день доказывают друг другу какую-нибудь полезную мысль — к при-

меру, Запад гниет, а Россия цветет? Быть может, за хребтом Кавказа тифлисец расскажет? Фаталист? Какой такой фаталист? Ах, Фатали!.. Это что же, такое имя?!

Не ходить же государю переодетым по улицам Петербурга или Москвы? А если б и стал, что толку? Кто же у нас говорит о чем-нибудь на улицах? Ведь в корпусе жандармов есть много господ, которых не отличишь по пальто, всеслышащие уши и всевидящие глаза. Не из зарубежных же колоколов узнавать ему правду.

Может, все же в Тифлис?

Царю, конечно, следовало бы войти в город через Гянджинские ворота, главные из шести ворот Тифлиса,— торговые, обогнув верблюжий караван, трескучие арбы, набитые до краев мохнатыми коврами,— как бы не сбили его с ног тюком-горбом на спине или буйволиным бурдюком с вином и — выйти на торговую площадь — Майдан; как будто сыт, но как удержаться на Майдане при виде жаровни с шашлыком на алеющих угольях?

Нет, не станет царь подражать какому-то презренному шаху (да и язык надо знать хоть какой восточный, чтоб уразуметь, о чем думают верноподданные).

Ловят простачков, будто не знают о секретном циркуляре ко всем начальникам губерний строго наблюдать за издаваемыми за границею на русском языке разными сочинениями и своевременно останавливать сей незаконный промысел,— некоторые-де появляются в России и находятся в обращении между частными лицами; усилить меры; в случае чего немедленно конфисковать.

А кому нужна гласность при абсолютной власти? Ловушка, куда попадают простачки!

Ах, свободы печати захотелось? Как в Англии, да?! Или Голландии? Как же, помогла свобода печати Голландии уплатить ее государственные долги! А бельгийская революция? Раскололась Голландия, как та гора, что в Гяндже,— полстраны не стало. Этой свободы вы хотите? Нам

Англия не пример, там еще полтыщи лет назад парламент был! Швейцария?! Да, счастливый край, ничего не скажешь: сколько ругани из-за этой свободы печати наслушались в Европе! А все потому, что несовершенен человек — сырое молоко пил и оттого звериные инстинкты! А что Пруссия?! Мы с нею духом родственны! И у них, и у нас всеподданнейшая и благоговейнейшая. «Как это перевести?» — спросил Кайтмазов у Фатали.

Кайтмазов глядел на чернильные пятна своих помарок, и ему казалось, что это солнечные пятна, не беда, мол, светило б только! И перечеркивания цензорские ему представлялись математическими построениями, вроде корня квадратного или разделительной линии между числителем и знаменателем, аж перо поет соловьиной трелью.

Кто это там?! И что он смеет говорить? Не острый нож разума, а тупые ножницы произвола? Я выкалываю цензорскими перьями глазки? Стригу свободные мысли, как волосы арестанту?! А вот за эти речи я говоруна за бороду!.. Уж лучше всю голову, чтоб по волосам не плакать, такая пышная шевелюра, как у мавра!

«Истина»! А кому она нужна? И что вы в ней смыслите? Истинно то, что приказывает царь. Скромности бы вам побольше, господа писаки!

Неужто и это — сжечь?

У нас с давних пор каждое выражение неудовольствия, всякий громкий разговор называют восстанием, бунтом. Не сметь писать этого слова — «прогресс»!

И чего это Кайтмазов раскричался?! Ведь надобно, чтобы не только Фатали услышал, а и Ладожский! и Никитич! и кое-кто подалее!.. нет, не зря Кайтмазов ездил в Санкт-Петербург! Еще поедет, не скоро, но поедет — ознакомиться с новейшими цензурными инструкциями...

И говорит, и говорит, не остановится никак,— насчет всяких книг и как их под нож! Сочинитель под прикрытием прозрачного и легко доступного пониманию вымысла

осмелился изобразить государственных преступников! Пропаганда коммунистических и материалистических теорий!

А что сочинитель?

Наказан за преступный умысел! Арест в военной гауптвахте! Но вполне достаточно, чтоб выйти оттуда, мягко говоря, не вполне нормальным...

О, наши камеры, наш суд!.. Александр рассказывал об отравлении заключенных наркотиками, белладонной... Расширение зрачка, прилив крови к голове, галлюцинации, бешенство, бредовые фантазии, раздражение слуха и осязания, точно кожа снята, и малейший стук кажется пушечным выстрелом!

А что с арестованными книгами?

Сожгли на императорском стеклянном заводе!

А может, при Басманном частном доме? или картонной фабрике Крылова? посредством обращения в массу? или разорваны и разрезаны на мелкие части и направлены на бумажную фабрику в размол?

Кайтмазов удивлен, откуда Фатали знает такие подробности? Будто не он, а Фатали в Санкт-Петербург ездил.

А в голове эти тайные идеи, которые внушал ему Никитич: «Допустить сдержанную в границах дозволенного благоразумия оппозицию», был бы за границей наш «вольный» журнал, язык бы у колокола вырвали! Да-с, оппозицию, необходимую в двояком отношении: во-первых, само правительство нуждается в откровениях и с благоразумною целью сообщаемых указаниях, а во-вторых, и потому, что с виду беспристрастная оценка действий правительственных возвысит кредит журнала во мнении общественном и придаст вес его суждениям в тех случаях, когда ему, то есть нам, придется опровергать ложные мысли врагов нашего порядка.

Да, жаль, не осмелились!.. А, может, оно и лучше — спешит Кайтмазов вернуться на санкционированную свыше стезю,— тактика замалчивания.

Вроде никто не угрожает. А учебная наследника похожа на кордегардию. Прислали очередную партию кадетов к наследнику — играть в войну в залах Зимнего дворца: войну в черкесов и наших; ружья, сабли, биваки, и камер-лакей зажигает спиртовую лампу на полу, вроде бы костер в горах,— и рассказы, чтобы представить себе поле битвы, кровь по колено, стон раненых, «стоните, кадеты!», груды трупов и дикий крик победителей; кадеты хвалят начальников и содержание; говорят, что у них всегда чистое белье, но одна лишь печаль — о незабвенном отце отечества, величайшем монархе века, на которого Европа и Азия смотрят с благоговением. А что у Шамиля? Там свои игры: черкесы с русскими — с утеса в реку, коли и режь.

В семь рапорт, в восемь прием, в девять парад, в десять ученье со стрельбой. Будущий наследник, что прусский каптенармус, играет в деревянных солдатиков и вешает по военному суду крыс, сделанных из картонной бумаги.

А государь тем временем изволил прибыть в собор (не разобрать какой; бумага, идущая из туманного Лондона, отсырела то ли под Стамбулом, то ли под Туапсе. Лодка, что ли, дала течь?). Собор едва мог вместить собравшихся для вожделенного лицезрения благочестивейшего шествия царя земного в дом царя небесного.

Сон и его разгадка

— Александр, полетим, а?

— Как полетим?

— Пройдем через мост, потом по сухой выжженной траве, которая колется, мимо серых камней и жестких диких кустов, выйдем к развалинам древней крепости Нарикала и далее — к горе Давида, а там — вот, смотри: вста-

нешь на пригорок, оттолкнешься слегка ногами, сильно руками взмахнешь и — взлетишь. Где-то в глубинах души понимаешь, живет эта мысль в тебе, что уже не раз летал.

— Ты так рассказываешь, будто вчера еще был птицей!

— С чего же тогда это уменье? Эта легкость, с которой взлетаешь?.. Полетим, Александр! Кура не такая уж грозная... Снега-то как много!.. Давай чуть пониже, дышать трудно... Вот они, мятежные аулы. Мы можем нагрянуть сверху на крепость Шамиля, но как отыскать тот аул, где он?

— Значит, конец войне?

— Уже объявлен преемник — сын Шамиля, а сам он на три дня заперся в мечети, скрылся с глаз людских, не ест, не пьет, размышляет: как быть, как наказать предателей, предложивших сдаться?

— Что за толпа на площади? Хоронят кого?

— Не отвлекайся, нам еще лететь и лететь!

Часовой перед Зимним дворцом, увидев летящих людей, пал замертво — вот первая жертва, а ведь не хотели! Ударились о крышу, рухнули прямо в покои государя.

— Вставай, государь!

— А, Александр!.. А это кто с тобой?

— А это мой переводчик, переводить, что я скажу тебе.

— Что вы мне бумагу суете, не разберу ничего: буквы русские, а слова тарабарские какие-то.

— Фатали, переводи!

— «Отречение от престола?» Вы шутите!

— Фатали, а ну-ка всади ему клинок!

— Ладно — подпишу!.. Только дайте время подумать!

Военный министр ломится в дверь — плохи крымские дела! Шеф жандармов ломится: у него сигналы!

— Иль убьем и погибнем сами, или вели им — вон! Ты объявишь всем: я перед отечеством и престолом виноват!

Погубил тысячи жизней, провалил крымскую кампанию, не сумел сговориться с Кавказом и поверг край в кровопролитную жестокую бойню. Лучших людей, говоривших правду, я сослал, выгнал из отчизны, объявил сумасшедшими... Страна погрязла в лихоимстве, казнокрадстве. Всюду разорение и голод! Я добровольно покидаю трон, распускаю продажных министров, марионеток Государственного совета, сената, синода, эти комитеты, которым нет числа, всю жандармерию и полицию! И Воронцова тоже гоню прочь со всем его семейством, всей этой свитой!

— Но наступит хаос! Страна рухнет!

— Ты будешь новым царем? — вдруг испугался Фатали.

— Нет, новый верховный глава не по моим силам. Мы пригласим другого Александра, лондонца! Я офицер, буду по делам военным, друг того Александра — по всем делам экономики, а ты, Фатали,— по делам Востока!

— И все так просто и быстро?! А как Шамиль?

— Мир с Шамилем. Мир в Крыму. Ни к кому никаких претензий.

И вот тут-то все и началось. Всполошились карабахский, ширванский, шекинский и прочие ханы. Неужто?! Ай да смельчаки!.. Мол, хотим, как Шамиль! И грузинский царский род — мы еще живы!

Объявился лжецарь. И два царя — очная ставка:

«Ты — это я и тебя нет!»

«Как же так — вот мой костлявый кадык, мои бицепсы на ногах, я тренируюсь, а вот мое некогда плотное тело, я подтянут, и оловянные мои глаза столь же холодны, как и страстны!..»

Толпа ворвалась в Зимний дворец:

«Хотим старого царя-батюшку!.. Триумвират?! К дьяволу эту фатальность! Со скуки помрешь в этом новом раю! Поди, под туземцами ходить будем, прут отовсюду, караул! Турка всякая расплодилась, а с запада француз,

усы пушистые, как хвост куницы, за уши, чтоб держались, загибает, били и бить будем! пусть только сунутся!.. И воли никакой не надо — хотим царя-батюшку!»

«Видели? знамение небесное: два ангела над нами пролетели!»

«Нет, не видели!»

Шапки в снег упали, ветер в бороде застрял.

«А один-то ангел в нашей военной форме!..»

И вот покои пусты: ни Александра, ни Фатали. И торжественно въехал во дворец государь император.

А Шамиль тем временем уже вышел из мечети, где три дня и три ночи размышлял: как наказать предателей. «Сдаться?! Мать имама подкупить вздумали?!» Вышел и созвал народ: «Поступок предателей заслуживает казни! Но поскольку они действовали через мою мать, я предлагаю те удары кнута, которых заслуживают предатели, перенести на меня!..»

И когда высоко-высоко летели над аулами, видели, как на площади-пятачке перед мечетью лежал на земле Шамиль и на его обнаженную спину сыпались удары: так приказал под угрозой смертной казни Шамиль, и его воин повиновался. Когда полилась кровь, народ с проклятиями отстранил воина, готовый его растерзать, но Шамиль осадил толпу и, еле волоча ноги, двинулся в мечеть.

И с новой силой разгорелась горская война. По широкой просеке шагали роты. Дымились сакли. Шах отошел к своим границам. Убрались восвояси из Сибири чудные племена. На время затихла Польша, чтоб разразиться новыми волнениями. И Крымская с новой силой разгорелась.

Вот тут-то и пригодились Фатали уроки Ахунд-Алескера по разгадке снов.

Если кто увидит, что над городом пролетели ангелы, непременно в том месте очень скоро умрет большой чело-

век — или своей смертью, или умертвят его насильственным и жестоким образом. (В ту ночь царь спал тревожно, часто думал о Александре, старшем сыне, «каково ему будет?!» Скоро — пора февральских метелей, завьюжит, прогудит в трубе, выдует из тела душу.)

Если кто увидит, что летит с ангелом, то получит в мире почести и славу, а под конец уделом его будет мученическая смерть, и долго-долго будет ждать тело, пока земля его примет.

Если простой смертный себя самого царем увидит, близка его смерть! Фатали видел царем Александра, но тот ведь отказался; если же кто увидит себя вместе с царем, то дух его порабощенный получит свободу.

— Тубу, меня осенило!

Эти премудрости арабской вязи! Как пелена на глазах, не дающая разглядеть смысл, суть, глубины, иные подтексты!.. Что пьесы? Их посмотрят десятки и сотни людей! Надо словом, книгой, чтоб усвоили миллионы!.. Идея нового алфавита! Нового письма! Надо немедленно разработать для всего Востока: для нас, для турков, для персов, для татар, для всех, кому слепит глаза эта вязь, как сеть для рыб!

Бусинка от сглаза

Тубу встала давно, она почти не спит с тех пор, как родился сын, Рашид.

«Хорошее имя Рашид!» — вспомнил Фатали, давая имя сыну, Лермонтова, когда тот, записывая легенду об Ашик-Керибе, попросил Фатали еще раз поговорку повторить: «Как тебя зовут? «Адын недир»? Рашит, «бирини де», одно говори, другое услышь, «бирини ешит!» Звонкая рифма: Рашит-ешит, шуршащая, как речная галька, записать непременно!

Давно, очень давно это было, двадцать лет назад. Был холост... А потом длинные-длинные дни, сплошной траур по детям, которые рождаются и умирают.

«Если б у меня родился сын...» — голос Одоевского (вот тогда-то у Фатали и мелькнуло: сына назову Рашидом, но назвал только теперь, третьего сына,— первому, как полагается, дал имя отца, второму — имя названного отца, он же — отец Тубу, оба умерли...). Умолк Одоевский, а потом тихо спел какую-то песню, и Фатали удивило странное имя, произнесенное Одоевским: «Сын, мой Атий!..» И Лермонтов прислушался: «Атий?..»

Родился Рашид, пришел в гости Александр, сослуживец, и Фатали рассказал ему: и о легенде, и о Лермонтове, и об Одоевском. Неужто это было? «Ты что-то путаешь, Фатали! Нет такого имени «Атий»! — «Но я сам слышал!» А потом, когда стали проникать издалека тонкие-тонкие листки, эти голоса, и открылось: шифр! Кондратий! И смысл сказанных Одоевским слов: «Нет, не может оборваться цепь! Иные звенья заменят выпавшие из цепи звенья... Но жаль, что нет у меня сына! Оковы, оковы! Сойдет к тебе другой хранитель, твой соименный в небесах. Ах, как жаль! И вспомнит сын земной его конец, и грудь его невольно содрогнется! И он дарует цель его земному бытию! Нет, не оборвется цепь! Только жаль, что нету сына!..»

Тубу хотела воспротивиться: «Ну что за имя Рашид!.. Будут дразнить его: «Адын недир — Рашид!..»

«А вот и хорошо: пусть дразнят!» («Лишь бы жил»,— услышала будто Тубу и согласилась.)

Растет у них и дочь, четыре года уже ей, тьфу-тьфу!.. На шее и на руке дочери повесила бусинку от сглаза, хотела и Рашиду на руку, но Фатали не позволил, грудной еще, и она под подушку ему бусинку, в колыбель,— круглая черная бусинка с белыми точечками: если глаз дурной взглянет на ребенка, еще одна точечка белая появится

на бусинке, и, чем больше их, тем лучше. И растут, как звезды в небе, эти белые светлые точечки.

А за эти двенадцать лет, что они вместе,— уже пять могил!..

— Фатали, ты столько работаешь!.. Отдохни!..— Уже не говорит: «А мы все равно бедны!..», хотя это так. Не помогает и надбавка к зарплате, еще наместник Воронцов распорядился: за длительный стаж службы и многосемейность; а каждый раз в начале года надо напоминать начальству: «с разрешения бывшего наместника...», чтоб не забыли.

Но Фатали слышит в ее призыве «Отдохни!» и слова: «Ты много работаешь, Фатали, но что толку? Мы все равно бедны!..»

Как-то Тубу пошутила: «Жаль, что я не грузинка! За меня бы ты получил хорошее приданое...» И перечислила, что привезла невеста в дом жениха, известного купца Балашвили, он живет рядом, и Тубу пригласили помочь сварить плов — на свадьбе будут и знатные купцы — мусульмане из Борчалы.

— Нет, ты только послушай, что жених получил в приданое: золотая чаша, серебряная пиала, шуба бархатная, пять ниток ожерелья, булавка золотая с жемчугом, золотые серьги с жемчугами, три золотых кольца — изумрудное, рубиновое и жемчужное.

— Как ты запомнила это, Тубу? — изумлен Фатали, а она продолжает:

— А какие тазы для варенья!.. Серебряный поднос весом в десять фунтов, даже полдюжины кутаисских веников, и выбивалка для пыли в придачу к коврам, и, будешь хохотать! пять банок козьего сала, и хна и басма, перемешанная с сушеной гранатовой кожурой, помогает от головной боли, и сушеная дикая груша — от болезней желудка излечивает, а какие платья!..— Тубу вздохнула, устав перечислять, а Фатали:

— Ай да молодец, Тубу,— хвалит,— я и не знал, что у тебя такой дар наблюдательности!.. Может, и ты сочинять станешь?

Тубу вдруг стало не по себе и, боясь, что Фатали подумает, будто она жалуется, тут же добавила:

— Я решила тебя развеселить, Фатали! Знаешь, я чувствовала себя, как объяснить?.. и вдруг эта твоя книга: «Комедии Мирзы Фет-Али Ахундова»! И внизу: «Тифлис. Напечатана в типографии канцелярии наместника кавказского...» Я горда, что у меня — ты! Жаль только не на нашем языке! И брат мой, ты бы видел, как он радуется! Всех, говорит, узнаю, и родственников, и твоих сослуживцев, чуть ли не самого наместника... И о революции тоже, правда? Но как сумел?!

— А ты прочти, увидишь!

— Но я по-русски не могу.

— Учи!..

Заплакал сын, и она ушла, но вскоре вернулась.

— У тебя очень душно.

— Тубу, а кто положил эту книгу мне на стол?

— Ты сам, наверно. А что за книга?

— Древняя история. Но я точно помню, купил и спрятал ее в шкаф, чтоб никто не брал.

— Ты знаешь, сюда никто не заходит,— недоумевает Тубу.

— Может, колдун какой? — улыбнулся Фатали, а жена привычна к шуткам мужа.

— Как же? — говорит она,— твой колдун из пьесы как член нашей семьи.— А потом: — Сегодня жаркий день, пойду окно открою.

И вдруг порыв ветра с такой силой ворвался в комнату, что книга раскрылась, и зашелестели ее ветхие страницы.

— Закрой, тут все сдует! — крикнул Фатали и всей ладонью прикрыл книгу, а меж пальцев — строки, зацепил-

ся взгляд за фразу, читает, уже прочел, и вспыхнуло, загорелось: «Вот оно! вот о чем!»

Нет, не вдруг, не озаренье, не случайный порыв ветра, боль копилась и ждала выхода. Написать о своем времени, заклеймить деспотическую власть царя, который не в силах править государством, оно разваливается, трещит по швам. Он ее искал, эту книгу о жестоком из деспотов — Шах-Аббасе, и так обрадовался, когда купил...

Уже новый царь, сгинул тиран, но изменится ли что? Как часто Фатали и Александр мечтали, надеясь на чудо: вот она, власть, берите и правьте! Шах добровольно уступил трон простолюдину. Фатали использует исторический сюжет, чтоб сказать правду о своем времени. Он напишет о шахе-деспоте, в котором царь-тиран увидит себя.

Давно не подходил к конторке — белые листы в папке, открыл ее... и перо, его бессменный товарищ. Неужто впереди зажегся факел надежды, и фрегат фортуны, миновав рифы фарисейства и фальши,— о, эти нескончаемые эФ, которыми усеяно необъятное поле!..

Весна пятьдесят шестого, жаркое тифлисское солнце пьянит, в ушах шум — кричат дети, щебечут птицы, журчат, слепя глаза, воды Куры.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Ай да молодец этот Искандер-бек Мунши, еще один Александр, но таких еще не было — древний шахский писарь, создавший «Историю украшателя мира Шах-Аббаса»!.. Добрались-таки и до тирана!

Звезды предсказывают гибель

«Надо начинать с Шах-Аббаса,— решил Фатали.— С того времени, как он уверовал в свое бессмертие, а звезды предсказали ему смерть».

Неужто ему — умереть? Он, чье имя у всех на устах,— бессилен?

Здесь, на этой земле, блистали могущественные государства: Ассирия, Вавилония, Финикия, Мидия. Сразу после коронации Шах-Аббас посетил гробницу Кира с ее великолепной пирамидой.

Сколько народов было покорено! И страны платили серебром и золотом, Египет обеспечивал хлебом, Киликия и Мидия доставляли лошадей, мулов, рогатый скот, Армения — жеребят, Эфиопия — черное дерево и слоновую кость. Вот они, следы былого величия,— развалины Пер-

сеполя; остатки стен из полированного камня, мраморные колонны, одиноко устремленные к небу или поваленные, как поверженные воины. Изваяния сказочных животных.

Шах-Аббас притронулся к чудищу, похожему на льва,— камень был теплым. Вот и широкая мраморная лестница, ведущая в подземные залы.

Пали династии, пали государства, пронесся через их земли Александр Македонский, а потом арабы, новое закабаление. Но персы отомстили им, заняв в споре суннитов и шиитов сторону шиитов, и Шах-Аббас сумел сплотить свой народ и другие порабощенные народы единой идеей — шиизм!.. Он поощряет сограждан на воздание почестей убиенным вождям шиизма в месяц плача Мохаррам, когда запрещены всяческие торжества, люди не ходят в бани, ибо баня — это праздник тела, не бреют головы и, соединившись вокруг зеленого знамени, устраивают шествия с факелами, бьют себя цепями по спине и поют.

Строго соблюдается по стране и обряд поста: нельзя, пока не станет различаться на заре белая нитка и черная нитка, есть, курить, вдыхать благовония, купаться, даже глотать слюну! Но зато ночью запретов нет, базары и улицы кишат людьми, вдыхай кальян, вкушай кебаб, услаждай слух музыкой, хохочи над фокусниками. Но чу: пушечный выстрел! Скоро рассвет!.. И снова нетерпеливое ожидание заката.

Торговля расцвела: разводят табак, привезенный португальцами из Индии и поставляемый в Турцию, Египет, Аравию и Закавказье, производят мак, из которого изготовляется опиум, и вывозят в Китай, где он очень ценится и даже кое-где вытеснил рис и пшеницу. В конце мая, когда маковые головки подросли достаточно, их надрезают и вытекающую жидкость собирают в сосуды; она высыхает и превращается в густую массу, из которой наре-

заются плитки различной величины,— опиум. Развито шелководство, и шелк утекает в Россию; четко поставлена служба связи: почтовые гонцы по державе — верблюды двугорбый и одногорбый; верблюд — это и тяжелая служба, и шерсть, и молоко; ценятся в мире персидские шали из пуха кашмирской козы; со дна Персидского залива достается жемчуг — храбрецы смазывают уши жиром, чтоб не попала вода, вставляют в нос роговую трубку и ныряют в воду, чтобы добыть раковину.

Что же будут говорить потомки о нем? Только семь лет! И ему — умереть? Теперь, когда он окреп, расправившись с врагами и неугодными, прежде всего с теми, кто помог ему вырвать трон у собственного отца. Теперь, когда близка победа над заклятыми врагами — турками-суннитами. В день страшного суда они станут ослами для иудеев и повезут их в ад. Теперь, когда в поисках союзников он направил в Москву посольство с предложением царю Федору Иоанновичу, австрийскому императору Рудольфу, королям испанскому и французскому сплотиться в борьбе с турками!

Переговоры с послом Шах-Аббаса Ази-Хосровым вел везир Годунов, шурин царя. Он недоверчиво выслушал Ази-Хосрова и сказал, что, по его сведениям, персы ведут двойную игру: шах заключил договор с турками. Посол ответил, что султан — исконный и давний враг шаха. Предложение Ази-Хосрова, упомянувшего австрийского императора Рудольфа, Годунов воспринял как осведомленность Ази-Хосрова о тех переговорах, которые велись со времен Ивана Грозного, когда затевался общий поход христианских государств против Турции.

Шах понял, что Годунов хотя и везир, но первый в царстве человек, и потому, как сказал Ази-Хосров, «положил надежду на шурина царского Годунова».

В Москве был и посол от императора Рудольфа —734Варкоч.

«Если три великих государя будут в союзе и станут заодно на турского, то турского житья с час не будет». Что с того, что шах заключил мир с султаном и отдал в заложники шестилетнего племянника? «Ведь племянника своего мне не добить же было?» — сказал шах для передачи Годунову, а Ази-Хосров при этом вспомнил, как недавно шах, испытывая военачальника, заставил его принести ему голову своего сына, и тот принес, и шах сказал ему: «Ты теперь несчастлив, но ты честолюбив и забудешь свое горе — твое сердце теперь похоже на мое». Ази-Хосров об этом умолчал, но добавил: «Один племянник шаха у турского, а два посажены по городам, и глаза у них повынуты: государи наши у себя братьев и племянников не любят». И в глазах Годунова Ази-Хосров, как показалось ему, прочел понимание.

— Стоп-стоп-стоп! Не пойдет! — цензор Кайтмазов снял очки.— «Прочел понимание»? — И выразительно, одна бровь за другую зашла, взглянул на Фатали.— И это: «Ази-Хосров, узнав, что толмач — крещеный татарин, брезгливо поморщился». Это поощряется, как вы не понимаете?! Разве не знаете, что уважаемый в столице христианин из бакинских беков?!

Ладожский в минуту доброго настроения: «Знаете, Фатали, о чем я мечтаю? Вы же истинный христианин. Вот если бы вы приняли христианство... Могу ходатаем выступить. Вы — человек Востока и Запада, в вас соединились две стихии...» Фатали молчал, и никакой злости и гнева не было в нем. И вдруг — о Мирзе Казембеке, мол, стал христианином.

— Нет, нет,— забеспокоился нежданно Ладожский,— я вовсе не против магометанства!.. Владимиру предстоял выбор: какую из трех соседних религий — магометанство, иудейство или христианство? Нравился ему чувственный

рай магометан, но он никак не соглашался допустить обрезание, отказаться от свиного мяса, а главное, от вина. «Руси есть веселье пить,— говорил он,— не может быть без того!» Отверг он и иудейство. Когда Владимир спросил: «Где ваша земля?» — Ну, нельзя же, в самом деле, перебивать, ведь видите, что занят! — закричал он (впервые видел его Фатали рассерженным) на Кайтмазова,— так вот, иудеи сказали, что бог в гневе расточил их по чужим странам, а Владимир отвечал: «Как вы учите других, будучи сами расточены?»

— Да, читал,— удивил Фатали Ладожского.— Но вы забыли сказать и о гневе божьем.

Кайтмазов потом объяснил Фатали, отчего забеспокоился Ладожский, когда Фатали Мирзу Казембека вспомнил: ведь тот стал католиком, преуспели шотландские миссионеры!.. Переполох был в царском стане, боялись, как бы не переметнулся к извечным врагам! Тут же секретный циркуляр: «Необходимо иметь за ним некоторый надзор,— это Ермолов предупреждал министра графа Нессельроде,— и не допускать его до связей с англичанами, в особенности же должно отделить от него всякую возможность отправиться в Англию...»

Но Кайтмазов, оказывается, не высказал до конца свои цензорские замечания, пока Фатали предавался воспоминаниям,— насчет объединенного истребления турков!.. А этого у Фатали и в мыслях не было! — Да-с, помню, поэму запретили, цензурный комитет нашел, что едва ли может быть дозволено к выпуску в свет сочинение, в котором все народы призываются к уничтожению существования Турецкой империи, вопреки требованию политики, чтобы было сохранено равновесие народов... Ты этого добиваешься, Фатали? Хотя поэма и не заключала в себе ничего собственно противного цензурным правилам.

— Но здесь все правда.

— И на это у меня запасено, Фатали. Помню, о кавказских событиях повесть мне показывали, о сновидениях черкеса. Запретили. Военный министр прочел книгу и ужаснулся. Он указал на нее шефу корпуса жандармов, сказав при этом, я сам слышал: «Книга эта тем вреднее, что в ней, что строчка, то правда». А ведь вначале допустили. Думали извлечь из продажи, а государь, очень у нас мудрым он был, покойный, распорядился: не отбирать, а откупить партикулярным образом, дабы не возбудить любопытства, и — в архив-с.

— А я у Никитича видел эту книгу.

— Ну да, выпросил из архива Третьего отделения, знают ведь, что коллекция у него...— А сам же Кайтмазов и привез Никитичу.

Знает об этом Фатали, но как скажешь?

— Но ведь была амнистия, доколе?

— Кстати, и я спросил о том же, лично у самого министра.

— Неужто у самого Тимашева?

— А что? Он, между прочим, большой поклонник Радищева. Чего ты улыбаешься?

— Еще один Александр!

Кайтмазов сразу не понял и решил, что тот о царе... Похолодело внутри! Но нет, Фатали не посмел бы — и чтоб мускул на лице не дрогнул... А о ком — никак Кайтмазов с мыслями не соберется, смутил его Фатали.

— Ну и как? — вывел его Фатали из оцепенения.— Привез хоть одну?

Никак не сообразит Кайтмазов.

— С дарственной надписью Тимашева?

— Фу,— отлегло,— «Привез!» Ты очень уж спешишь!.. И пойми: начало самодержавной власти, монархические учреждения, окружающие престол, авторитет и право власти, начало военной дисциплины составляют и доныне основные черты нашего государственного строя.— И смот-

рит на Фатали: мол, радуйся, что у тебя, хоть и чуть моложе, такой опытный наставник,— а вдруг бы на моем месте другой?!

Но Фатали спешит к Шах-Аббасу, не зная, как ему помочь. Неужто шаху умереть?

А как удачно прошла ночь у любимой...

Фатали задумался в поисках имени: как же назвать самую любимую жену Шах-Аббаса?.. У Фатали был листок с женскими именами; правда, многие уже покинули сей листок и поселились в пьесах; листок не нашелся, и Фатали взял в руки книгу, она всегда перед глазами, и все воскресенье ушло на поиски имени и не мог оторваться от чтения своих сочинений: неплохо, черт побери, получалось у него!

Неужто их никогда не издадут на родном? Он хлопочет уже несколько лет, еще с тех пор, как решился вопрос об издании на русском,— «Комедии Мирзы Фет-Али Ахундова», книгой восторгалась Тубу и не могла точно выговорить: «в типографи канселяри наместик кавкаски», и це́ловала Фатали. «Не «наместик», а «наместник»,— поправлял Фатали. А «цэ» и вовсе не получалось — нет в тюркских этого звука и язык не приспособлен! Издадут ли когда на родном?..

В первой пьесе ни одной женщины, во второй Колдуну, решившему разрушить Париж, надо было угодить ханум и ее дочери, и Фатали взял имя двоюродной сестры Ахунд-Алескера и ее дочери; были еще имена, но тут не успел вспомнить Колдуна, а вот уже он сам, обложки ему показывает (или это видения?.. Но вот же — обложки!.. «на татарском языке»). «Капитана?»

— Ты прежде удивляйся не этому!.. В свое время произведут и в капитаны!

— Комедии и повесть?.. И повесть издадут?! (А год

Колдун скрыл, и вот уже другая обложка) — Постой!..— ему хотелось получше разглядеть изображение тонкого месяца на звездном небе, но взгляд поймал лишь разночтение фамилий: на русском — «Ахундов», а на своем — «Ахунд-заде», а тут — новая обложка:

— Лондон? Везир Ленкоранский?

— Я тебе переведу обложку: издана как «книга для чтения для европейских путешественников, резидентов (!) в Персии и студентов в Индии», дабы глубже постигли нравы восточного мира — «с грамматическим введением, примечаниями и словарем, дающим произношение всех слов»!..

Колдун скрыл год и здесь: ведь выйдет через четыре года после того, как Фатали не станет. Что Фатали?.. Какие люди были — и те ушли! Даже Шах-Аббас!..

«Неужто,— думал шах в те далекие годы, еще живой, полный сил и энергии,— и ему умереть? Звезды!.. Их никто еще не сумел обмануть!» И каким удачным был у Шах-Аббаса вчерашний день, когда о предсказании звезд ничего еще не было известно,— пришли личные поздравления от английской королевы Елизаветы... Она, сколько себя помнит Шах-Аббас, четырех персидских шахов пережила и все еще королевствует... Неужто и его, пятого, переживет эта вечная королева?

А потом поздравления от испанского и португальского короля — съела-таки Испания португальского гиганта,— вот оно, колесо фортуны! Может, времена такие наступили: во главе каждого государства, думал Шах-Аббас, слушая поздравления, сильный монарх? Елизавета, Филипп и он! Но, кажется, в далеком-далеком прошлом были эти думы, эта уверенность, это ликование, а не вчера! На рассвете его ждали омрачающие дух предсказания звездочета. А какая прекрасная была ночь у любимой...

И вдруг осенило: есть имя! Фатали вспомнил женщину, очень она была хороша собой, чуть не накликала ему вторую жену! И как она горячо и быстро говорила, огонь, а не женщина, и не поверишь, что девушка рядом — ее дочь,— тогда о сюжетах не думалось, он только что женился, спас шекинского ювелира от неминуемой гибели, а тут не успел осмыслить случившееся, как пригласили в военную комендатуру, где допрашивали беглую горянку.

И потоки слов!.. И как красива!

— Да, я Сальми-хатун, сумела сбежать! Дом мой возле русской бани был, я его отдала, когда ваши войска были, под лазарет для раненых, а Хаджи-Мурат, заняв Аварию, приказал сломать мой дом, а меня посадил в яму за то, что уступила саклю под больных. Моя дочь красивая, Хаджи-Мурат отдал ее своему мюриду, а он молодой здоровенный изверг, был бы хоть обряд какой, она ведь жена офицера русской службы, он же ее убьет, когда вернется из похода, ведь есть у мусульман, хоть обряд временный. Дочь не соглашалась и была наказана плетьми, а потом мюрид взял ее на руки и унес, и она уже возвращаться не хочет, это Хаджи-Мурат такую месть придумал, чтоб мой род за родство с царским офицером обесчестить. А тут Кибит-Магома приезжает, все вышли его встречать, а я ушла с младшей дочерью, переночевали, утром перешли вброд Койсу, к вечеру были в Гергебиле, где и провели другую ночь после побега, а третье утро проходили ущельем и вышли на подъем, но нас задержали люди Шамиля, мюрид слушал меня и не верил, что я иду к родственникам, отправил нас в Оглы. Оглинский наиб дальним родственником оказался моего покойного мужа, вы знаете, все мы родственники, а если начать копаться, и с этим красивым мужчиной,— на Фатали показывает,— если долго говорить будем, родственниками окажемся. («Отчего вы краснеете, подпоручик?.. Ах, вас похвалили!..

Поздравляю!.. А дочка хороша, но сама еще лучше, глаз с вас не сводит!..»)

«Вы думаете, я не понимаю?» — вдруг женщина говорит.

«Так какого черта вы нам голову морочите с переводчиком?»

«А мне по-своему легче, не кричи, начальник, у меня зять — царский офицер!.. Да, я с удовольствием отдала бы дочь вашему подпоручику!»

«Вы опоздали, он женился уже».

«А он мусульманин, может иметь и двух, и трех!..»

Что же вы, Сальми-хатун, эти слова произнесли? Фатали ведь Фатальный — ему и это на долю выпасть может! И пойдут потом слухи: мол, у Фатали в Стамбуле — жена...

«Наиб дал мне свободный проезд,— продолжала женщина,— Хаджи-Мурат упал с лошади и ушиб себе голову и ногу, чтоб он и вовсе не оправился, был с перевязанною головою и сильно хромал, а Кибит-Магома к Шамилю ехал, а Хаджи-Мурат велел — кощунство какое! — сломать все дома рядом со старой мечетью и саму мечеть, где был убит второй имам Гамзат-бек, будто затем сровнял с землей, чтоб почтить память имама, возвысить его в глазах народа, а ведь сам-то его и убил!.. Благоустроил могилу Гамзат-бека, каждый день ходил туда,— ненавижу, мол, тех, кто убил его! А ведь сам, сам! Это все знают!.. сровнял с землей, мстя за убийство Гамзат-бека, самому себе мстя, могилы аварских ханов. И свою собственную могилу, если б она была, растоптал бы!..»

Вот оно — имя для любимой жены Шах-Аббаса: Сальми-хатун! А раз имя найдено и дух нашел свою плоть, перо стремительно побежит по бумаге, ища средства от губительных предсказаний звезд.

Ах, какая была ночь у Сальми-хатун! Она, правда, капризничала: когда же привезут ей меха соболя и горностая?! Но и в капризах своих Сальми-хатун была хороша!

Да, послы от белого падишаха привозили меха. Еще при Узун-Гасане были привезены соболья шуба и три шубы лисьи, шуба горностаева. «Где же водятся такие звери, в каком государстве?» — спросил шах у послов, а те отвечали, что звери эти водятся в государевом государстве, в Конде и Печоре, в Угре и Сибирском царстве близ Оби, реки великой, от Москвы больше пяти тысяч верст, что земель у их царя много, в длину ход двенадцать месяцев, поперек девять.

«Когда же?!» — не терпелось Сальми-хатун.

А ведь впервые за семь лет правления пришли поздравления! А в первое время, когда разнеслись по миру вести о казнях Шах-Аббаса, именно они, англичане и испанцы, стали проявлять беспокойство. Надо же, и султан, и царь тоже с лицемерными укорами. Ну да, я жесток!.. Не я первый, не я последний. Или монархи забыли: монголы громоздили поле сражения пирамидами из голов убитых, а строя башни, устраивали столбы из человеческих тел и обмазывали их глиной и известью.

Истории известны полководцы, которые с младенчества питались кровью вместо молока матери. А крестоносцы, эти образцы, так сказать, рыцарского духа, занимались людоедством, лакомились мясом молодых арабов и жарили детей на вертеле, и один из ваших архиепископов (ну да, ведь Шах-Аббас мысленно говорит с европейцами, возмущенными его жестокостями!..) уверял, что не следует им ставить в вину людоедство: ведь ели они мясо еретиков!

Но создалось впечатление, что Шах-Аббас насытился казнями, тем более что основные соперники были истреблены, кое-кто, правда, сбежал, но с некоторыми он справился и за пределами империи. Шах создал даже меджлисы поэтов, музыкантов, нечто вроде «вольного клуба».

И дошло до Шах-Аббаса, что новый духовный глава шиитов Ага-Сеид странно толкует догмы корана, мол, пророк Мухаммед повелевает мусульманам, не исключая и монархов, управлять советуясь. И Ага-Сеид смеет говорить это, когда даже невысказанное сомнение, отразившееся во взгляде, жестоко подавляется. И шах нежданно пришел к идее «вольного меджлиса» — собрать людей и послушать, о чем они думают? Шаху открыться побоятся, а умному и образованному Ага-Сеиду — доверятся. Но сказано поэтом: «Говорящего воодушевляет слушатель». Еще куда ни шло, когда Ага-Сеид толковал туманные части корана насчет многоженства,— мол, Мухаммед ограничил четырьмя, но и это разрешение обставил условиями: «Если не можете делить ровно свои чувства между женами, берите только одну». А возможно ли делить? Нет! Вот и получается, что многоженство противно духу корапа.

Накануне у Шах-Аббаса был главный молла: необходимо упрочить в народе авторитет властелина, укрепить мысль о священном происхождении династии Шах-Аббаса — Сефевидов, прочертить его родословную со времен пророка Мухаммеда. Прежде главный молла пришел посоветоваться с Ага-Сеидом. «Культ Шах-Аббаса и без того велик,— заметил Ага-Сеид,— к чему еще родословная? Есть в мире ученые мужи, и они в душе будут посмеиваться над нашей родословной, рассчитанной на темную массу!» «Но создавая культ,— возразил главный молла,— мы, приближенные шаха, обезопасим и себя!..» Как-то главный молла проронил фразу о том, что, дескать, есть люди, ваше величество шахиншах, которые скептически относятся к идее родословной! Кто? Ага-Сеид! А тут еще упрямство Ага-Сеида: не назвал имя презренного раба, несомненно агента турецкого султана, спросившего в вольном меджлисе о спорах между суннитами и шиитами. В следующую минуту Ага-Сеид, может, и назвал бы имя христианина или иудея, но было поздно — Шах-Аббас и сам не по-

мнит, как вонзился в грудь Ага-Сеида тонкий, как стебель, клинок...

И чего это Шах-Аббас вспомнил о нем?! Ах да: если бы был он жив, непременно подсказал бы, как обмануть звезды!

А какой накануне был прекрасный день!..

После английского и испанского посланников был созван меджлис поэтов в честь Шах-Аббаса: читали оды. Семикратный рефрен возносил трон, и меркли семь планет пред славой шахиншаха (обыгрывали седьмой год его царствования). Семижды семь бейтов единой рифмой воспевали соломонову мудрость и мощь шаха. «Аллах мой,— прослезился шах,— как меня любят мои поэты! Удивительно устроен мир: чем больше слез и крови проливаешь, тем больше любят тебя!.. А все потому, что казнил ради блага царства!»

И с такой силой вдруг потянуло к Сальми-хатун, что шах оборвал царя поэтов. С другими женами нетерпелив, лишь голод и утоление, а с нею не любит спешить. Неведомо, чем прельстила. И никакие мировые события не оторвут от нее. А иногда кажется — готов и от трона отречься.

Нечто подобное было у шаха и в пору террора с персиянкой; испугало его чувство, когда показалось, что она власть над ним заимела, тянет к ней, и чувство это расслабляет, сладостно до слез, готов любое ее желание исполнить, но, к счастью, она молчит! А если заговорит? А однажды в разгар дня, когда везир докладывал о положении на юге страны, где по наущению афганцев был поднят мятеж, а тут же рядом, дожидаясь очереди, чтобы рассказать, как была подавлена эта неслыханная самонадеянность черни, стоял командующий, Шах-Аббас прервал везира и удалился к ней... И пробыл у нее допоздна. А в зале его дожидались!.. И он, презренный, еще смеет мечтать о великой державе?! И Шах-Аббас в гневе задушил персиян-

ку, самим дьяволом подосланную к нему, чтобы воля царя царей была мягче воска!..

А Сальми-хатун и умна! Вот и теперь, перед рассветом, он потянулся к ней, а она: «Усни, мой шах, завтра тебе решать судьбу преданного тебе народа!» И ей бы, подумал, засыпая, шах, учредить титул; но какой? Может, «Солнце царства», «Шамсуль-Салтанэ»?

И тут у дверей послышался шорох, кто-то остановился у покоев Сальми-хатун. Шах вскочил, схватившись за кинжал:

— Эй, кто там?!

В дверях со свечой в руке стоял главный евнух Мюбарек.

— Что еще? — нахмурился Шах-Аббас, встревоженный столь нежданным появлением евнуха. Поистине случилось невероятное, если евнух осмелился, не дожидаясь утра, потревожить шаха.

— Мой шах,— низко поклонился Мюбарек,— главный звездочет только что прибежал ко мне и сказал, что немедленно хочет удостоиться лицезрения его величества Царя Царей Вселенн...

— Короче! — оборвал его шах.

— ...видеть вас по весьма важному делу.

Звездочет уловил коварство звезд и за обманчивым хитросплетением планет, сулившим, казалось бы, счастье, разглядел истинный смысл — смерть венценосца! Нельзя медлить! До рокового сближения Марса и Сатурна, когда обрушится удар на венценосца, остается две недели! Очи царства, «Эйнуд-Салтанэ», этот титул дал звездочету шах за его могущество, заспешили к шаху. Но какая сила надобна, чтоб уста вытолкали слова о фатальной гибели! Может, подождать до утра? Он вернулся, еще и еще раз подсчитал и прочертил ход звезд, заглянул в новейшую астрологическую таблицу Улугбека: никакой ошибки! Раздумывать некогда — шах всемогущ, и он найдет способ!

И только тут Очи увидели, что шах — такой же смертный, как и он: шах побледнел, но звездочет не должен это видеть, голова его низко опущена, и он смотрит на свои загнутые кверху острые носки чувяков. И только сейчас дошел до звездочета ужас его положения: мало ли случаев, когда за дурные вести казнили?!

— Ты свободен, иди!..

Шах смотрел на светлеющее небо. Жить да жить бы ему на радость народу!.. Может, звездочет ошибается? Но астрология — династическая профессия звездочета! Ведет свой род чуть ли не от Абу-Али-Сина! Немедленно вызвать доверенных людей (тут-то и пожалел, что нет в живых Ага-Сеида!): везира, военачальника, казначея и главного моллу. Если не помогут — отрубить им головы и призвать новую партию ханов, на сей раз титулованных.

И вот уже скачут они во дворец.

— Что же ты посоветуешь, Опора царства? — начал шах с везира.

— Преданность ничтожнейшего раба, наш великий царь царей...— везир вовремя осекся, чтоб не сказать «вселенной»: не надо напоминать о звездах! — благородные предки шаха по безграничной доброте своей назначали везирами людей недалеких...

— Вот и докажи, на что способен!

— Мой шах,— «это конец», подумал везир,— не было случая, чтоб ничтожнейший раб твой... но как предотвратить движение звезд, убей меня, мой шах!..

— А что посоветуешь ты, Меч царства? — обратился шах к военачальнику.

— Победоносное войско твое еще сотрясает мир, дай срок, и султан...

— Поздно! Он сожрет вас, когда меня не будет!

Военачальник уставился на шаха, от натуги лопнут вены на шее, пот будто бородавки.

— Может, мой шах,— еле слышно говорит казначей,— звездочет ошибся в расчетах, я готов ему помочь!

А шах уже смотрит на главного моллу:

— Ну, Вера царства?!

— Мой шах, видано ли, чтоб, указав яд, звездочет не знал противоядия?! Если он мудр и учен, пусть найдет средство от беды, которую предсказал!

Звездочет знал, что за ним еще придут, и лихорадочно листал астрологические книги. Но нигде не указано средств! И он, дабы отвратить от себя беду, придумал длинную речь в защиту астрологии. Он напомнит шаху о недавнем наводнении, когда планеты влаги соединились в созвездии Рыб, грозившем новым потопом. И он, звездочет, предсказал наводнение! И небывалую засуху, когда Сатурн и Марс соединились в знаке Весов, а Солнце и Юпитер — в знаке Льва! И чуму! И мор! Но станет его слушать шах!.. И точно:

— Как осмелился ты грозить мне бедою,— не дав опомниться звездочету, разразился гневом шах,— и не обмолвиться ни словом о средствах борьбы?!

— Я думал, мой шах!

— Говори!

— Дай срок!..

— Палач! — И в мгновенье из-под земли вырос палач с мечом за поясом и веревкой в руках: рубить или вешать? — Уведи изменника и отруби ему голову!

«Если его казнят, не миновать казни и нам!..» И военачальник пал на колени:

— Шах, кто же выручит нас из беды, если этому презренному ишаку, достойному смерти, отрубят голову?! Пусть подскажет, а потом и казни!

Но тут вошел главный евнух и доложил о старейшем звездочете Мовлана. Неужели еще жив этот астролог?

— Старческой немощью я обречен,— Мовлана часто задышал,— проводить остаток жизни в одиночестве. Но неблагоприятное расположение звезд принудило меня поднять старческие кости и предстать пред вами, мой шах! Через пятнадцать дней планета Марс...

— Знаю! — прервал его шах.

— И о созвездии Скорпиона?

— Да!

— Хвалю, хвалю ученика!.. Но неужели вы знаете и о том, как отвратить беду?

— Это я хочу услышать от вас, Мовлана!

— Да, вряд ли кто подскажет!.. Звездочеты пошли нынче неопытные, не то что в мое время! Мой учитель, бывало...

— Мовлана, вы хотели подсказать! Я жду!

— Запаситесь терпением, мой шах, ибо то, что я предложу, ни в одной книжке не прочтете. И нет на земле человека, кроме меня, кто бы подсказал... Рок фатален, его не избежать, но рок слеп, и от него можно спастись. Мой шах, в эти злополучные дни, но не позже чем завтра, вы, Шах-Аббас Великий, должны отказаться от престола...

— Что ты говоришь, Мовлана?! — Шах-Аббас подскочил, и все вздрогнули.

— Имейте терпение, мой шах!.. Да, отказаться от престола, передав трон какому-нибудь преступнику, достойному смерти, и удалиться с глаз, пребывая в неизвестности. Когда разрушительное действие звезд разразится над головой грешника, который в это время будет полновластным шахом, вы вновь займете свой трон и будете царствовать в полном счастии и здравии во славу нашего могучего отечества. Но рок начеку! Народ должен считать грешного злодея подлинным шахом. Необходимо также расторгнуть

брачные узы со всеми женами, и с теми из них, которые согласятся быть женой простого смертного, каким станете вы, мой шах, можно будет заключить новый договор.

Все молчали: хвалить? А вдруг шах не одобряет? Хулить?.. Но шах заметно повеселел, и все стали хвалить Мовлану — его находчивость и стратегический ум.

Да, но где найти такого человека?! Чтоб, во-первых, был нечестивцем, достойным смерти, и чтоб, во-вторых, став шахом, не казнил их всех?

Шах обратил взор к военачальнику, вспомнив, что он к тому же министр по делам безопасности престола.

— Есть у меня один на примете, мой шах, мы ведем за ним наблюдение...

— Почему не докладывал прежде?

— И очень хорошо поступал, мой шах! — осмелел Мовлана, чувствуя себя героем дня.— Кого б тогда мы на трон посадили?

— Твоя правда, Мовлана,— похвалил его шах.— Так кто же он?

— Грешник, которых свет не видел! Появился здесь недавно...

— То-то я думаю, откуда у нас взяться нечестивцу?!

— Да, да,— заговорил главный молла,— в стране нет недовольных, все воздают молитву в вашу честь.

— Откуда он?

— Кажется, из Гянджи.

— Быть этого не может, чтоб с родины шейха Низами Гянджеви!

— А может, из Шеки?

— Это возможно. Ну так кто же он?

— Прибыл к нам с армянскими ремесленниками...

— А может, армянин?

— Нет, нет, чистокровный шиит! Юсиф — его имя!

— И что же он?

— Хулит бескорыстных служителей исламизма. Утвер-

ждает, что все должностные лица, начиная с сельского старшины и кончая самим венценосцем,— тираны.

— И он до сих пор не казнен?! Что еще говорит этот Юсиф?

— Он считает, что каждый сам по себе аллах!

— Аллах? О боже!..— расхохотался шах, и, подражая повелителю, захохотали все; лишь Мовлана, по рассеянности упустив, о чем шла речь, не понял, отчего все так дружно хохочут.

— Я осмеливаюсь думать,— решился сказать Мовлана,— что шекинец Юсиф — это именно и есть тот человек, которого заждались в аду. И благодарение судьбе, что хоть один негодник нашелся в нашей избранной аллахом стране. Ему суждено стать лжешахом и погибнуть от разрушительных действий звезд...

Тут же был составлен шахский указ о присвоении Мовлане титула «Солнце царства»; титул мыслился как женский, для Сальми-хатун, и шах поспешил к ней, он придумает новый. Но этого не случится, как не успеет и Мовлана получить шахский указ — слишком разыгралась сегодня фантазия у Мовланы: он сместил шаха, возвел на престол лжешаха, вздумав тягаться со звездами! В келье ждал Мовлану сам Азраил, ангел смерти.

На следующий день собрались во дворце министры, вельможи, сановники, ученые, потомки пророка сеиды, чиновники.

— Уже седьмой год,— начал шах,— я царствую над вами. По причинам, которые не считаю нужным открывать, вынужден отречься от верховной власти и предоставить ее лицу, более меня достойному и опытному в делах правления. Его вам назовут, и вам — повиноваться ему! Несчастье падет на голову того, кто нарушит мой приказ и осмелится проявить малейшее неповиновение!

Накануне шах издал, это он придумал ночью, фирман об отмене с сего дня и впредь казней посредством проли-

тия крови и удушения: власть звезд не подвластна никому, даже шаху, ну а все же?! что сильнее — приговор звезд, он неотвратим! или указ шаха, он тоже непоколебим!..

Шах снял с головы корону и положил ее на трон, отстегнул меч и облачился в простую одежду.

— Отныне я бедняк Аббас Мухаммед-оглы...

В задних рядах кто-то всхлипнул, послышался звук падающего тела.

Увидев шаха в простом наряде, красавицы гарема готовы были расхохотаться, но грозный взгляд властелина подавил их смех.

— Милые мои подруги,— сказал женам шах,— я принужден сообщить вам о весьма печальном событии: с этого дня я уже не шах.

Страх овладел красавицами, когда по окончании обряда расторжения брака Мюбарек разорвал брачные акты.

— А теперь,— обратился к красавицам шах,— если какая-нибудь из вас согласится стать женой простого смертного, то молла совершит брачный акт.

Все женщины дружно выразили согласие вновь стать женами шаха, ибо он был молод и красив. Но потом отказалась вступить в новый брак грузинка. Потупив смущенно глаза, она заявила, что во всех отношениях чувствовала себя удовлетворенной, находясь в брачном союзе с шахом, но теперь, когда она может изъявить свое желание, ей, помимо своей воли взятой в шахский гарем, хотелось бы вернуться на родину. Что ж, она прислана в дар правителем Грузии, пусть возвращается и держит ответ перед своим царем.

— Тубу! — позвал Фатали жену.— Вот и пригодился мне твой рассказ!

— Какой? — насторожилась она.

— Помнишь, о приданом.

— И что же?

— Грузинка покидает Шах-Аббаса и настаивает, чтобы вернули ей приданое. Ты тогда не досказала насчет платьев.

— А она что же, из простого рода?

— Ну что ты — ее прислал шаху в подарок правитель Грузии!

— Тогда я ей такое приданое придумаю, что и Шах-Аббасу не снилось! Пиши!.. Платье испанской парчи изумрудно-желтое с пуговицей золотой; и платье красное вязаное с девятью пуговицами жемчужными; и платье французского атласа соломенного цвета с девятью парами золотых крючков. И девять платьев чесучовых, и девять платьев французского шелка, два подобных цвету граната... Еще?

— Спасибо тебе, Тубу-ханум. Издадут повесть, куплю тебе на гонорар, как ты сказала? — «подобных цвету граната» (и действительно купил, но не платье, а ковер, и то отдал его потом нищему).

Вслед за грузинкой отказалась вступить в брак с Шах-Аббасом еще одна красавица: сама Сальми-хатун!

Удар был столь предательским, что шах, забыв на миг, что он отныне просто Аббас, ринулся на нее, но та, будучи всего минуту назад женой шаха и став по велению рока шахской вдовой, властно подняла руку и показала простолюдину, чтоб он знал свое холопское место.

Или ты забыл, шах, что отречение должно быть искренним и чистосердечным? Иначе, если ты будешь считать себя в душе повелителем, достигнет тебя кара звезд, где бы ты ни скрывался.

Сколько перьев тростниковых да фиолетовых чернил, перья их пьют и пьют, надобно, чтобы рассказать о Юсифе, искусном мастере по седлам, которого верховный совет

наметил на самую высокую из придуманных человечеством должностей: шах!.. По-разному у разных народов и в разные эпохи называется эта высокая должность, а без нее как обойтись? Пытались — не вышло! И седло, которое шьет Юсиф, что трон: воссесть, чтоб удобно было погонять.

И Юсиф по отцу, как Шах-Аббас,— Мухаммед-оглы, чистое совпадение, ибо Мухаммедами населен мир, исповедующий исламизм.

Седельник — потомственная профессия, но Мухаммед решил отдать сына Юсифа в гянджинскую, основанную еще Шейхом Низами Гянджеви духовную школу. И вот однажды в его келье между учителем и учеником произошел разговор...

— Ну это ты брось, Фатали! — Кайтмазов ему.— Пересказывать свою жизнь!.. И как отвратили Юсифа от духовного сана! И насчет битвы у могилы Низами, когда столкнулись войска грузинского (читай: русского!) и персидского принца! И о величии грузинского царя!

— Но цензура в сюжет не должна вмешиваться!

— Что?! — такой хохот, никак не остановится Кайтмазов. И сразу хлоп, серьезный, строгий, копирует Никитича: — А насчет былого величия грузинского царства? А излишние напоминания южным соседям об их поражении под Гянджой? Думаешь, сняли Ладожского, пиши что хочешь? — возмущается Кайтмазов. А для Фатали это новость.— А ты что, не слышал разве?! Сместил его государь! Да-с, груб был! А точнее, оголенно выражал идеи, а это нынче не в чести. Но ты прежде времени не радуйся: идеи-то Ладожского не отменены.

— И кто же новый?

— А нового нет и не будет — функции Ладожского

исполняет Никитич! Это ты, кажется, сказал о нем: «Вечный Никитич!..» Очень мудрые мысли ты порой изрекаешь!.. О тебе тут, между прочим, один высокий чин сказал: «Учитель нации!» Так что брось эти подтексты! В исторической хронике как сказано: простой седельник. А не бунтарь. А ты Юсифа — в мыслители! И эти его, я успел перелистать твое сочинение, просвещенные идеи, опасные мысли... И где он этому научился? Ты бы его еще в кругосветное путешествие отправил! На поиски новой Индии!..

А что? С Колумбом, увы, нельзя, это было еще до Шах-Аббаса. Можно б, конечно, изменить имя путешественника, но очень уж известен маршрут Колумба, и Фатали с картой перед глазами детально вычерчивает великий путь Христофора Колумба. Фатали хотел бы, но как это сделать? показать Юсифу и Лиссабон, и Мадрид,— разве не мог Юсиф быть связан с испанским или персидским купцом, торгующим коврами?

И однажды в каравелле, дабы сколотить деньги, столь необходимые для поддержания большой семьи, потерявшей все свое добро во время битвы чужих войск у твоего порога, отправился в Мадрид и был свидетелем того, как Филипп Испанский снаряжает «Непобедимую Армаду» для отмщения королеве-протестантке Елизавете за казнь католички Марии Стюарт.

И не мог ли Юсиф оказаться вскоре в Лондоне? А можно и не в Лондон, в пределы иные: через Тифлис — как же не привезти Юсифа в родной для Фатали Тифлис? — в Азов и Каф, куда ездят русские купцы, и с купцами — в Москву или в Стамбул, погостив сначала у крымского хана. Можно и на Восток отправить Юсифа, в Индостан, в страну Великих Моголов, к Джалаладдину Акбару Великому: у него родился наследник, и шах бросил клич, чтоб хлынули к нему зодчие и камнетесы, плотники и землекопы — будут строить новый город, столи-

цу — Фатехпур, почти Фаталиград, он растет на глазах, уже больше Лондона, а какая здесь торговля! какие базары! Мощеные мостовые, бани, падишахский дворец, а вода какая здесь вкусная!

Увы, пали моголы, стал Фатехпур мертвым городом!..

А ведь чуть не судили в Лондоне Юсифа, посадив в Тауэрский замок: он поспешил, боясь заразиться чумой, слухи о которой поползли по Лондону, в таверну в одном из близких местечек, где провел целый день, нарушив предписание ислама и выпив вино за успех своего, увы, убитого на его же глазах друга,— Юсифу чудом удалось спастись, убегая от погони, как в Гяндже, когда фанатики с факелами ворвались в духовное училище, чтоб расправиться с еретиком-учителем, отвратившим Юсифа от духовного сана, и с рассветом он оказался в Лондоне и, найдя купца, с которым прибыл сюда, покинул сырой, мрачный и неуютный город и пристал к жарким берегам родного края.

Мастерская седельника Юсифа находилась на площади, у шахской мечети. Вчера ханским конюхом ему было заказано пришить новые ремни к седлу и починить уздечку, и он, получив за срочность один туман, обещал к вечеру сдать заказ. Сидели пятеро друзей, и он рассказывал им: сначала, это он очень любит, о своих кругосветных путешествиях в молодости, а потом о дороговизне — то сгорает урожай из-за длительной засухи, то гниет из-за обильных дождей.

И вдруг на площади показалось густое облако пыли. «А вдруг ко мне?! за мной?!» — мелькнула мысль.— А ну-ка, друзья, уходите, пока целы!..

Но что это?

Впереди шли слуги в пестрых костюмах и четырехугольных шапках, за ними знаменосцы, потом стражни-

ки, вооруженные остроконечными пиками и сопровождающие главного конюшего, который вел под уздцы красивого коня туркменской породы. Седло и попона на спине были усеяны драгоценными камнями, нагрудник расшит золотом, уздечка украшена жемчугами, с шеи коня свешивалась кисть изумрудов. За ними — главный молла, военачальник, везир, казначей, звездочет, почтеннейшие ученые, богословы, славнейшие потомки пророка, вся знать двора.

Шествие остановилось перед мастерской.

— По предопределению судьбы,— начал главный молла,— ты, мастер Юсиф...

Очнись, Юсиф, это же говорит тебе главный молла!

И начались чудеса.

Будто Юсиф в Лондоне, в театре, и появляется белотелый красавец Теймурлан!.. Сняв с Юсифа поношенное платье ремесленника, слуги надели на него богатое царское облачение. Главный конюший подвел коня, Юсиф сел, и процессия торжественно направилась во дворец. Тронный зал, молитва моллы, почтительное ожидание знати.

И наконец корона — впору, чему немало подивился главный молла.

И опоясали мечом, осыпанным бриллиантами.

Дружные несмолкаемые крики, торжественный гимн, взмыла сигнальная ракета, и тотчас за городом раздались раскаты пушечных выстрелов.

Хотя после Хафиза и Саади персидская поэзия пришла в упадок, но нашелся поэт, «царь поэтов» Сируш, который переиначил недавно сочиненную в честь Шах-Аббаса оду и прославил редкие достоинства нового шаха, тем более что Аббас и Юсиф — двусложные.

А потом придворные удалились.

Но не все.

— А кто вы?

— Мы евнухи шахского гарема, я старший, а это мои помощники.

— Удалитесь все, а ты оставайся! — Для главного евнуха Мюбарека нет, наверное, тайн.— По твоему лицу я вижу, что ты хороший человек, объясни мне, что это значит?.. Ах звезды!..— «Вот дураки! Ну и ну! И кто нами правил?!»

В Юсифе заговорил голод: ведь ничего не ел!

— Я покажу вам дворец, пока будут готовить ужин.

Какие покои!.. А вот и комнаты гарема... И вдруг — живая душа!

— А это кто?

Удивился и Мюбарек, застав здесь Сальми-хатун: разве не дал ей Шах-Аббас разводную грамоту? Но успел шепнуть на ухо Юсифу: «Сальми-хатун, любимая жена Шах-Аббаса! Должна была покинуть дворец, ведь развелась с ним!»

Сальми-хатун встала и, повернув красивую голову к Юсифу, гордо посмотрела на нового шаха. На миг в ее взгляде Юсиф уловил: хочешь — оставь, и я буду верна тебе, а хочешь — прогони!

— Можно прогнать,— робко предложил Мюбарек.

А Юсиф залюбовался ею: не гнать же женщину, если она привыкла жить здесь?

Что бы он ни делал в этот день, перед глазами возникала картина: коврами устланная комната, а посреди — гордо глядящая на него молодая женщина. «Я рождена для шахов и остаюсь в гареме нового шаха»,— сказала она Мюбареку, чтобы тот передал Юсифу.

А вскоре Мюбарек, войдя к шаху, низко поклонится и попросит на миг отлучиться от государственных дел; он привел моллу, чтобы тот — неудобно ведь, посторонняя женщина живет во дворце! — закрепил брачный договор между Юсифом и Сальми-хатун... «Евнух прав: неудобно!..»

— А где хранятся наряды жен? — вспомнил Юсиф про жену.

Хранитель привел к сундукам: какие кашемировые шали, шелка, платья из дорогой парчи!.. И очень маленькие сундуки — диадемы из самоцветов, бриллиантовые серьги, дорогие кольца, ожерелья из жемчугов!.. И он выбрал для жены и трех своих дочерей платья, диадемы, кольца, ожерелья... Сыновьям послать было нечего.

— Отвезите жене и скажите, чтоб обо мне не беспокоилась.

— Она могла бы переселиться сюда, мой шах.

— Нет, не надо!

В золотых подсвечниках на роскошном столе горели свечи. Юсиф отломил лишь ножку фазана, а до иного и не дотронулся: и осетрина, и икра, и гора плова,— каких только яств там не было!

— Это тоже ко мне домой!

Подали кофе, потом кальян, «хороша шахская доля!» Клонило ко сну. Приказал начальнику охраны расставить стражу в том же порядке, как раньше, пошел в свою опочивальню. Но прежде спросил:

— А как Сальми-хатун? — Мол, не забыли накормить?

— Сыта. И довольна.

Всю ночь ворочался в постели. «А ведь Сальми-хатун рядом!» — шепнул, это уж точно, дьявол. Но ему было невдомек, что Юсифа одолевают иные думы: «Если это сон, то лучше не спать, если явь, то что делать завтра?»

А утром чуть свет ему объявили о приезде послов из Москвы, от царя Федора Иоанновича. Соскочил с трона, главный евнух аж отпрянул от неожиданности, приоткрыл дверь и увидел чужестранцев. И те по короне догадались и были изумлены. «Приму после полудня!» — сказал шах через главного евнуха, а те, это были князь Борятинский, дворянин Чичерин и дьяк Тюхин, оскорбились и, выразив шаху через толмача неудовольствие («И ты думаешь,—

это Кайтмазов,— я пропущу? Чтоб только что прибывший наместник Барятинский...» «Но у меня не «Ба», а «Бо»!), покинули дворец. Каким-то неутраченным восточным чутьем толмач-татарин уловил, что это именно евнух вел с ними переговоры, но промолчал, дабы не сердить князя Борятинского.

Вскоре во дворец прискакал Ази-Хосров и, подавляя в душе страх перед троном, мягко упрекнул Юсиф-шаха, что с послами из Москвы так обращаться нельзя, и рассказал о своих переговорах с русским падишахом.

— Твой падишах и твой Шах-Аббас кровопийцы! — заметил растерянному Ази-Хосрову шах.— И затевали вы подлое дело, и ты, и твой шах, и царь московский!

И Юсиф велел позвать того, кто одет проще, это был дьяк Тюхин, и толмача.

— Новое оскорбление! — хотел возразить Ази-Хосров, но сдержался.

Юсиф говорил с толмачом и по-арабски, и на фарси, и на их татарском, и по-тюркски, и по-турецки, увлекся языковыми сходствами и расхождениями, Ази-Хосров злился, а Юсиф посмеивался. Толмач порой забывал, что перед ним шах, а дьяк Тюхин был восхищен образованностью Шах-Аббаса. «Шах-Юсиф!» — поправил его толмач и стал что-то говорить на их языке быстро-быстро, от чего лицо Тюхина то краснело, то бледнело: «Ну и дела! Отрекся добровольно!.. В пользу седельника!.. Такого сроду еще не бывало, а у них не мыслимо даже!..»

А князь, кому доверяли и царь, и Годунов, вскоре, от удивления, возможно, и помер в Персии, а Чичерин... «Помилуйте,— негодовали в Москве,— вы же дворянин! Как могли поверить бредням дьяка?!» А толмачу определили вывих ума и со службы прогнали.

От даров Юсиф-шах хотел было отказаться, да раздумал, взял меха, вспомнив почему-то Сальми-хатун. Тюхин вдруг перестал улыбаться и сказал о целях посольства.

При этом дьяк слово в слово изложил грамоту, присланную царем; она хранилась у князя, и только ему велено было вручить лично шаху:

«...Величеству твоему слово наше таково: наши гости из наших земель в твои земли ездят, нашим и вашим людям от этого большие выгоды есть. Но гости наши били нам челом — в твоих землях великие насилия терпят. В Ардебиле и Реште, а также в Тавризе и других твоих городах, оценив их товары, возьмут, а потом отдадут половину...»

И еще говорил дьяк, что с оружия пошлину берут.

— Но они,— не сдержался Ази-Хосров, понимая, что чин у него повыше, тот — дьяк, а он в ранге посла,— как выйдут из таможни, я этим занимался, мой шах, продают оружие.

Шах велел передать толмачу, что немедленно издаст указ, чтоб строго наказали ардебильского, рештского и других ханов.

— Вы мне составьте такой фирман, Ази-Хосров!

— Шах,— шепнул ему на ухо Ази-Хосров,— надо и нам свои упреки высказать, задета честь трона.

— Напишешь, как они, в грамоте пошлем.— Надоело пустячными делами заниматься; страна ждет его новых указов!.. И, поручив посланников Ази-Хосрову, «ты будешь моим министром иностранных дел!», он простился с толмачом и дьяком.

Прежде всего надо очистить государство от всякой нечисти: титулованных глупцов, бездельников и взяточников. Сломать иерархическую систему чиновников, примазавшихся к трону краснобаев молл и иных проповедников, продавших совесть и погрязших в лицемерии и лжи. Полдня ушло на послов, а он задумал в первый день своего царствования столько дел...

Никак не уснет и вторую ночь: с чего начать? Ну вот, ты мечтал: «Если бы я был шахом». Вот ты и шах!

Не спит и Фатали: что бы я сделал? Царь отказался и вызвал тебя: «Возьми вожжи, вот тебе конь, вот тебе седло, а вот моя плеть». Разложил перед собой лист, расчертил его, кружочки — должности, соединения — связи, с чего начать?

Фатали изучал всю жизнь, как, вспыхнув, погасла французская революция.

Как будто недавно слуга внес свечи, а уже в который раз Фатали берет ножницы и снимает нагар, чистит и чистит свечи, пока они вовсе не сгорят. Как с мечетью? Деньги? Суд? Но кто отречется от своих преимуществ? Сначала как бы он сам, Фатали, а потом как если бы Юсиф, который уснуть не может, все думает, как ему управлять страной.

А страна затаилась: что готовит им новый шах?

Ты, презренный ремесленник, отлично знающий, как шить седла, получил власть, что же дальше-то? Как изжить рабье?

Вошли в тронный зал дряхлые и согбенные. Всех Юсиф знает: видел их врозь и вместе. То кто-то проедет в окружении свиты телохранителей и приближенных, и тогда устрашающие крики извещают об их вступлении на шахскую площадь — уйди с дороги, не то раздавят копыта, подковой распорют брюхо.

Видеть-то их Юсиф видел, да разглядеть как следует не мог: глаза не выдерживали! Лучи солнца, столь щедрого здесь, играли, отражаясь на золоте орденов, ловили грани бриллиантов, многократно изламываясь. Шах одаривал подданных высокими чинами, звонкими титулами, наградами в виде круглой броши на ленте или звезды, сделанной из платины, с золотым полумесяцем, а вокруг — бриллианты... Неведомо как повернется колесо фортуны в этом вероломном государстве. Отколупывай в черный день чистые, как детская слеза, бриллианты и выходи на узкие

улочки восточного базара, крытого чем попало, дабы была тень и не жгло нещадно солнце.

— Кто за дверью толпится?

— А это,— шепчет на ухо шаху,— их собственные астрологи.

— И долго вы будете толпиться у трона?

— Но мы еще в силе.

— Я обеспечу вашу старость, из казны получите щедрые дары, хотя изрядно обогатились за годы правления.

— А наше знание?

— И писарей к вам приставлю. И расскажете о своем бесценном опыте!

Заерзали на креслах.

— Что вы так забеспокоились? Ах, уже устали? А у меня к вам столько важных и неотложных государственных дел.

Но такая мольба в глазах чинов: как не пожалеть их, не пойти им навстречу?

Собрать бы народ на площади, выйти с этими вождями и при всех низложить их. Но кого на их места?

Пятеро друзей. А кто еще? Еще Ази-Хосров.

Армия. Пешие. Конные. Артиллерия. Оружейные склады. Секретная служба. Шахская полиция. Сношения с иностранными державами.

Сверху донизу менять, чистить, обновлять!

Сколько надо чистить!

Итак: через Ази-Хосрова вызвать всех посланников, пусть немедленно извещают свои страны о восшествии на престол нового шаха; а англичане уже послали срочную депешу в южный порт, чтоб немедленно доставили Елизавете: как быть? Добровольно отрекся в пользу седельника! И другие успели — испанский, султанский, и эти, кого он принимал, уже в пути, только неожиданно скончался их главный, князь,— предлагается всем мир, никаких козней и притязаний!

А часы и дни уходят.

Пусть грузины подыщут себе правителя. И армяне. Пусть и Азербайджан... Может, им опытных персов? Самим, правда, людей негде взять, чтоб заменить, где уж о помощи думать?

И уже идут гонцы к Юсиф-шаху: у грузин правитель есть, но армян пока не удалось собрать.

А что азербайджанцы?

— Спорят! Вопит Билбил-хан бакинский, дерет глотку Феил-хан ширванский, жаждет крови Кан-хан карабахский!..

— Ясно!..— «Придется,— подумал Юсиф,— отложить».

А тут новая неожиданность: племена взбунтовались. Мир и автономию шах им пожаловал? Так и поверил Асадулла-хан: посланец шаха убит.

Вот и покажи, Курбан-бек — он ведь назначил одного из друзей главнокомандующим,— свое воинское искусство! Что тот говорил воинам, как он их воодушевлял, о том Юсиф не ведает: но враг вторгся в их земли... Курбан-беку не верилось, как же сумел он? Но шахские войска оттеснили бунтовщиков, при этом отличилась конница, ворвались в стан Асадулла-хана, пленили его и вынудили подписать условия мирного содружества.

Заявили о непокорности грузины, узнав о мятеже, но и здесь обошлось мирным договором.

— Стоп-стоп-стоп!.. Может, еще о Польше?

— Помилуй, Кайтмазов, какая в составе Персии Польша?! Но есть высшая справедливость!

— Э, нет!

— А Юсиф, представь себе, договорился на основе полного доверия! И вернули грузинам христианскую святыню — Христову ризу!

— Ту, что Шах-Аббас вывез из Грузии? И, разделив

на четыре части, первую отослал в Иерусалим, вторую в Царьград, третью в Рим, а четвертую в Москву. И ты думаешь, я позволю тебе хоть слово написать об этом? Сия святыня, Фатали, помещена в Успенском соборе, и в честь ее положения утверждено ежегодное празднование почти в день нашего Новруз-байрама!

— Но Юсиф успел вернуть! И никаких праздников!

— Постой, ты уже что-то путаешь: если он вернул, то как же я мог ее видеть в Успенском соборе?

Гладкое-гладкое перо у Кайтмазова, гусь был белый-белый, перышко так и летит, тонко перечеркивая лист.

Так что же Юсиф-шах надумал? Вызвали главного евнуха, должность, прямо сказать, лишняя при таком шахе. Но куда прогонишь старика? Вызвал, и сердце тревожно застучало: Сальми-хатун!.. Юсиф поклялся бы, что зов услышал: «Мой шах, твои заботы никогда не кончатся, а сладостный миг упустишь!» Юсиф сбросил с себя это заманивающее наваждение: Мюбарек ждал его распоряжений. И вдруг, сам того не желая, Юсиф-шах спросил:

— Как там Сальми-хатун?

Мюбарек заметно оживился: шах как бы утвердил необходимость его должности!

— В полной красе возлежит на дарованных послами мехах. И...— помедлив, добавил: — Ждет вас.

— Потом, потом!..— отмахнулся Юсиф.— А как жена?

Евнух сник: — Окружена заботой и вниманием.

— А где везир? Военачальник? Главный молла?

— Могу позвать.

— Нет, нет, не надо! Без кровопийц!

Евнух побледнел и еще больше согнулся.

— Да выпрямись! Надо немедленно собрать сюда всех писарей столицы!

— Кого? — не понял евнух.

— Писарей! Пусть являются со своими тростниковыми перьями и чернильницами, а пергамент отыщется в канцелярии, отведи им самую большую залу во дворце, всю ночь работать будут. А где шахский писарь?

— Он ждет ваших указаний!

— Зови!

С какого фирмана начать? О стольких фирманах ночью думалось, а тут улетучились вдруг.

— Мюбарек, а где мои советники? Ах да, ты говорил мне!

Неужто советоваться с ними? И Юсиф вспомнил нескончаемые беседы, которые они вели в дружеском кругу. Накануне того дня, который стал поворотным в его судьбе, сразу после ухода конюха — срочный заказ! — к нему пришли друзья, «пять богатырей», как их прозвали мастеровые, и они провели полдня за долгой беседой. Неужели это было всего два-три дня назад? Рамазан учился с ним в медресе, образован, начитан, а всего лишь помощник моллы в шахской мечети: выбить ковры, подмести двор, следить, чтоб не стащили чусты прихожан во время молитвы. «Эх, если бы я был главным моллой!» — размечтался Рамазан, но его слушать не стали: чего зря языком трепать? Курбан-бек — а Фатали видит Хасай-бека Уцмиева! — никакой он не бек, отличился в битве с султанскими янычарами, еще при отце Шах-Аббаса,— подсказал тысячнику, как ударить янычаров с флангов, и осмелился высмеять приказ военачальника об оставлении Тавриза: мол, лучше отступить, чем дать бой... Спасло от казни заступничество тысячника, который пользовался у шаха особым расположением, а теперь служит у какого-то испанского купца. «Пойду-ка выпущу псов,— сказал он в ту памятную ночь,— чтоб воры не забрались. Вчера всю ночь на звезды лаяли. По их лаю определяю: на воров или на звезды». Часто рассказывал о тупости военачальников: только одна похвальба о былом величии! А чуть что: или отступить

вглубь, заманить, а там аллах поможет, или — победа людскими трупами. «Эх, если бы я был военачальником...— размечтался.— И с чего это псы мои на звезды лаяли?!»

Мирза Джалил, почти Молла Насреддин!.. умнейший среди пятерки друзей, тоже с ним в Гяндже в одном медресе учились, и в ту ночь, когда Юсиф бежал, за ним, оказывается, Мирза Джалил гнался, а Юсиф решил, что погоня. Обыкновенный писарь у какого-то невежды хана! «Тебе бы,— часто говорил ему Юсиф,— главным советником, везиром у шаха быть!» А Мирза Джалил рукой машет, мол, что за глупые мечты?

И Заки: дай пересчитать звезды на небе — сосчитает, если ясная звездная ночь.

— Мюбарек, ты можешь одолжить мне один туман?

Мюбарек, привычный к неожиданностям шаха, не удивился:

— Казна в твоей власти, шах!

— Я спрашиваю тебя об одном тумане!

— Да, да, конечно, вот он, туман!

— Верни этот туман конюху Вельвели-хана, а я потом тебе верну, заказ его не выполнил,— и показывает на корону: мол, причину сам знаешь.

Вот они — те, кто привел его во дворец по велению звезд.

— Везир, хотел бы услышать о ваших заслугах перед престолом и народом!

— Преданность ничтожного раба высокому престолу ни для кого не составляет тайны, а также общее благоденствие и все короны мира, а также престолы, христиане, иудеи...

— Пиши! Конфискуется наличное золото и камни везира, ибо добыты нечестным путем! Ах ты еще грозишь? — Тот забыл, что Юсиф — шах, а Юсиф уже привык, что все — его подданные.— Вызвать стражей!

В тюрьму его! А теперь послушаем тебя, военачальник, поведай о своем полководческом искусстве! — Юсиф сам удивляется: как же быстро он научился так грозно разговаривать с людьми, вчера еще могущественными?

— Я заманивал противника в глубь страны, рушил мосты, сжигал дома, уничтожал посевы. Враг трепетал.

— И это ты называешь искусством?..— и к писарю: — Шахский фирман о смещении. А, это ты, главный молла! Да, твои дела на виду у всех! Это ты возвел в сан святых шахскую династию, чтоб упрочить свой авторитет. Ты насильно хотел обратить в шиизм иноверцев и разжигал страсти, чтоб отвлечь от насущных бед. Эти погромы... Чего уставился на меня? Пиши! Пиши все, что я говорю! И за это, главный молла, я предаю тебя суду! Эй, стражники! А чем славен ты, казначей? А, вспомнил, это ты придумал не выдавать жалованья чиновникам? И молодец, что не выдавал дармоедам ни гроша! Что еще придумал? На какие нужды вы тратили казну?

— А шахские увеселения? А дары?

— Это тем, с которыми я встречался?

— Лучшие люди империи!

— Ну, ну, еще на что разбазаривали?

— А охоты? А пиры? А содержание шахского гарема? Мой шах, есть еще одна статья, секретная...— Все тотчас вышли.— У нас множество шахских глаз! — И стал перечислять такие страны, о которых, хоть и совершил почти кругосветное путешествие, Юсиф и не слыхал.— И ушей! Слышат, видят и нам докладывают: и у султана, и на северных землях, и в Крымском ханстве, и в ногайских владениях, и в астраханских.

— Чего умолк?

— Еще есть. Среди нашего народа. В каждом квартале, в каждом доме, в каждой семье!

— Дааа...— задумался шах. Казначея надо б уволить, но прежде пусть напишет, у кого какое состояние.

Вошли все.
— Вы не выслушали меня, мой шах!
— А ты кто?
— Я,— гордо выпятил грудь,— главный звездочет империи!
— Ах, это благодаря тебе я на троне.
— Я надеюсь, вы должным образом оцените мои заслуги!
— Да, крупный ты мошенник!.. Хотя не будь тебя («и тупости правоверных», подумал)... Но я, увы, упраздняю должность звездочета, как вредную для народа и государства. Пошлю-ка тебя рядовым учителем астрономии... Хочешь?
— Меня? учителем?!
— Не хочешь, да? — и улыбается.
— В школу?!
— Ну да, крестьянских детишек учить!.. Не согласен? — и за бороду его, волосок остался в руках, тонкий, седой; дунул, а он поиграл с лучами солнца да вылетел в окно.
— Мой шах, писари собраны.
Вышел к ним.
— А, и ты здесь!.. Ну да, ты же писарь!
Мирза Джалил был смущен, увидев Юсифа: лицо знакомо, а облик уже иной: шах! Не подойди к нему Юсиф, он бы, пожалуй, не рискнул.
— Куда вы подевались?
Неужто это их Юсиф?
— Немедленно пойди и приведи ко мне Рамазана, Курбан-бека, Заки!
Фирманы, фирманы, фирманы!!!
За злоупотребление властью! За тупость и преступное равнодушие к бедам народа! За жестокости и попрание прав! За то, что лицемеры и ханжи! За одурачивание под-

данных! За ложь на каждом шагу, везде и во всем! Лишить титулов! Чинов! Конфисковать награбленное в пользу казны! В тюрьму! в каземат! в яму!

Фатали задумался: то ли пишет в уме, прочерчивая сюжет, то ли рисует — но что это?! перекладина, а с нее свисают пять петель!.. виселица?! Но какой издать фирман, чтоб устранить всеобщую подозрительность: шаха — к подчиненным, везира — к главному молле, членов совета, этих бездушных кукол, немых и слепых, лишь умеющих поддакивать,— друг к другу?!

Найти и выдвинуть новых!.. Но где они? И кто может ручаться, что те, кого шах приметит и кому пожалует отнятые у других титулы, эти новые «Совесть», «Прямота», «Опора» царства, не станут грабить и брать взятки, лицемерить, лгать, строить козни, создавать новые семейные или племенные кланы, глохнуть от звуков лести и слепнуть от блеска побрякушек? И какой издать фирман, чтоб исчезла всеобщая подозрительность и вражда племен?

Рассказывал Александр или снова — видения Фатали?

окованная железом дверь, железная решетка у окна, мундир сняли, он в легкой рубашке, а ведь зима, холодно очень, через темный мост, темные своды, неуютная кровать, накрытая жестким одеялом, длинная холщовая рубашка, грубые чулки, и пахнет свежей краской, гремят связки ключей, или это кандалы? о боже, какой вкусный черный хлеб! и кружка воды! сальная плошка, гарь душит, нечем дышать! цепной мост, крепость, странная фамилия коменданта Набоков; и колокольный звон через каждые четверть часа, табуретка, крепостной вал и пустой дворик, лишь ветка торчит за окном, уже весна? гудит голова, хоть какую

книгу! хотите — коран? и немец-офицер, почему немец?! «Фатали, ай-яй-яй, какой у вас был замечательный второй отец, Ахунд-Алескер!.. мне жаль вас, Фатали!» дым табачный, Фатали не курит, но запах табака!! такой же курил Александр; или он здесь? рядом камера?..
идут и идут, утопая в снегу, откуда же столько снега здесь, стоят столбы, их пятеро, надели саваны-колпаки, щелкают затворы, но почему еще столбы?! и пустые виселицы!..

— Фатали! Ты меня слышишь? Ты опять жжешь бумагу!

Фатали не оглянулся: бумага, вспыхнув, загорелась сразу вся, и он осторожно положил ее в железную тарелку, пусть сгорит дотла. Огонь быстро слизал арабскую вязь, и не успела бумага почернеть, как Фатали поднес к красному язычку новую, исписанную мелко-мелко, со вставками, стрелками, вклинивающими в текст новые добавления, обведенные кружочками, и какие-то звездочки, полумесяцы, кресты как плюс и как распятье.

Не от слов же, вспыхнув, загораются?! А как загорятся — одно и то же, никак не отвяжется: Зимний горит!

Самая долгая ночь тридцать седьмого года! Как пусты и мрачны обгоревшие стены. Эта черная-черная громада! Какая стихия! Пляска мести, громада огня... И он знал, падишах, что непременно случится... и даже перед смертью — плясало пламя пред очами!

И над тарелкой полетели чернокрылые насекомые, похожие на многократно уменьшенных птиц. Раньше напишет, как молодой разбойник или хитроглупый купец одурачивает есаулов, прочтет жене — и вскоре газета «Кавказ» печатает из номера в номер. А теперь иное: сидит над бумагой долго, свеча догорает, сжигая ночную тьму и ускоряя приход утра, а потом чернокрылые птицы!

«ах вы пропагаторы!..»
в четыре часа пополуночи майор жандармского дивизиона, господин в голубом, а голос нежный; пристав полез в печку, пошарил чубуком, нет, нет, я не курю, это так, для забавы, а жандармский унтер-офицер встал на стул и полез на печь — известное дело, там прячут золото в мешочке,— но пусто!.. «ай да пропагаторы!»
а это что ж? «лишены прав человеческих, посадить бы чадолюбивого императора». это ваш почерк! а вот еще: «все тайна и ложь. говорю о рабах — приверженцах деспотического порядка, а также проникнутых страхом»;
да-с! шпицрутенами! в две шеренги!
торопливо роздали шпицрутены, длинные прутья толщиною с палец.
надо освоиться, проверить, как гнутся. Фатали раздели догола, связали кисти рук накрест, привязав их к прикладу ружья,— это дворян, бекские и ханские сословия нельзя, а Фатали это ж такая точечка, что и не увидишь! — за штык унтер-офицер потянул его по фронту меж двух шеренг, свист шпицрутенов не слышен: заглушает барабанный бой.
«а ну сильней!..» упал, два медика, полковой и батальонный.
«Ну-ну, не очень-то!» и спирт нашатырный, и воду на голову.
«ну-ну!» и снова барабан, красное мясо, брызжущее кровью.

А в Метехском замке — Алибек!

Как просто: к Шайтан-базару, потом по Барятинской улице в сторону Воронцовского моста, Фатали идет и будто наместники рядом с ним; даже не верится, что Воронцова уже нет, а казался бессмертным... а Барятинский — тот еще долго-долго!.. Как телохранители при Фатали, чтоб

люди сторонились,— мимо Монетного двора и — к Метехскому замку освобождать Алибека!..

— Нагнал тирану страху!

— Какому? Шах-Аббаса, для этого никакой смелости не надо, можешь и казнить!

— Увы!

— Даже его не можешь?

— Он фирман издал!

— Ты тут столько жжешь, и фирман этот сожги.

— Я жгу свое, а не чужое! И... начинать правление с крови!.. Нет, не могу!

А это что за фраза: «Юсиф, это я». Пишу о себе, как персы, со стороны как бы?! — и Фатали подчеркнул два имени и местоимение. Связаны одной судьбой, веревкой, цепью-цепочкой? О господи! Эти наивные намеки! Но как хорошо начал! Пузыри, так сказать, надежды! Но что же дальше?

Задумались пятеро: «А правда, что же дальше?»

— Может,— чешет голову Рамазан, он занял пост главного моллы,— пригласить иностранцев? (а вдруг понравится Юсифу?)

Ему поддакивает Заки, главный над бывшим казначеем.

И Мирза Джалил тоже (как ученостью не блеснуть?): — Ведь не побоялся султан Мехмет Второй назначить великим везиром Махмуд-пашу, сына серба и гречанки, и дела шли неплохо!

— А что скажешь ты, Курбан-бек?

— Надо Ага-Сеида найти! Ведь сердце-то справа оказалось, не убил его Шах-Аббас. Но кем его сделать? Все посты как будто заняты.

— А сделаем мы его нашим,— слово-то какое нашел Юсиф! — мыслителем.

Кто-то понял, а кто-то поймет, если, конечно, звезды не подведут. Собрать на центральную площадь, трибуна, четыре знамени вокруг: красное, зеленое, желтое и белое, и — историческая речь: «Я — ваш царь. Старайтесь возвыситься во мнении народов земли! Свободны отныне от всех молитв, постов, пилигримств!»

Это уже было: Реформация, сожженные рукописи, а в золотом сундучке Юсифа чудом сохранившийся манифест удивительного правителя, вождя Реформации Гасана. О нем — после, а пока, может быть, землю крестьянам?

— Пустая затея! — это Рамазан.

— Как? — вспылил Юсиф.

— Ну вот, ты уже гневаешься. А ведь предупреждал, говорите мне в лицо, когда я не прав.

— Вернуть земли снова ханам и бекам? К этому вы клоните? — И смотрит Юсиф на Мирзу Джалила.— И ты тоже, мой Насреддин?!

— Те, кому мы дали земли, передрались, полезли друг на друга с ножами!

— Каждый желает новым беком сделаться,— в тон им и Ага-Сеид.

(— Ага-Сеид? — изумились горожане, а пуще всех — простолюдин Аббас Мухаммед-оглы. Воскрес?! Но этого звездочет не предсказывал!)

— Твои фирманы ай какие хорошие!..— качает головой Ага-Сеид.— Длинноваты и скучны, но зато какие занимательные! — Издевается?! — Особенно этот, насчет свободы, я не поленился, вызубрил, как там у тебя? «Если общество не дает своим отдельным индивидуумам свободы мысли и потребует от них, чтобы они замкнулись в рамках всего того, что унаследовано от предков, и установок, данных духовными предводителями, то тогда индивидуумы превратятся в автоматов, в мельничных лошадей, всю жизнь двигающихся по кругу. И так до последнего дня». И эти несчастные, пишешь ты, лошади, так никогда и не

узнают о существовании лугов, ты что же, поэму пишешь или это шахский фирман?! прекрасных пастбищ, благоухающих цветников, журчащих, о боже! родников, о горах, прекрасных долинах, ибо обречены на лямку и круг; будто люди, окованные китайской стеной, кому это понятно, Юсиф-шах? будто люди — это те же мельничные лошади!.. Конечно, шахиншах Юсиф, фирманы твои хороши, но кто станет выполнять их? Ладно, оставим эти перлы, но народ-то понимает, что ты — седельник! То есть такой же, как Али и Вели. Даже ниже чувячника. Возьмем схему главного моллы, зря ты его прогнал, человек он, конечно, поганый, мне тоже своим доносом навредил, но ведь ему не откажешь в знании психологии прихожан. Ему все равно кому служить, лишь бы купаться в лучах короны,— и вычертим тебе линию вот сюда, к шахским династиям, а далее — к святым. А ты не удивляйся. Был любимым сыном Шаха-Мухаммеда, недавно обнаружилось в золотом сундуке, где и рукописи Алазикрихи-асселама, его завещание!

— Асселама?

— Нет, Мухаммед-шаха, и Шах-Аббас это скрывал, а звезды восстановили справедливость... Далее мы переименуем Шахруд, ибо, преследуемый Шах-Аббасом, посягнувшим на твою корону, именно там ты скрывался, в Юсифабад.

— Я сроду там не был!

— Но ведь гонение на тебя было!

А ведь и впрямь гонение было. Юсиф скрывался у ремесленников, переселившихся сюда из Грузии; скрывался в лавке христианина мясника, на двери которой висело алое полотнище с вытканным на нем Авраамом и ягненком, и это полотнище с доверчивым ягненком не раз снилось Юсифу. А потом прятался в мастерской плотника, тоже выходца из Грузии,— тот выстругал древко и приделал к нему знамя, на котором изображена была лодка. «Ноев ковчег»,— сказал ему глава мастеровых плотников.

— И потом под видом седельника,— рассказывает Ага-Сеид,— появился здесь, чтобы с помощью добрых духов воздействовать на движение звезд!

— Но я упразднил фирманом должность звездочета, как вредную для народа.

— Ты допустил, мой шах, крупную ошибку.

— Бред какой-то с добрыми духами... Я хочу с чистыми руками и ясным убеждением! Я верю в разум народа!

— Ну где у нашего народа разум?

— А мы? А наша пятерка? Вы сами, наконец!

— «Вы! Я!..» Ведь вам звезды помогли, и вы еще смеете не верить в чудо и добрых духов!

А тут главный евнух шепчет на ухо Юсифу: заговор сторонников шаха, решили помочь звездам,— ускорить расправу.

И умелый дворцовый стратег Ага-Сеид подивился мудрости Юсифа. Когда главный евнух спросил: «Но как узнать, где прячутся заговорщики?», Юсифа осенило: по доброте своей ему помогли скрыться мастеровые, привычные спасать каждого, кто прячется от властей,— они могут и теперь, когда новый шах преследует своих противников, давать убежище заговорщикам.

Сам Юсиф со стражниками отправился к мастеровым, и в лавке мясника нашли двоих заговорщиков, а третьего, самого главного, обнаружили у главы мастеровых-плотников, и вдруг раздался треск — это треснуло иссохшееся под жарким солнцем знамя с Ноевым ковчегом.

А потом Юсиф кое-какие идеи Ага-Сеида претворил в жизнь: насчет Юсифабада и шахского происхождения. И непременно опереться — хитер же Ага-Сеид! — на чей-то авторитет. Алазикрихи-асселам?

— Правда,— заметил Ага-Сеид,— он скомпрометировал себя в глазах правоверных, но мы превратим его в великомученика.

И всюду появились глашатаи: «Наш Алазикрихи-ас-селам...»

— Но кто вам позволит, Фатали?

— О чем вы, любезнейший Кайтмазов?

— Эти грубые намеки.

— Вы о чем?

— Елизаветполь!

— Вы через «Зэ», а надо через «эС», да, да, «эС»!.. Неужто и эту страницу сжечь?

— Да-с! Никто не отменял, учтите, цензурный устав одна тысяча восемьсот двадцать шестого года!

— Чугунный?

— Скажи спасибо, что мы кавказцы, в Петербурге за это без головы останешься... Запрещены, напомню тебе, материалы возмутительного характера против властей, ослабляющие должное к ним почтение! И еще, это к тебе: помещение проектов и предложений об изменениях в их деятельности. И обсуждение внешнеполитических дел.

— Друг Кайтмазов, побойся всевышнего, ведь я о временах Шах-Аббаса! Бориса Годунова! Юсиф-шаха!

«Но я не виноват,— это Фатали думает,— что со времен Шах-Аббаса мало что изменилось в деспотических странах».

— И далее,— гнет свое Кайтмазов,— бесплодные и пагубные мудрствования также запрещены! А знаешь ли ты, Фатали, что я обязан сообщить имя автора, который представил произведение, обнаружившее в сочинителе нарушителя обязанностей верноподданных. Ход мыслей! Движение сюжета! Эти реформы!.. Вот, это из речи Юсиф-шаха: «Правители провинций подобны пиявкам, которые вздуваются от высосанной крови». Очень банальная, между прочим, мысль. А вот еще: фирман о сокращении расходов двора — на пышные приемы, празднества, на содержание иерархии бездельников, чиновников, служителей культа, призванных одурманивать людей, всяких надсмотрщиков... Я не ханжа, но разве может государство без них?

— Неужто и у нас? — изумлен искренне Фатали.

— А вы шутник! Ну да, ведь комедиограф! А это? «Чтоб отныне никто не осмеливался подносить подарки ни ему, то есть шаху, ни высшим представителям власти, ни другим чиновникам, а также добиваться чинов путем неумеренной лести, подношений, семейных связей, так как чины должны предоставляться лицам энергичным, доказавшим свою честность и способность к государственной деятельности. И чтоб никогда впредь высший чин, о котором в народе ходит молва как о казнокраде и взяточнике, не был, смещаемый здесь, назначаем на другой высокий пост!» Что за формулировки?!

— Увы, ты прав, Кайтмазов (они то на «вы», то на «ты»!), никудышным оказался Юсиф-шах правителем! Знаете, что сказала Сальми-хатун Юсифу? Ведь не сдержался он, стал-таки жить со второй женой! Ну, я семейные скандалы описывать не буду, Юсифу судьба государства доверена, он поседел за эти дни, а на него с двух сторон — жены, рвут его на части. Пристала к нему дошаховская жена, мол, сыновей пристрой.

«Но они малы еще!» — отбивается Юсиф. «А ты пожалуй им фирманом провинции, старшую дочь замуж выдай. За сына турецкого султана».— «Может,— он ей,— за сына русского царя?» И умолкает жена, не зная, что ответить. А Сальми-хатун...

— Подожди! — перебивает Кайтмазов. — И насчет Сальми-хатун тоже! Я понимаю, ты не хан, не Бакиханов, не бек, не князь, как Орбелиани, и тебе, конечно, хотелось бы... И не спорь! Ни о каком равенстве сословий речи быть не может! И чтоб Сальми-хатун!.. А знаешь, чья она дочь?

— Сальми-хатун?

— Ну да, а кто же?

— И Шах-Аббас бы затруднился ответить.

— А я отвечу!.. Сальми-хатун — дочь египетского паши. Принцесса.



— Спасибо, я не знал. Мне казалось...

Кайтмазов говорил столь убедительно, что Фатали стал сомневаться, забыл даже сказать собеседнику о том, как он искал ей имя и что она горянка... Но Кайтмазов уже скакал по страницам рукописи:

— И чтоб Сальми-хатун предпочла шаху простого седельника?!

— Шаха!

— Лже!..

Фатали умолк и только собрался, вспомнив о горянке, возразить и на его недоуменном лице появились признаки саркастической улыбки, как Кайтмазов вдруг заявил такое, что Фатали и вовсе опешил:

— Молчишь? Думаешь, о тайных твоих мыслях не догадываюсь?! (тоже мне, новый Колдун выискался!) Надеешься на повторное издание? Не успели это выпустить, а ты уже о повторном мечтаешь?! Думаешь восстановить вымаранные мной отрывки? Вот я прочту тебе, а ты запиши, авось придется замещать меня: «Места, не согласные с требованиями цензуры, будучи выпущены в новом издании, делаются сами по себе лучшими указателями для приискания их в старых экземплярах, которых изъять из употребления нельзя; а через то и самые идеи, составляющие отступления от цензурных правил, становятся гласными и видными для всех (о чем ты толкуешь, Кайтмазов,— нашелся б десяток читателей!), быв до того времени для многих, по крайней мере, совсем незаметны!»

— Но дай хоть досказать, что сказала Юсифу Сальми-хатун!

— Зачеркну ведь, что зря время тратить?

— Юсиф-джан,— сказала она красавцу шаху,— скучная и однообразная жизнь у нас пошла, ни тебе казней, ни тебе пыток. Знаешь, что люди говорят? «Странно — мы не видим изрубленных на части и висящих у городских ворот человеческих тел. Не наблюдаем привычных картин, когда

палачи на шахской площади казнят и вешают людей, выкалывают глаза, обрезают носы и уши! Страшно, но зато кровь не застаивается. Новый шах, должно быть, человек кроткий...» А кое-кто, евнухи рассказывают, и не то говорит!

— Что именно?

— Не обидишься?

— Говори уж!

— Спорили: действительно ли новый шах милосерден, или это объясняется слабостью его характера? И насчет гарема тоже: или скуп, говорят, или силы не те!.. Я-то рада!

А все же она и в неудовольствии очаровательна! Но разговор такой, что впору и отрезвиться.

— Не такой уж я добрый, Сальми-хатун! Тюрьмы переполнены. Я пересажал всю знать, обогатившуюся за счет казны и взяток. Я обратил их сокровища на постройку новых дорог. Одно благоустройство столицы чего стоило! Я расширил улицы, выровнял на них ямы и рытвины, чтобы прохожие, попадая в них, не калечили себя.

Сальми-хатун зевнула:

— Скучно!

— Я открыл школы, чтобы дети учились грамоте!

— О боже!

— Я послал четырех талантливых юношей, красивых, статных, молодых...

— А кто они? — оживилась Сальми-хатун.— Ах, сыновья твоих друзей! — снова заскучала.— Да, я слышала: с армянскими караванами, которые ежедневно идут из Исфагана в Смирну, оттуда на кораблях в Марсель и далее на почтовых лошадях! И зачем послал? Жаль мне оставшихся девушек!

— В Англию и Испанию, они научатся управлять государством. Я заменил всех надзирателей, перестань зевать! в округах и назначил честных и справедливых.

— Из родственников своих?

— Я верю в их честность!

— И головой ручаешься, да? А новые тюрьмы ты строишь? Как бы не пришлось тебе пересажать и этих новых!

Юсиф подивился мудрости Сальми-хатун: она прочла его мысли!

— Я хочу...— и задумался.

А Сальми-хатун (неужто его мысли?!):

— А хочет ли народ твоего счастья? Надо ли это ему? И разве он несчастен?!

— Он же раб! Я разбужу его!..

— И сделаешь несчастным! В неведении его — счастье его! Ну что тебе стоит, Юсиф-джан! Ради меня! Устрой показательную казнь! Уж очень народ истосковался! Хотя бы вели, чтоб отрубили кому голову и воздели на пику! Ты увидишь, как возрастет к тебе любовь народа! Как станут тебя хвалить! Смотри, будет поздно, а я тебя так полюбила, ты умеешь меня всю всколыхнуть, я забываюсь и потом долго не могу прийти в себя, все нутро горит!

«Я его сожгу, этот фирман, запрещающий казни! — подумал Юсиф.— Ах, бестия: сам казнил, а мне решил руки-ноги связать?!»

Юсиф упразднил и должность палача, он сейчас главный мясник на столичном базаре, жить-то надо! Ловко разрубает — такая практика! — любую баранью тушу. Как-то пошел Юсиф посмотреть, давно не был на площади, где его мастерская: здесь сейчас рассказывают о злоключениях любимого сына Мухаммед-шаха, вынужденного скрываться от преследований Шах-Аббаса. И генеалогическое древо искусно на всю стену расписано — отштукатурили, масляной краской покрасили. И палача увидел. Тот сник и с тайной печалью посмотрел на Юсиф-шаха, даже слезы на глаза навернулись. «Что ж ты, шах,— говорил его взгляд,— на какую работу меня обрек? Бараньи туши! Мои могучие мускулы, играющие и поющие! Стоило мне

появиться на площади в сверкающей красной парче, как народ замирал, о, этот миг! И я поднимал над головой сверкающий топор, он стал, увы, покрываться ржавчиной, и в стремительной мощи опускал его, и бил мне в затылок — о, сладостный миг! — горячий вздох восторга. А то ни с чем не сравнимое наслаждение, когда я хватал за волосы и показывал шаху отрубленную голову... Чистая была работа. Одним ударом. Нет, не знаешь ты нашего народа. Ему на твои фирманы — тьфу! Кому нужна эта твоя свобода? Тебе на голову не корону, а сбрую на шею и уздечку под язык!»

«Но-но! Смотри у меня...» — строго взглянул на палача, а он — вразззз! и туша надвое.

Нет, не поверю! Вы лжете на народ! И ты, и твои евнухи! Я принес ему облегчение! Я показал ему радость свободной жизни! Я избавлю его от голода и рабства!

Фатали последние ночи долго не может уснуть. Вскакивает во сне. Это голос Юсифа! И как поседел он!

Да, да, катастрофически седеет! Юсиф? И он тоже!

— Люди, я же хотел вам добра! — кричит Юсиф. И этот крик будит Фатали, он вскакивает во сне, еще не рассвело, еще очень темно. Что же вы со мной сделали?!

Нет, это только сон!

А предсказанье звезд?

Какие еще звезды? Я призван самой судьбой!

А евнух Мюбарек никак не дождется шаха.

— Ах, какой он!..— жалуется евнуху «законная» жена.— У нас с ним был честный брак!

Глупая, как будто с Сальми-хатун нечестный! Молла был, свидетели были!

— Ах, какой он!.. Уже третий день не вижу его! Или у него появились еще какие Сальми-хатун?!

— Увы,— огорчается Мюбарек,— только вы двое!

— Ах вот как! — Она бы обрадовалась, если б Мюбарек сказал, что есть еще.

— Твой ропот противен аллаху, женщина!..— В обязанности главного евнуха входит и забота о моральном образе мыслей обитательниц гарема: никакой ревности.

А в столице тем временем начались беспорядки.

Зачинщики — уволенный новым шахом главный конюший и сбежавший от кары управляющий государственным казначейством. Главный конюший, встретившись с управляющим, спросил:

— Скажи, ради бога, что говорят жители столицы про нового шаха?

— Как будто сам не знаешь — они ненавидят его!

— Клянусь всевышним, простой народ гораздо умнее нас! Какую же мы допустили глупость, добровольно избрав в повелители седельника! Опозорили себя на весь мир!

— Такова была воля Шах-Аббаса!

— Но теперь, когда нет Шах-Аббаса, кто может помешать нам уничтожить этого нечестивца, верующего, по слухам, в переселение душ?! Удалив его, мы бы посадили на его место достойнейшего из благородной династии Сефевидов!

— А где они, достойные? Все искалечены или уничтожены. Но ты прав, надо действовать!

И они отправились к начальнику артиллерии. А что говорит начальник конницы? Он, правда, еще не уволен, но кто может быть спокоен за завтрашний день при таком сумасбродном правителе?

— Кстати, я слышал, будто вчера на общем приеме шах сделал ему выговор за то, что тот приревновал, видите ли, жену к самому венценосцу.

— Аллах с ними, но нам важно склонить на нашу сторону начальника конницы. Если он согласится, то присоединится к нам и начальник пеших войск, ведь Фарадж-

хан — двоюродный его брат и зять. И к бывшему начальнику полиции надо пойти, пусть повлияет на низших чинов полиции и уличных старшин, тоже уволенных!

Объявился и вождь воинствующих фанатиков, некий шейх, выдающий себя за святого потомка пророка Мухаммеда,— он возглавил борьбу и бросил клич: «Аллах велик, смерть шаху, да здравствует Шах-Аббас!..»

Мятежники решили в субботу рано утром окружить шахский дворец и, ворвавшись во внутренние покои, убить Юсиф-шаха.

А в это время полководец Юсиф-шаха Курбан-бек только что ступил на площадь с конной гвардией, возвращаясь с иранско-турецкой границы, где он разгромил вторгшийся в страну отряд врага.

Узнав о мятеже, Курбан-бек стал уговаривать толпу образумиться. Но куда там!.. Подоспели еще люди, и завязался бой. Обнаженные мечи, пики, просто дубинки, не поймешь, кто за, а кто против, истосковались по драке.

А тут еще народ, воодушевленный бывшими вождями — не голодранцев же, как они сами, им слушаться? Этого мямлю Юсиф-шаха поддерживать? Седельника?! Нет, народ пойдет за знатными! А раз ступил в бой народ — пиши пропало, надо бежать, покуда цел! Мятежники ринулись во дворец, выбили двери и ворвались в шахские покои. Но где Юсиф-шах?! Вот залы, вот комнаты гарема — ни души! Нету Юсиф-шаха. Исчез бесследно. Одни утверждали, что видели его во время сражения в обычной воинской одежде, он вдохновлял единомышленников и пал в битве смертью храбрых. Но среди убитых Юсиф-шаха не оказалось.

Ринулись в старый его дом, а на его месте — пустырь, и крапива разрослась густо-густо. Может, прячется в бывшей мастерской? Вернулись на площадь, а там вместо мастерской — лачуга какая-то, крыша искривилась, в стенах щели.

Среди живых Юсиф-шаха не обнаружили.

Дали волю обуявшей воинствующих мятежников страсти: народ разгромил дворец, отправился па базар и опустошил торговые ряды и постоялые дворы, даже разрушил благоустроенный Юсиф-шахом родник на площади — шах велел обложить родник синими изразцовыми плитами, и горожане, ныне мятежники, любили здесь постоять, прислушиваясь к мелодичному и чуть загадочному журчанию стекающей в арык прозрачной воды. А потом двинулись в армянский и еврейский кварталы, чтоб учинить там погромы.

Солнце закатилось, все разошлись по домам, устали, трудный день был.

А наутро главари восстания отправились в темницу Арик и выпустили всех на свободу. И главного звездочета тоже.

— Ну вот, мы вас освободили!

— Ну, кого посадим на престол? — по-молодецки лихо заговорил начальник конницы, забыв, что он-то служил Юсиф-шаху. «А мы тебя самого сейчас посадим...— хотел сказать везир, да пока нельзя! — на острый кол!»

— Скажите, ради аллаха, какой сегодня день? — взмолился главный звездочет.

И главный конюший ответил, что от праздника Новруз-байрама прошло ровно шестнадцать дней. Сердце главного звездочета переполнилось радостью.

— Друзья мои! — Что за обращение? Рассудка в тюрьме лишился? — Братья мои! Гроза, которую предсказывали звезды, разразилась над лжешахом, и опасность миновала. Да здравствует наш отец Шах-Аббас!

И торжественная процессия двинулась к дому, где прятался шах, и повели его во дворец.

Удивительное дело: и корона, и доспехи, и скипетр на месте, будто не трогал их никто. Шах-Аббас воссел на престол, только недавно им оставленный, и уже из уст в уста

передавался сочиненный опытным поэтом акростих в честь Шах-Аббаса: «Ты в сердце нашем, Шах-Аббас!»; причем начальные буквы выражали этот смысл на двух языках: фарси и арабском.

А что Юсиф-шах?! А что Сальми-хатун? Куда ж она могла исчезнуть? Ага-Сеид? Ну что вы, шах, эти бредни насчет правого сердца!

Бедой для многих обернулась столь милая сердцу Фатали прогрессивная деятельность Юсиф-шаха. И прежде всего пострадали посланцы царя, вернувшиеся на родину. Царь решил, что шах, ведя переговоры с дьяком, унизил его посольство, и пошли взаимные оскорбления и обиды... И как только в Москву вместе с Чичериным и Тюхиным прибыло посольство Юсиф-шаха, царь велел запереть послов по дворам, купить им ничего не позволил, а у ворот поставил стрельцов.

Дьяк Тюхин жестоко поплатился за то, что пошел к шаху один, вопреки прежним обычаям, и выслушивал его упреки. Было дьяку семьдесят ударов, а также клещами горячими по спине жгли.

А как же посланные на учебу в Испанию и Англию? А как посольства в страны с предложениями мира? И о тех и о других ни слуху ни духу по сей день.

Вот оно, Юсифово добро: хотел подправить бровь, а и глаз выколол, вздумал бороду отпустить — без усов остался.

Как неразумны эти звезды! Не поняли, что их обманывают! Что седельник Юсиф — лжешах!

Но как упрекнуть звезды? Им надо было уничтожить человека, который занимал престол и носил шахскую корону в пятнадцатый день после праздника Новруз-байрама, а в этот день шахом был седельник Юсиф!

«И до чего же глупы эти англичане, чуть было не за-

теяли войну с таким хитрым и коварным народом!» (фраза Фатали, которой завершается рассказ о Юсиф-шахе,— она осталась нетронутой Кайтмазовым).

Мат королю

А как обрадовался, когда открыл историческую хронику времен Шах-Аббаса, и прочел фразу о добровольном отречении шаха. Какие вспыхнули надежды. Вот он сюжет. Не насилие, не мятеж, не восстание. По доброй воле отречение от престола, развернутая система управления государством.

Программа социальных преобразований, предлагаемая Фатали: сломать деспотическую власть с ее произволом и самоуправством, разогнать тупых и самодовольных господ; возвысить простолюдина до управления государством; учредить справедливые законы и неуклонно следовать им; вытеснить просвещением и наукой суеверия и фанатизм; благо народа — прежде всего...

И такой финал!..— возмущенная толпа хватает пятерых...

Как же Кайтмазов проглядел такой явный подтекст?

А дальше пошло такое, что у Кайтмазова волосы на голове зашевелились, холодный озноб на макушке: пять повешенных!! «Ну чего ты лезешь в драку?!»

Жаль стало Фатали, все же столько лет вместе работают, сколько плова он ел у Тубу-ханум! Случалось, по ночам дежурили в канцелярии, и Фатали рассказывал, ну да, это детское: «Могу ли я разбить?..» Неверие и — а вдруг? — изумление, что может, только захоти!..

Хватают пятерых: «Отрубить им головы!» Но ведь фирман Шах-Аббаса: никаких кровопролитий! Повесить! А у Юсифа веревка обрывается! Еще, еще раз! Эй, новую давайте! Но — удивительное дело! — не успевают набросить

на голову, тончает, вся уже истончилась. И рвется... «Ты бы еще,— подумал Кайтмазов,— вспомнил: «И повесить как следует не умеют у нас!..» О, наивный!..»

Ах вот почему: звезды предвещали казнь путем отсечения головы!.. Юсиф не успел, а палач сжег фирман.

— Но Юсиф ведь пропал! — оправдывается Фатали.

— Ты думаешь, пропавшие отыщутся? И Хачатур, и Мечислав, и Александр? Что же дальше?

Воины будут биться, ораторы возбуждать к резне... новые Пугачевы и Разины... и тьма-тьмущая... как желтые пески — и не остановишь! Кричать? Посадят в крепость. Писать? Сошлют... Бить тревогу?

Да, да: преодолев высочайшие вершины фарса, выше и выше!.. и выкарабкавшись из глубочайших пропастей фарисейства, ноги скользят, а ты выползай! из фальши! фразерства! И Колдун, именующий себя порой факиром, неужто потерпел фиаско и оказался простым фокусником? Сколько лет он убил на поиски философского камня!.. А как верил, что хоть краешком глаза увидит, как возрождается Феникс из пепла (сожженных Фатали бумаг?).

О, эти фолианты доносов, до которых — сколько лет уже прошло! — так и не доберутся!

Фортуна? В фору ферзя?! Вы что, возомнили себя чемпионом, Морфи?! Он только что блеснул на шахматном горизонте как ярчайшая звезда, и Фатали, загоревшийся этой игрой (а вдруг поможет победить шаха-деспота и вернуть Юсифа?), сочиняет в загородной даче Коджори, куда он вывез семью и застрял там, ибо в Тифлисе холера, шахматные стихи: «Уж некуда отступать шаху, ему объявлен шах! Еще! И еще! Шах пленен — неужто мат?!»

О, эти нескончаемые эФ, которыми усеяно поле, а уже пора, или время не подоспело? собирать плоды! Может финики? Их привозили филистимляне и финикийцы фламандцам, фризам, франкам, фриулам-фурланам, флорентийцам, а уже близко финиш.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Обжигающее слово Фатали и бунтарский дух его сквозь проклятья фатумных фанатиков мчатся, сгорая в пути,— в Петербург! в Лондон! в Париж! в Стамбул, куда прибыл и сам Фатали! в Тегеран! в Брюссель! к огнепоклонникам!.. Мчатся, чтоб достичь финиша, когда явится к Фатали Колдун и покажет ему купленную в магазине углового дома, что в центре Каира, неподалеку от гостиницы «Вавилон», у европейского негоцианта, чьи предки — выходцы из Иерусалима, диковинную волшебную трубку, чтоб кое-что в будущем разглядеть пристальней.

Но прежде служба и наивные речи бородатых детей о том, как четверо сбежавших крестьян были схвачены аж в московском Кремле! И что царь не знает, а начальство утаило настоящую свободу! Но прежде — мундир! Он плотно облегает тело, и в нем Фатали чувствует себя как в крепости, отовсюду защищенной. Но однажды мундир чуть не погубил его.

А может, было бы лучше погибнуть? С какими б почестями хоронили! И несли бы его в гробу, как несли павших от рук взбунтовавшихся крестьян: три гроба, а в первом — полковник Белуха-Кохановский... В четвертом лежал бы он, Фатали. И глядел бы на него новый наместник — августейший сын императора... И он (не августейший, а Фатали!)... улыбается!.. Да, да, улыбка в гробу!

«Найдется же клочок земли в этом мире, чтоб взять и укрыть меня!..»

А началось с Конахкента, «села для гостей», как некогда назвали деревню, что в Кубинском уезде. О, эти кубинцы! Чуть что — бунтуют, канальи! Корни шамилевские выкорчеваны, да не везде, вот и пришлось Фатали отправляться в дорогу. Фатали — переводчик при полковнике военного отдела Белухе-Кохановском, заработок по совместительству, ибо дороговизна, а семья большая, еще родственники, они приезжают из Нухи в Тифлис, и конечно же к Фатали.

Трудный путь — через горные ущелья, над головой высоченные горы, а под ногами — где-то далеко внизу шумная, кричащая река. Но еще в Кубе полковник вызвал Фатали к себе и при жене («с чего бы здесь быть ей, Белухе-Кохановской...»), шея обнажена, такая белая и пышная! ни морщинки на лице, а над головой — корона пшеничных волос, и взгляд царских голубых глаз. «Не задерживайтесь, полковник!..» И на Фатали взгляд: «Ах, какой седой переводчик!..» — Дать знать народу! Едем наказывать! Конахкентцы в эту ночь, как сказал Фатали один крестьянин, намерены напасть и вырезать всех. «И меня тоже?» — спросил Фатали. «А то как же?» — ответит тот, будто шутит.

— И вы,— недоумевает полковник,— верите подобной глупости? Вы! Неужели не раскусили своих земляков? А еще пиесы пишете.

Ночь была тихая, звездная. А в полдень пошли к народу.

Посередине полковник и, как два крыла,— чиновники, прибыл даже адъютант его императорского высочества великого князя гвардии поручик Георгий Шервашидзе, и хорунжий казачьего войска, из Апшеронского полка, и штабс-капитан, и корнет, и еще чины. Сначала говорил выборный от народа — Мама Осман. Начал издалека:

турецкий султан, магометане, родство с кавказскими горцами, и внучатый племянник их бывшего владельца, Сафар-бек, принял даже христианство, и было объявлено от имени великого князя-наместника, что пышным их усам блестеть от масла, а брюху быть в жиру. А ты, Фатали, переводи! Это говорю я, Мама Осман!.. Мы народ темный, туземцы, вы столько стесняли и оскорбляли нас, что сердце наше переполнилось. Довольно! Мы не верим, что государь и великий князь-наместник соизволили нам выкуп определить, чтоб за волю заплатить! Покажите нам царский указ со знаменем царским: с золотой печатью и Георгиевским крестом! Это грабеж. Неужто государь так бедны, что не могут отпустить нас без платы? А то, господин полковник с длинной фамилией да коротким ростом, так и переведите! мы сами пойдем к наместнику! А нет — позвольте выселиться кому в Турцию, а кому в Персию!

Фатали потерял голос, охрип, переводя Мама Османа. «Ай какой дерзкий!.. Жаль, раньше не знал тебя, Мама Осман, вставил бы в свои звезды!..»

— Выселиться? Что ж, и выселим! В Сибирь! В кандалах!..— Откуда Мама Осману знать, о том и Фатали не ведает, что через наместника сам государь по телеграфу сообщил: мол, разрешаю, выноси приговор без суда, по своему усмотрению. «Что? Бунт?! Манифестация?! Ввести войска! И пушки!..» Телеграф телеграфом, но увлекся, погорячился Белуха-Кохановский!.. Взгреть бы его за это! Выселиться хотят? Ну и пусть выселяются. Мы сами, если знать хотите, повода ищем... спровоцировать, чтоб выслать и никогда не вернуть. Белуха-Кохановский удивлен, никак не поймет. А это так очевидно: «Избавиться от беспокойных элементов и освободить земли для поселения, скажем, казаков».

Но в это время молодой, из господ, единственный в туземной массе, что восседал на лошади как князь, бросил народу клич: «Пора!» И народ, Фатали не успел даже

рта раскрыть, выхватив кто что, кинулся на полковника.

— Что вы делаете?! — выскочил вперед адъютант; это было так неожиданно — по-тюркски, но с турецким акцентом! что народ замешкался. И по-русски к полковнику: «Бегите, народ обозлен!» Все побежали к двухэтажному дому, где остановился полковник, и толпа за ними. Раздались выстрелы. Бросились в первую комнату на втором этаже, а с ними армянин Оганес, был здесь по торговым делам и, надо же, попал в передрягу!

— Употребите свой дар! — просит полковник Фатали.

— Велите наших арестантов выпустить! Не то всех, как цыплят, перережем.

— Бросьте им ключ от тюрьмы! — приказал полковник уездному начальнику.— И отдайте приказ, чтоб казаки сняли с тюрьмы караул!

Четыре казака, караулившие тюрьму, оставили свой пост и бросились в дом, чтобы спрятаться от бунтовщиков. Опасно в первой комнате, прошли во вторую, а оттуда — в третью. А бунтовщики — за ними, вторглись в зал, убив денщиков полковника и штабс-капитана.

— Ломай все! — К дому никак не подступиться, казаки пробились в мечеть и спрятались там, потребовав, чтоб молла запер ворота.

Адъютант высунулся из окна и закричал по-турецки: «Эй, сумасшедшие, что вы делаете?! Зачем убиваете нас?!» — «Полковника выдайте! — кричит толпа.— Иначе подожжем дом!» Но как выйти? Народ стал ломать дверь, она никак не поддавалась, выломали лишь одну ореховую квадратную доску и стали стрелять: «А ну выходите!»

Подпоручик, хорунжий казачьего войска, титулярный советник, еще кто-то полезли в выломанное отверстие, и каждого, кто вышел, ждала смерть.

Навалились на дверь, выломали ее, ворвались с кинжалами — и прямо к полковнику: насмерть! Потом к штабс-капитану. «Стойте!» Но поздно: убит! Вбежал в

комнату тот, что был на коне: «А их не трогать!» Их — это Фатали, грузинского князя и армянского купца Оганеса. Они прошли сквозь толпу, потом сели на лошадей, которые были заранее приготовлены, и прибыли в дом одного из беков. А вот и адъютант наместника — и это спасло Фатали от излишних расспросов. Их держали взаперти, не зная, что с ними делать и как похоронить убитых. Бек вдруг тоже куда-то исчез, и молла заложником сидит в мечети, не с кем посоветоваться, Мама Осман как заколдованный, а тем временем прибыли две роты солдат. «...Ожесточение крестьян было таково,— писал в донесении наместнику подполковник, сменивший павшего полковника,— что они ложились по несколько человек друг на друга, чтоб воспрепятствовать команде идти вперед. Не иначе как чрез воинскую силу, которая и вступила, полумеры более неприменимы и до крайности вредны! Секли розгами при огне, и многих после наказывания уносили полумертвыми и бросали, а некоторые были в таком состоянии, что их напутствовал местный молла; а при наложении кандалов кто-то из толпы крикнул: «В Сибирь так в Сибирь! Всех нас! Всей деревней!» Решимость, с которою главный мятежник Мама Осман шел под розги, терпение при перенесении им боли могли дурно повлиять на крестьян, и, как ни тяжела была подобная сцена, я отдал приказ продолжать экзекуцию, пока не испустит дух».

Записка Фатали о предыстории бунта и докладная подполковника о его жестоком усмирении уже через неделю была в Петербурге: «Государь император изволил читать 1 сентября».

Да, кстати, а посланы «Звезды» шаху?! Царю — это неплохо, а вот шаху!.. Во всех цивилизованных государствах, помнится, все великие посылали.

Неужто сама по себе не прекрасна отпущенная жизнь? Обострить восприятие фальши! Не дать обмануть звезды!.. Освободиться от всего, что мучает и не дает покоя при

виде того, что делается на свете, этой неправды, демагогии, обмана и тупости,— чтобы жить хотя бы с чувством уважения к самому себе, что ты не раб, и не слепец, и не глухой. Всколыхнуть хотя б десяток людей, которые, может быть, прочтут то, что ты напишешь. Но почему именно ты?

И зачем тебе, Фатали, эти стихи, эти комедии, сколько их было на Востоке и на Западе! И что нового скажешь ты? И эта головоломная, беспокойная твоя проза.

А гордость? А радость, когда издал книгу? И надежды, когда просил, чтоб издали? Так уж получилось: в шахские времена вся переписка велась на фарси; при султанах турецких — на турецком, и мы лишены своей родной литературы на родном языке; а если и есть у нас свои сочинения, то это малопонятная народу смесь арабо-персидско-тюркских слов! Именно на мою долю выпала честь впервые, первым!.. На языке, понятном народу, о его жизни и его бедах!.. Этого, конечно, писать барону Николаи не надо,— но это ведь так! И я перевел свои сочинения, тоже впервые в нашей национальной истории, на русский язык!

И что же?

Неужто рука твоя не устает? Глаза не слезятся? В них будто попала соринка, хочется зацепить и вырвать, чтоб не колола изнутри; не щипчиками же, которыми Тубу создает узоры на сладких пирогах — словно зубья крепостной стены; и прочитать написанное с каждым годом труднее — и кириллицы на службе, и эта вязь, эти точки и знаки дома!.. Кто он, тот враг твоему покою, семье, близким твоим? А как он командует, наглец! Сядь, пиши, сочиняй! А ты скажи ему: «Нет! не буду! не хочу! Не забивай мне голову всякой чепухой в ночные часы! Дай уснуть — завтра мне на службу!»

И переписка с горцами! И когда при тебе их бьют, а ты не смеешь слова сказать. Отчего это? Откуда это рабье?

И разбор крестьянских жалоб, и падают ниц при виде пристава, и ты слышишь, как Али зовет Вели, а тот кличет Амираслана — весь в лохмотьях, а какое звучное имя! Эмир львов! А сам, чуть выступит шеренга солдат, готов пасть и клясться в верности! И увещеванья, когда душа горит, а уста изрекают рабье, и крик: «Эй, где ты, мой народ!..» — загнан глубоко, не пробьется наружу, чтоб всколыхнуть? И кого?! Размежевание земель в Карабахе, Гурии! Бездорожье, болезни, дождь и снег, слякоть, грязь, а ты переводи! Надо убедить тех, фанатичных, если даже твои, кому ты служишь, неправы, но непременно хотят оставить за собой и этот изгиб реки, и эти «ничейные» пустошь, овраг, холм, бугорок; и в глазах у тех негодованье: «предатель!..» «вероотступник!..» Переживания, разочарования, выбраться из удушливой атмосферы!..

Презрение невежд, фанатичные моллы! И прошения, и справки, которые поступают в департамент! Бросить службу? А с чем — к народу? И кто пойдет за ним? «Безумец! Создать масонскую ложу!» Сколько их — и бунтов! и возмущений! На одного с дубиной — десять штыков! И нищие! О боже, сколько их! Нищих, исступленных дервишей, которые по обету никогда не моются; к поясу привязан сосуд из тыквы — это и сумка, и сосуд для воды; и шкура пантеры накинута на плечи — днем плащ, а ночью одеяло; и палка с железным острием в руке — отгонять собак, и войлочная шапка с густой бахромой, ниспадающей на глаза: помеха, чтоб не смел глядеть на небо, обитель всевышнего, ибо удел смертного — не отрывать взоров от земли. И бредовые их рассказы о мучениях борцов за власть! И люди верят дервишу, заученно повторяя за ним, когда он, семижды обвязываясь поясом, состоящим из разноцветных веревок, связывает семь низменных страстей человека: себялюбие, гнев, скупость, невежество, алчность, чревоугодие и похоть, а затем семижды развязывается, выпуская на волю семь возвышенных страстей — великоду-

шие, кротость, щедрость, богобоязнь, любовь к аллаху, нравственное насыщение и истязание плоти.

Вышел Фатали однажды на балкон, облокотился на перила — Тубу затеяла уборку, вывесила ковер, почти новый, красивый, узоры так и горели на солнце, а тут — нищий старик: «Помогите, ради аллаха, дети голодают!» Жаль стало старика: «Эй, хочешь ковер? Постелишь в лачуге...» А нищий не верит. «Я тебе его спущу, а ты хватай и беги, пока жена не видит». И спустил нищему ковер. А Тубу: «Фатали, здесь же висел ковер! Куда он девался?» — «Понятия не имею».— «Но ведь ковер!» Фатали пожимает плечами: у него, мол, голова занята более возвышенными делами, чем какой-то ковер.

И эта канцелярская круговерть, этот блестящий паркет, эти яркие люстры, эти зеркала! И начищенные хромовые сапоги, излучающие свет,— у каждой пары свой скрип, и нескончаем долгий разговор: о дамах, пикниках, рейдах, вылазках, балах, званых обедах по случаю приезда принца персидского или консула османского, встречах и проводах полководцев славной победоносной армии, театральных комедиях, о примадонне Аделаиде Рамони («Вы рамонист?»), низкий тенор, фразирует безукоризненно правильно, голос гибок, а сама как хороша!.. И две сестры Вазоли («Ах, вы вазолист!..»), сопрано и контральто или, вернее, меццо-сопрано — нет еще той уверенности, того напора, который требуется от певиц, но зато какая страсть!.. Оранжереи ограблены, магазины Блота и Толле опустошены, все цветы Тифлиса собраны, связаны в букеты, перевязаны длиннющими лентами. Забыты масленица и танцы, блины и маскарады, все жаждут «Роберта», где и черти, и ужасы ада,— успех и от достоинства оперы, и от музыкальности чувствительных туземцев. Рамони и Вазоли вызывали до тех пор, пока публика охрипла и стали тушить лампы, недавно сменившие свечи. А зарево бенгальских огней? А куплеты?.. А маскарады, из коих два — с

лотереей-аллегри в пользу женского учебного заведения святой Нины?!

Пела итальянская труппа, кажется, «Норму», а может, «Роберта». Музыка то грустно-торжественная, то страстно-нежная, то разгульно-веселая. Глаза персидского принца Бехман-Мирзы равнодушно скользили по женским лицам, а сверкающий взор экс-наиба Шамиля Хаджи-Мурата беспрерывно перебегал с одного женского лица на другое, но почти равнодушно — его занимали иные думы, иная тревожила мысль. Еще до представления Фатали спросил у Хаджи-Мурата, очень ему хотелось узнать о судьбе Сальми-хатун, той беглой горянки, чью дочь Хаджи-Мурат подарил своему мюриду.

— Сальми-хатун? — удивился Хаджи-Мурат, потом, узнав о ее дочери, вспомнил и все еще недоумевал,— никак не ожидал здесь услышать такое! — Это она перед матерью так ломалась! И били ее не больно, он ведь, мой мюрид, давно ее любил, и она его любила, как же разлучить можно?! А все ее мать! Это она... как ты ее назвал? Сальми-хатун?.. Да, да, она их тогда разлучила!.. Она была опоганена браком с человеком продавшимся! Сначала надо было взять ее так, обесчестив, а потом, смыв с нее грязь, жениться! И брак был заключен!

Странные, однако, понятия о чести... То, что Фатали был нухинцем-шекинцем, как-то сразу расположило к нему Хаджи-Мурата; лишь потом, после трагической гибели Хаджи-Мурата, Фатали понял, отчего тот подробно расспрашивает о Нухе, родственниках и друзьях Фатали, на кого положиться можно.

В театре Хаджи-Мурат вдруг выпалил, пригнувшись к Фатали, и лицо его стало бледным: — Я должен быть в Нухе! Оттуда я пошлю человека к Шамилю!.. Он не посмеет убить мою семью!

— А ты бы посмел?

— Я бы? — задумался.— Да, я бы посмел. Я многие

семьи погубил. Убьет Шамиль, непременно убьет... И ваши мне не верят, я бы захватил Шамиля, пусть дадут мне войско!

Да, вспоминают в канцелярии дни, когда в Тифлисе звучали итальянские напевы. «Вытеснить итальянской оперой,— писал наместник царю,— полуварварские звуки азиятской музыки!..»

А потом Муравьев — неужто родной брат одного из смельчаков, съевших, как говорил Ахунд-Алескер, «волчье сердце», и троюродный того, кого повесили — Муравьева-Апостола?! И родной брат того, в ком спит, но скоро пробудится Вешатель... «Да, мы не из тех, которых вешают, а из тех, которые вешают!» Прибыл Муравьев, траур по императору Николаю на полгода,— какой вам еще театр? Война! Все усилия к сбережению средств и к покрытию расходов! Военных музыкантов возвратить в свои команды!.. Да, конец золотому веку тифлисской сцены!

Эти стихи, эти комедии и эта повесть Фатали — прочтет ли кто? Поймет ли? То надежда, то сомненье.

— Но я верю в силу слова,— спорил с Александром.

— Разбудить? И что дальше?! — как бы мягче сказать, чтобы не обидеть Фатали,— извини, Фатали, но эти твои комедии, эти алхимики!..

— Чему ты смеешься, Александр?! — А он вспомнил, как отец ему говорил, и сбылось! увлеченному в далеком детстве алхимией. «От алхимизма — к мистицизму,— говорил Александру отец,— далее к скептицизму, либерализму, гегелизму, коммунизму и — к нигилизму, мечтающему о терроризме!» «Как бы и ваш алхимик туда же не кинулся, Фатали!..»

Но прочтет ли кто его сочиненья? Поймет ли? И эта вязь, эти изгибы линий — напрягай память, поймай смысл, который уходит, уползает, как ящерица, никак не схватить, вся интуиция на помощь! И он никак не отцепится от крючков. Каждая буква цеплялась за одежду, волосы,

кололась, жалила, царапала. Чтоб вырваться — оставь клок одежды, и клочья треплются на ветру... Это был давний детский страх, когда Фатали учили арабскому. Алиф — лишь одна палочка, но вдруг, будто в отместку, алиф изгибал голову, похожий на змею,— резко выбросит вперед и вцепится ядовитыми зубами в руку.

Сколько нелепостей в шрифте, в этом письме, не приспособленном к тюркским языкам. Точка выпала или чуть сползла, и тогда «шедший в пути» — «умер в пути».

«Не трогай это письмо! Не трогай!.. На нем священный коран! Тебя забросают камнями, несчастный!..»

Упростить и облегчить! Но почему именно ты? Честолюбие? Чтоб о тебе как о первом заговорили?! Не трогай это письмо!.. Тебя проклянет исламский мир!..

Нанизывая смысл на смысл крючками-закорючками, сцепляя их, каждый будто соревнуется с другим по витиеватости написания; но если перевести на графику европейских языков, ни один лист не уместит, и здесь нужны упрощения, чтоб тяга к выкрутасам словесным не затемняла смысл. Боже, сколько слов, целые караваны, выстраивающиеся часто для того, чтобы пощеголять ученостью.

И сколько ночей, понапрасну потерянных, ушло у Фатали на то, чтобы придумать новые штрихи и черточки, приведя к единству звук и его плоть, предложить — и все во имя образования народа! — знаки восклицания, вопроса, утверждения, сожаления, раздумья, незаконченности мысли, когда автор желает не все досказать и что-то оставить на размышление читателя; и многоточие в начале, если прежде была прервана мысль или предполагалось наличие какого-то начала, и многоточие в конце; знаки, выражающие законченность мысли,— ведь точка может быть воспринята как спутница черточки, обозначающей букву.

А потом докладная записка начальнику дипломатического управления канцелярии наместника Лелли, просьба послать свой проект улучшенного арабского алфавита пра-

вительству Ирана и в Турецкий диван. Ускорить непременно процесс образования народа.

Новые люди, новые имена, письма, прошения, записки Крузенштерну, влиятельному Аскерхан-беку (мало ему хана, еще и бек!), переводчику при русском консульстве в Тавризе, даже продавцу шелковыми платками,— маленький человек, но вхож во дворец! и мучтеиду, очень тот расспрашивал о беглом главе мусульман-шиитов Феттахе, а алфавит для просвещения народа — лишь повод, чтоб выведать о беглом.

И Бутеневу, главе посольства в Константинополе, может, он поможет? И еще, и еще письма, экземпляры проекта: «Надеюсь, что мое истинное желание добра народу...»; «...через вашего генерального консула в Тифлисе Мирзу Гусейн-хана...»

О! Гусейн-хан!.. А вы, оказывается, мастер интриг!

— Это политика, а не интриги! — как-то сказал Гусейн-хан Фатали.— И вы не станете отрицать, что моя верность престолу шахиншаха...

— Да, да, а как же? И исламизму, вы часто это говорили!..

— А раз так...

— То дозволены все средства, да?

Фатали пишет и пишет: и в шахиншахский меджлис, и в высокий диван Блистательной Порты: «...единственная моя корысть — грамотность мусульманского народа»; а в Порте этого слова и не знают, а шах впервые слышит! И новые экземпляры проекта — в институты по изучению восточных языков, в Петербург, Париж, Лондон.

И зреет идея: поехать самому; уже взрослый брат Тубу Мустафа, моложе Фатали на много лет, не напишешь же как есть: родственник, мол, знает много языков, может заменить в случае командировки,— надо непременно поехать в Стамбул!

Мирза Казембек — известный востоковед, с чьим мне-

нием считаются в столице, принял христианство (католицизм!.. еще в далекой юности, в Астрахани,— такая радость шотландским миссионерам: поколебали веру Казембека). И Фатали пишет ему: много слышал о вас, я написал и посылаю вам несколько пьес в стиле европейцев из жизни мусульман — земляков, может, скажете, дерзкая идея, но ведь кто-то должен начать первым!.. посылаю и повесть, на родном еще не публиковалась,— непременно узнать мнение об алфавите!

«Мсье Тимофеев, вы исполняете в Турции ту же должность, что и я в Тифлисе, узнайте, как там в Диване с моим проектом?» И ему — книгу комедий на русском, «увы, не на родном тюркском!..»

«Конечно, я не доживу до того времени, когда мой алфавит, это революция в мире Востока! победит, но что это будет так, я не сомневаюсь!» — писал Фатали академику Дорну. И окрыляющий ответ Дорна: идея встретила поддержку.

А вокруг комедий и особенно повести — недовольства. Началось с того, что каждый раз, проезжая через Шайтан-базар, мимо лавок, Фатали стал замечать колкие взгляды; а один лавочник, краснобородый от хны Мешади, прежде Фатали его не замечал, стал резко вскакивать с места, отчего конь однажды чуть седока не сбросил. Низко кланяется, почтение, а во взгляде дерзость: «А мы твоего коня и вспугнем!..» И, вскакивая с мягкого сиденья,— всем телом наружу: «Здрасте! мол, я твой герой и вам мое почтение!» И хихикает, обнажая золотые зубы, дороже головы. «Что ж ты, Фатали, измываешься над своим народом?!» Шустрый такой лавочник, другие побаиваются Фатали, а этот — не очень-то, хотя и Мундир... «Разве армяне о себе так напишут? А грузины? — это он вслед Мундиру, неужто и он, с той поры, как началось, иногда лишь Мундир и видит? — Ты посмотри: ни один слова дурного о своих не скажет. А русские разве над собой... Гоголь?! А ты

попробуй попроси, чтоб перевести разрешили». Будто не Фатали, а он, этот лавочник, якшается с Кайтмазовым!

А Кайтмазов, узнав о намерении Фатали, сочинил — служба прежде всего — секретное донесение Никитичу, прося разрешения отказать Фатали: «...чисто с цензурной точки зрения, конечно, и речи быть не может о каких-либо препятствиях к изданию какого бы то ни было перевода «Ревизора». Но в данном случае нельзя не обратить внимания... наша жизнь представляет очень неприглядную картину, горькую для нас... для какого-нибудь татарина она дает не только пищу, но и побуждение к появлению и без того враждебности... под личиною почтения едва ли не кроется злорадный предлог к осмеянию».

— А «Горе от ума»? Мы с вами вчера ходили на спектакль, ой как вы переживали!.. «Вот бы нам на Востоке,— сказали вы.— Ну, что толку в переводе? Где вы его поставите?..» А ведь правда — где? «Сунешься,— думает Кайтмазов,— а я на тебя новое секретное!..»

Что ж ты выставляешь нас на посмешище? Из любви? Ничего себе любовь... А в нашем народе столько доброго! И почитание старших, и терпение, и послушание властям. Уж кому-кому, а не мне об этом тебе, наместническому чину.

Наконец-то! Прибыл из южной державы высокопоставленный муж по пути в Европу, Абдуррасул-хан, остановился у консула Али-хана, через которого Фатали посылал свой проект. Пригласили Фатали.

— Как насчет моих идей? О реформе алфавита и просвещении народа.

Лицо у того вытянулось: — А я впервые слышу!

— Да как же?

— Я не получал! — а в глазах ложь.— Не будете ли так любезны прийти и почитать? Очень вас прошу!..

«Может, и впрямь затерялось»,— думает Фатали.

Пошел к нему вечером, а перед послом бутылка водки

и рюмки, Фатали отказался, а тот слушает его и рюмку за рюмкой пьет и закусывает. Хмель ударил в голову, ведь непривычно, только-только к водке приобщается. Глаза осоловелые, как у барана, а тут вдруг заявляется слуга: «Абдуррасул-хана зовут»; прямо обращаться — непочтительность. Он тотчас вскакивает и бежит. «Проститутку к нему привели!»

Через полчаса заявляется расстроенный. «На чем вы остановились? Я вас слушаю». И консул с ним. Сладкохихикающее лицо, ни тени стыда! «Я стану читать тому, чья душа светла, а голова ясна! А у вас ни то ни другое и душа трепещет от встречи с проституткой!» Консул тут же на помощь к хану: «Не сердитесь! Вы правы, уж простите, в другой раз прочтете!»

Да, тут не до просвещения народа. Надо непременно самому поехать в Стамбул...

Фатали обратился с просьбой о поездке в Турцию для обсуждения в Академии наук Оттоманской Порты проекта алфавита и сочинений.

— Вас, царского чиновника, в Турцию? Да как можно? — у Никитича лицо ничем не примечательное, такого в любой канцелярии встретить можно, никаких особых примет.

О, Никитич!

У него обширное, шутя говорит он, и то не вслух, хапство, а речь о досье, и ни одна душа в них не обойдена — ни живая, ни мертвая, и на Фатали тоже копится.

И о настроениях мусульманского населения, это досье пятое, с него — параллельно с Ладожским! — Никитич начинал; и о выезде из Турции эмиссаров с секретными поручениями, и о переселении русско-подданных мусульман в Турцию; и о выдаче иностранными государствами русских преступников; с год, как передали Никитичу после Ладожского досье второе — сначала временно, а потом насовсем: донесения о волнениях среди населения Закав-

казья и Дагестана; и тут же, рядом, сведения о приведении в повиновение непокорных народностей и племен.

Для Никитича папки эти как живые — царские рескрипты и отношения министров к наместнику о проведении рекомендованной ими политики при управлении вверенным краем, указы правительствующего сената; и рядом — пухлые, в гладких переплетах, прохладных и крепких, папки: об отдаче в солдаты крестьян за преступления, ссылке горцев в Сибирь, выселении евреев из Грузии; и переписка о контрабандном провозе пороха турецкими жителями и торговле горскими невольницами,— преемник почему-то завел на них одну папку, а у Никитича руки не доходят, чтоб развести порох и невольниц; закроют Никитичу глаза, играя с ним в его любимую игру жмурки, он без труда отыщет досье одна тысяча сто пять — о наблюдении за иностранцами, приезжающими в Россию, не всю, конечно, а в пределах подчиненного Никитичу края, и хотите верьте, хотите нет — достанет из досье семнадцатого, благо оно рядом, но разве догадается кто? постановление о высылке из Петербурга студентов-кавказцев на родину за участие в студенческих «буйствах и волнениях», тех самых, кем ты восторгался, Фатали! Неразлучные друзья Илья Чавчавадзе и Акакий Церетели. И еще один листок, по-грузински. «Вы что же, Никитич, и грузинский изучили?» — «А то как же!»; листок, рукой Ильи, очень ценный автограф, но как он попал к Никитичу? Но это в плюс бунтарю-студенту: «Видите, я объективен!.. Я перевел эту запись так: «Грузия обрела под сенью России покой. Эти вечные войны. Этот великий страх перед неумолимыми врагами. Разорения и опустошения. Эта распятая на кресте Грузия!.. Отныне все! Отныне конец!..» — «А ведь прекрасно перевели, Никитич!..»

Писарь Никитича по наблюдательской части завел алфавитную картотеку на этих бунтарей-студентов, на «Цэ» — Илья и «Чэ» — Акакий, «извините,— лицо писаря

покраснело,— Цэ Акакий и Чэ Илья!» — не очень далеко друг от друга в этой картотеке, и к каждому надо здесь глаз да глаз; досье Акакия тоненькое, никак не наполнить («конспирация?»); и о жене из Петербурга никаких вестей не поступает: как она там, без мужа? и что за семья? клочок бумаги, на котором воспроизведен диалог их человека и Акакия: «Служить?! Ни за что — стихи и есть моя служба». «Плохо работаете!» — внушает своим людям Никитич... Но зато досье Ильи очень занятное: и о землячестве в Петербурге (касса, библиотека, устав, товарищеский суд), и о посещениях салона Екатерины Дадиани (сестра Нины)... «высочайший рескрипт» — «добровольное» ее переселение в столицу; и передача ею Илье альбома Бараташвили; и посещения летней резиденции в доме Багратиони в Царском Селе; прислали, редкий экземпляр, в рукописи, сборник на грузинском, составленный в Петербурге, а там... о боже, сколько дерзости, ереси, бунтарства... специально перевели строка в строку... куда цензура смотрит?! инородческая литература в самом центре — кому она страшна? вот если бы в Тифлисе!.. перерезать дороги, чтоб ни одна строка не просочилась! Вот они, «испившие воды Терека»! у татар — Аракс, мол, та и эта сторона, а у этих — Терек, мол, по ту сторону, в России, значит, испили воду, а в ней — бунтарские микробы... и ценнейшее донесение — о встрече с Чернышевским. Да-с, толстенное досье, и их, Фатали с Ильей, разговор. Илья юн, а Фатали вдвое старше. «Приехал? Изгнали! Мошенники!» — и показывает рукой на север; и еще фраза Ильи: «Вот я, председатель общества по распространению грамотности среди грузин. Но что я могу?» (стоило ли подслушивать? но как знать... надо ж послушать, о чем толкует этот юный член комиссии по урегулированию отношений между дворянством и крестьянами в связи с реформой, князь Чэ!).

Но нет — шпик-раззява, проглядел...— не воспроизведено: об обыске в Петербурге, когда были найдены портре-

ты Герцена и Бестужева, перевод на грузинский «Марсельезы». «О, Петербург!.. Как у вас, мусульман? Тонкий как волос и острый как меч мост над адом,— и он, Петербург, для меня волосок, который судьба, точно мост, перекинула между тьмою и светом!»

Есть еще студенты, бывшие, большей частью грузины и армяне, татар, слава богу, нет, смирные, двое только, да и то один с горской, другой с персидской примесью,— успокаивает себя Никитич; тем, из грузин и армян, кажется, что у них конспирация на высочайшем уровне, а писарь на каждого завел карточку.

Особо любимая Никитичем полка — с русскими книгами, время от времени он очищает ее, сжигая лишние книги в печи, а ведь мог бы какие большие деньги заработать,— цена на них нынче немалая, чистым золотом платят,— русские книги, изданные за границей, они присланы сюда, в цензуру, из Тифлисской таможни, Батумского таможенного округа, Потийской таможни, Редут-Калесской карантинно-таможенной заставы. Редкая коллекция у Никитича... Из тех, что задержаны, и из тех, которые цензурой зарезаны.

Кое-какие из задержанных на таможне книг Никитич перелистывает, даже пересказывает иногда — искренне, без капканных целей — в кругу высшего офицерства, однажды и Фатали слышал: «До чего же наивно, ведь о нашей жизни они не знают, ну, год-другой старые обиды выплескивают в книжонках, а дальше что?!» И оглядывает собеседников, может, кто что скажет? А они молчат, ждут: что же дальше? «Ну и шайтан с вами, не хотите поддерживать беседу, не надо!» Уходит в тир, здесь он, под канцелярией, в просторном подвале, постреляет в чучела горцев, похожих на Шамиля, и отведет душу. Любит Никитич и штыковой бой — неподалеку на пустыре за казармами тоже чучела горцев выставлены,— «коли!..» Для солдат свой, а для офицеров — тоже свой, так сказать, майдан.

А потом пригласит Фатали, задание ему, для рассылки среди горцев новые грозные правительственные прокламации перевести, весьма срочно!

— Но поездка очень важна. Мой проект... Если его примут, это же переворот в мире Востока! И он на пользу нам,— внушает Фатали.

«Проект? Переворот? Или Восток?» — ухмыляется Никитич.

А Фатали, увы, еще не научился читать мысли.

— Исчезнет вражда к иноверцам, вернее, иноверцев...— запутался Фатали: есть и то и другое.

— не думайте, Фатали, что я забыл, как вы провалили дело с турецким генконсулом!

— а вы расскажите, как свою коллекцию книг пополняете! как вам полицмейстер или его доверенный пристав, составив акт о сожжении вредных книг, по экземпляру крамолы дарят!

— дарят?! — Никитич вспомнил про свою тетрадочку, куда заносит каждую приобретенную книгу и — за сколько рублей серебром.

— ай да стражи предержащей власти!.. а можно заглянуть в списочек, что вы передали Кайтмазову, когда он в Санкт-Петербург поехал? кстати, есть у вас там «сплетни», переписка жителя луны с жителем земли.

— не морочьте мне голову,— не верит Никитич, что есть такая книга,— мы поручали вам установить с ним контакт!

— с жителем луны?!

— повлиять!..

Фатали еще в пору наивных иллюзий понял это задание как вполне естественное стремление царского правительства установить через него более тесные и друже-

ские отношения с Портой. «Может, и с шахским консулом тоже?!» «Нет, нет! — сказал Никитич.— Только с османским!» Ах вот почему! Ну да, шах уже не опасен!

— а я разве не установил, не пытался внушить? но вы захотели немыслимого! вы хотели обратить его в нашего шпиона!
— а разве это не конечная цель?
— но надо быть круглым идиотом, чтобы думать, что достаточно подачек и двух-трех слов, чтоб все стали вашими шпионами!
— вы расстроили наши планы, и этого я вам не прощу!
— я рассказывал ему о том, что под эгидой новой власти исчезла межплеменная рознь, развилась торговля, открылись, пусть это пока не совсем так, школы, вот я стал драматургом... но выполнять постыдную роль! нет, никогда!

— Не просите, Фатали, моего согласия вы не получите!
— Недоверие?
— Ну что вы! Как можно-с? В ваших же интересах, вы этих турков не знаете.

«Твое будущее — мое настоящее, Фатали...» Ему не верят...

И много бумаг он порвал, прежде чем решился написать главному над Никитичем.

«Так уж получилось, глубокочтимый...— и выводит рука имя-отчество; как некогда выводила рука имя его отца в поэме — ...что в трудную минуту я обращаюсь к вам...— это впервые, но пусть думает, что уже не раз помогал.— ...В большой и славной нашей канцелярии свыше двадцати лет, еще со времен...»

Неужто вспоминать всех? И барона Розена, и Головина, и Нейгардта, и Воронцова, и Муравьева, и Барятинского?

А его, может, и вовсе не упоминать? Не очень благоволит к нему новый наместник — тот странный какой-то. Эту странность замечал за Барятинским и Фатали: когда надо было выступать перед офицерами наместничества, конфузился, краснел, обливался потом. «А я застенчив,— как-то признался он, и Фатали случайно услышал,— не могу говорить...»; нет, непременно назвать — шутка ли: покорил Шамиля! И вспомнил плененного Шамиля — как изменился... Но не успел вглядеться в него, как грянуло «ура!», Шамиль вздрогнул, а генерал, идущий рядом: «Это в вашу честь!» — перевели Шамилю, личный переводчик генерала. А Шамиль вдруг, и такая усталость во взгляде: «Надоело воевать. Даже мед опротивеет, если его часто есть...» (Фатали не расслышал, но эти знаменитые слова Шамиля потом передавались из уст в уста). Нет, надо непременно назвать и Барятинского! «...и вы, Михаил Николаевич...» И о важности поездки. И о праве гражданина империи. И о государе тоже (к чему? но ведь не о Николае же! «Тиран мертв!» — кто-то в канцелярии, но на него так глянули, что исчез, и по сей день неведомо, где он; о новом, с которым так много надежд связывают. Тиран и надежда, тиран и надежда — как маятник!) И об отказе Никитича. В зту минуту Фатали искренне верил в то, что пишет. Еще иллюзии? А ведь развеялись пеплом... Но он должен непременно поехать. Это его долг перед своим народом. «Получается довольно странно: с одной стороны, мне доверены важные государственные задания... воззвания к горцам... обращения государя императора, а с другой, зти прямо-таки унижающие мое достоинство гражданина меры предосторожности!»

Мелькнуло в Фатали, но — как и многие иные мысли — не записал, а они собрались в облачко, и вот оно плывет над Метехом, стремительно тая: вы хотите знать, что я ненавижу? Вспомнил, как в келье Шах-Аббасской мечети в Гяндже Мирза Шафи спрашивал о его любви и его нена-

висти, и он не мог ответить, юнец. Ненавижу тюрьму, выдающую себя за свободу! А что люблю? Неужто лишь свободу передвижения, чтобы, надышавшись на чужбине, снова вернуться в тюрьму?

И облачко плывет одиноко на синем небе и тает, растаяло уже.

Никитич — лицо его, как всегда, ничего не выражало — выдал паспорт, была получена виза, Фатали уехал в Батум, а оттуда в Стамбул. В Стамбуле никто из посольства не встретил.

— Мы депешу о вашем прибытии получим завтра.— Лицо у полковника Богословского, приставленного к Фатали, доброжелательное, а в глазах недоверие: «А ну с каким тайным умыслом прибыл в эту враждебную нам страну?!»

Высокие железные ворота и мраморные колонны. Посол в огромной зале скучал. В коридорах пусто, будто вымерли. «Каторга!» — признался Богословский, молодой, но уже полковник.

Первые дни жил в посольстве. Поздно придешь — косится дежурный: «Где он, турка, шляется?!» А потом переехал жить к давнему знакомому — послу Ирана Гусейн-хану. «Как? Быть в Стамбуле и не жить у меня?!» — обиделся Гусейн-хан.

А как Фатали радовался, что едет в Стамбул, где есть добрая душа Гусейн-хан!.. Какие ему Тубу пловы готовила, хотя и призналась как-то Фатали: «Хоть убей, не верю в его искренность! И в сладкую его улыбку!» — «Ну что ты,— пытался ее разуверить.— А сестрам как он помог, ты забыла? Именно он, я убежден, добился для сестер пенсии! Шах ему ни в чем не отказывает».

Поди знай, что у консула в Тифлисе Гусейн-хана далекие насчет Фатали планы! «Увы,— сокрушался потом Гусейн-хан,— негодным человеком оказался Фатали, богохульник и враг иранцев, верных своему шаху». А Тубу



просит, опять за свое: «Не живи у него в Стамбуле!» Оказалась проницательней его. «А ты верь каждому! Поседел весь, а ребенок!»

А у Фатали в Стамбуле горячие дни — визиты и визиты! К министру иностранных дел Али-паше, подарил ему «Комедии» и проект, к премьеру Фуад-паше, вручил ему оду, так положено в восточных дворцах. «Меня не знаете, а уже расхвалили, чем больше лжи, тем приятнее, не правда ли?» Фатали улыбается: «У вас хороших качеств еще больше, просто мой язык бессилен это выразить!» Оба хохочут. «Проект дадим на обсуждение научного общества». Кофе и чубуки! Зашел министр торговли. «Изобрел новый алфавит?!» — и смотрит удивленно, будто на диковинную птицу. Премьер постоянно чему-то улыбался. «Позовите Шахин-бека!.. Мой адъютант... Знакомы?» — «Нет».— «А он, между прочим, ваш земляк!» Ну и что? — подумал Фатали. И чего это вы постоянно улыбаетесь? Присматривается, не лазутчик ли?! Полковник Богословский поднялся, пора уходить. И премьеру тоже — комедии. И советнику посольства Ирана в Турции. «Знакомьтесь, Мелкум-хан!..» Ах вот он какой, знаменитость, масонские ложи!.. От растерянности — ведь сблизились письмами — и слова сказать не могут: ни Фатали, ни Мелкум-хан.

И еще, и еще книги: главе отдела сношений с зарубежными странами османского правительства Муниф-эфенди, ему поручено возглавить обсуждение проекта алфавита, а он, когда пять лет назад Фатали прислал сюда проект, задумал было присвоить идеи Фатали, выдав их за свои, и даже обсуждались они!.. (Выходит, именно так обставит это дело обсуждения Муниф-эфенди, идеи блуждают по миру, и Фатали — один из реформаторов). И старшему переводчику, и бывшему премьеру... Все запросто зайдут, выйдут, кофе, чубуки, министру юстиции, послу Греции, еще каким-то людям, даже главе стражников. И бывшему послу османского правительства в Петербурге. И маршалу

Абди-паше. Позднее вспомнит о нем Фатали, когда узнает, что тот возглавил заговор против султана. А потом вдруг подходит к Фатали молодой красивый юноша; «из султанского рода»,— успевает шепнуть ему на ухо Богословский. «Я много о вас слышал и мечтал познакомиться!» — как не подарить и ему книгу? «Не забудьте мне оставить!» — говорит Богословский. «Да, непременно! И я еще обещал, в Тифлисе просили, передайте, пожалуйста, немцу, Вольф, кажется, имеет богатую библиотеку восточной литературы».

И вот обсуждение. Все-все запомнить! И это — отсталая Порта?! сын бывшего вали Эрзрума, молодой красавец, из армян Аванес-бек, из греков Александр-бек, еще французский тюрколог. «Мы тоже,— говорит француз,— пытались, как вы, на манер европейских языков, да не осмелились!»

«Слова наши, а буквы русские!..» Но это потом, а пока Фатали объясняет свою арабо-латинскую смесь. А грек — вовсе не грек, а из арабов: «Халифат да халифат!..» Председатель на грека-араба часто поглядывает, мол, довольны (?!): «Мнение нашего собрания мы выскажем вам официально». «Положительное или отрицательное?» — интересуется Фатали, хотя уже задумал иное — полнейшую замену, без половинчатости! «Не обидим вас!..»

Пригласили к премьеру, но велели подождать: еще не вышел из гарема.

Улыбка у премьера как приклеенная, но появилась во взгляде озабоченность. Не ведал Фатали, что посол Ирана Гусейн-хан прошлой ночью прочитал повесть о звездах и рассвирепел: ах вот каким видит его гость шахиншахский престол!.. И реформа алфавита! Да ведь он наш враг. А мы думали — свой человек в стане царя! И орден ему «Льва и Солнца»! А ведь он и против царя, слепы, что ли?! Ну, я твою кровь попорчу, Фатали!» А виду не подает: та же сладкая улыбка, и разбегаются от глаз к вискам лучики счастья.

И — нашептал премьеру и председателю общества.

— А я слышал,— говорит премьер Гусейн-хану,— вы одобряли.

— Я?!

— И даже приютили его! — С удовольствием премьер насолил бы чванливым персам, а прав шахский посол насчет ереси; но и с царским двором не следует ссориться. Одобрить — персов обидишь, не одобрять, отказать... А что думает мой министр иностранных дел? А у Али-паши зреет план, и кое-кого из министров он уже завербовал: свалить премьера и занять его место, что вскоре и случится. Верное дело — тянуть. Нет, принять проект не отказываются, но такое потрясение эта реформа, такой взрыв. И за смелость даже медаль ему вручают, а Фатали — вот и поощряй дерзость! — уже в новой стихии: изменить в корне, на манер европейцев, так удобно: слева направо, четкое чередование согласных и гласных.

Еще у Фатали дела? И какие же? Богословский удивлен, но и рад, что оставят его в покое, у него своих забот ой-ой сколько. Надо ему кое-что выведать, зреет заговор.

Земляк Али-Туран... К нему! Фаэтон ехал медленно, застряв на улице: шла манифестация, медные трубы, барабаны, знамена, чествовали оттоманскую султанскую пехоту. Али-Туран бежал в разгар шпиономании, лет двадцать уже минуло, а может, и больше. Одно лицо с Гаджи-Юсифом (с кем Фатали к Шамилю ездил); ему казнь, а этот — по стопам Гаджи-Юсифа, успел и на дочке султана (их у него десятки!) жениться. «А это мой сын Фазыл». Вошел стройный рыжеволосый парень. «Учится в Оксфорде!» От соединения карего и иссиня-черного, шекинца с каштановыми волосами и турчанки из султанского рода получилось рыжее-рыжее, будто солнце на голове горит.

И все началось с этого парня. «Хотите советоваться с учеными султана? Это же ретрограды! И премьер тоже!» «А ты откуда знаешь?» — Отец недоволен. Сын промолчал.

А в следующий раз, как остались вдвоем, Фазыл Фатали: «У вас горцы были, как сражались с деспотом!.. Я в Лондоне такое о вас читал!..» Фатали молчит, будто давным-давно знает этого парня. Вошел отец. «О чем вы тут без меня?» — «Я хочу с товарищами своими познакомить нашего гостя». Уже договорился, оказывается, нечто вроде общества. Мирза Мелкум-хан? Но нет, похожи только: почти одинаковые глаза и усы, только шрам на лице во всю щеку от виска до подбородка.

Фазыл привез Фатали на окраину Стамбула к Греческой стене. Ведь здесь неподалеку живет и Мелкум-хан!.. Нет, не знают. Зашли, никого нет, какой-то бритоголовый с квадратным лицом турок. Вскоре раздался выстрел. «Это он!» Выстрелом из револьвера Кемал Гюней извещал о своем приходе, когда знал, что в доме его ждет гость.

— А, вот он, твой земляк! Из России? — чуть-чуть говорит по-русски.— Я и по-польски могу! Из беглых повстанцев, с царем воевали, «Казак-алай», сам поляк, а зовут Садык-паша, мы с ним бок о бок сражались!.. Ну, а вы? Революционер? По мне, все живущие в России или рабы и деспоты, или революционеры.

— Вот как...

— Да, середины нет. Я воевал в ту Крымскую, был у вас в плену, потом меня выменяли.

— А это ваши картины? — Стены были увешаны рисунками. И везде воины: на лошади, с винтовкой, у пушки, идущие в атаку.

— Это забава.

— А что настоящее?

— Настоящее? — задумался.— Середины нет, я говорил вам!

— А что вы знаете о революции?

— Мы учились у вас, и мы свергнем деспота султана!

— Так и свергнете! С этим револьвером?

— Нас много! Скажи ему, Фазыл, о ликовании!

То был народный праздник на площади в порту. И там пел Кемал Гюней!

— Он пел однажды на площади и когда кончил, народ возликовал, волна восторга будто по затылку моему ударила.

Будь Фатали Юсифом, он бы вспомнил уволенного палача. Тот тоже Юсиф-шаху о волне народного восторга говорил, когда топор разом отсекал голову.

— Для начала я вам спою свои песни,— взял со стены саз,— о моих предках с Кавказа, слыхали об Ашик Гарибе?

Как не слыхать? Еще в тридцать седьмом Лермонтов со слов Фатали записал сказку об Ашик Гарибе... Кемал Гюней пел свою песню хриплым голосом, чуть прикрыв глаза:

Вышел деспот из крепости,
А я топор точу-точу.
Ах шея, как она толста,
А я топор точу-точу...

Удивительно: и здесь о топоре!

— А я тебе нашу песнь — о кузнеце (это ему Александр прочел). Шел из кузницы, нес три ножа: один нож — на вельмож, другой нож — на святош, а третий — как у тебя топор: на царя!

— Ну вот, выходит, не я один.

— Увы, того, кто пел о ноже, царь повесил.

— Всех нас не перевешаешь! — дерзко смотрит Кемал.

— Вы поэт, вы художник, вот ваша борьба, Кемал Гюней! Кто вас поддержит? Нация спит, ее надо еще разбудить. Вас переловят и убьют.

— Ничтожна та нация, у которой нет людей, готовых за нее погибнуть. Мы погибнем, и народ пробудится.

— Идти на заведомую смерть, зная о крахе?

— Мы будем биться, и вы к нам на помощь не придете.

— Нам самим некому помочь! Но вправе ли вы...— это давние мысли Фатали.— Вы первый художник и первый революционный поэт в Турции, имеете ли право рисковать жизнью?

— Но нации нужны люди, готовые идти в бой. Даже в Иране, бабиды!

— Они играли на невежестве масс,— поясняет Фатали,— и их вождь Али-Мухаммед-Баб выдавал себя за нового пророка, в ком воплотилось божественное сияние.

— Но за ним шли массы, пусть обманутые, но шли.

— Обман порождает обман! Но кто пойдет за вами? Чем вы привлечете массы? Какой новый пророк? Армия поддержит? Крестьяне? Они первые, темные и невежественные, выдадут вас (и вспомнить бы тут, как выдали Али-бека, но долго рассказывать о нем Кемалу).

— Так что же? Ждать, терпеть, молчать, когда стражники султана грабят народ? Когда фанатики рта не дают раскрыть? И невежды вдалбливают в головы правоверных путаные предания?

Фатали вздрогнул: его мысли! в нем зрело! Но поначалу он опасался даже признаться самому себе в дерзкой этой мысли: вскрыть вопиющие несуразности проповедей! Этот вздор о вездесущем и всевидящем двенадцатом имаме, который явится в судный день!

И Кемал потрясен: как же с языка сорвалось такое? И он спешит сказать, хотя в глазах Фатали нетрудно прочесть восхищение смелостью Кемала.

— У нас в Турции за эти сомнения могут забить камнями, в Иране, я знаю, вырывают языки, некогда в Европе сжигали на кострах!

А Фатали может поклясться, что он услышал, как внутри кто-то сказал; он приказывал и прежде: «Бери перо! сядь и пиши!..»

— Да, когда-то и я посмел,— с благодарностью глядя на Кемала, говорит Фатали,— усомниться в справедливо-

сти всевышнего, который снисходил до того, что посылал архангела Гавриила к пророку, чтоб помогли ему распутать любовные интриги. И имел счастье высказать сначала сомнения учителю своему, Мирзе Шафи. Он и говорит мне: «В этом, между прочим, усомнился и Алазикрихи-асселам! Не знаешь, кто это? О, это был великий человек, и с именем его связана Реформация на Востоке, я тебе когда-нибудь расскажу о нем!»

— А сейчас? Посмели б сейчас? — недоверчиво спрашивает Кемал.

— И посмел бы, и посмею! — и задумался: «Мало, мало «Обманутых звезд»! что толку говорить о современности через историю? Надо напрямую!»

И ясно звучит голос Мирзы Шафи: «Очнись, Фатали, шарлатаны и лицемеры заполонили мир, все ложь и обман, и нет более высокого призвания, чем клеймить и развенчивать их острым словом. Не дать им усыпить народ. Не дать им превратить людей в послушных овец...»

Келья гянджинской мечети, построенной во времена Шах-Аббаса, откуда выйдет Фатали, а следом — Юсиф, чтоб занять, увы, ненадолго, шахский престол, а в келье — Фатали да Мирза Шафи. Еще нет ни тифлисской канцелярии, ни Боденштедта, который кое-где на строках, будто стебельках роз, оставит шипы, обласкает сограждан сладкими звуками песен Мирзы Шафи, — еще ничего, ничего нет, только начало! Фатали напишет главное свое произведение. Он заклеймит закоснелые религиозные догмы, которыми деспотические власти держат в повиновении массы.

— Не обижайтесь на меня, Кемал. Но ваша затея — игра! Это бессмысленно. Силы слишком неравны. У них армия и пушки, но у вас тоже есть свое оружие: ваше слово, ваши песни.

У Кемала были усталые глаза: — Да, я лучше спою!

— Спойте еще раз ту, о топоре.

Когда сели в фаэтон, раздался выстрел — Кемал провожал гостей. Какой-то фаэтон их обогнал, и, как только они сошли и Фатали простился с Фазылом, к нему приблизился турок:

— Я прошу вас задержаться.— И показал какой-то жетончик. «Жандарм?»

— Что вам угодно? — Поодаль стояли еще двое.

— Я хочу просить вас пройти со мной... Мы вас ненадолго.— Подошли и те двое — и Фатали под руки. Кричать? Но глупо! Вырваться и бежать? А потом посадили в карету, один рядом, двое напротив.

— А ну-ка ваш паспорт! Что же вы, Фатали Ахунд-заде, ведете антисултанские речи, а? Вы что же, царем подосланы? Шпионить?!

— Помилуйте, я самим премьером...

— Знаем. И об алфавите вашем, и об обсуждении, все-все! А где вы были сегодня вечером? Ведь не станете же отрицать, что вели антиправительственные разговоры? Вы, конечно, будете отрицать, ибо иначе вас пришлось бы выслать. Нам известен каждый ваш шаг. Рыжего оставим пока на свободе, может, у него еще какие люди есть, из Лондона приехал, какие-то русские газеты привез, отсюда к вам засылали, ваше правительство возмущенные ноты посылало: мол, не пропускать. А мы не дикари, вроде вашего царского правительства, мы частных лиц не трогаем, тем более что эту вашу газету у нас не понимают. Но вести речи против султана! Кстати, а вам понравилось у нас? Очень? Стамбул — это город всех городов, вы правы. А не мелькнула у вас мысль остаться у нас, а? Мы вам создадим прекрасные условия, вы ученый, вы писатель...

— Не утруждайтесь, не надо.

Выпустили Фатали в три ночи. «Извините, но если вдруг вздумаете остаться...» Фатали взглянул с такой тоской. «Вы патриот, ведь у вас будут неприятности, вы думаете, в посольстве вам поверят? И там, в Тифлисе?»

Утром известил Богословского, тот — немедленно послу. «Как? Вас? Сам наместник! Великий князь! Мы подадим жалобу!»

— А может, не надо? — Богословский послу.

Тот сразу согласился.

Предупредить Фазыла!

А в доме Али-Турана траур: ночью забрали сына. «Говорила тебе, не связывайся с земляками!..» И на Фатали: «Куда водил?!» — «Я попрошу премьера, я добьюсь!..» — «Не надо, я сама! Посмели как! Я через принца! Я накажу их!..»

Но Фатали все же попросил Фуад-пашу. «Вы что же, приехали за арестованных хлопотать? Или по поводу алфавита?!» И в глазах все та же ирония, улыбается непонятно чему.

С трудом отыскал дом Кемала Гюнея. Дверь и окна заколочены.

А когда по возвращении в Тифлис Фатали натолкнется на стену недоверия, он вспомнит Кемала.

Кемал, я не знаю, где ты, жив ли ты, но я возьму твое имя для нового своего сочинения и скажу в нем все, не таясь. Я отправлю тебя как индийского принца, изгнанного из страны, к персианам, и ты напишешь оттуда письма персидскому принцу, тоже изгнанному деспотом шахом.

Кемал — это Мудрость, Кемалуддовле — это Мудрость Государства. Умру и я, и тебя, Кемал, не будет, но наши идеи, наши муки останутся в «Письмах», «Письмах Кемалуддовле», и новые Фатали придут нам на смену — это неизбежно, это неминуемо и неотвратимо! Нескончаемый протест, бунт, борьба, бой, покуда живы деспотизм и рабство.

О парадоксы! Фатали однажды пришлось надеть на себя мундир цензора: «замещать на время двухмесячного отпуска отъезжающего за границу цензора по восточной литературе Кайтмазова».

И Фатали стал цензором. И как цензор прочел «Письма Кемалуддовле».

Глаза читают уже по-иному, а мысли подключены к какому-то неведомому центру, и оттуда идет особый ток... А есть ли у вас, автор... ну, ладно, собственник, пояснение в ваших «Письмах»? А ну-ка почитаем: «Это сила особой энергии и теплоты, скрытая во всяком теле»; ну, положим, несколько примитивно, но сойдет. «Скрытая во всяком теле!..» Это хорошо! А вы испытывали, какая она в теле, сидящем на самом верху? И она, эта сила, передается мне, цензору — вот это, скажу я вам, силища!.. А мундир эту силу энергии и тепла держит, не дает остыть и ослабнуть... А ну что вы еще сочинили? Ну да, извините, вы только собственник... Ну неужто вы полагаете, что эта ваша энергия, направленная на меня, в состоянии пересилить ту, которая идет ко мне, желаю я того или нет, сверху, свыше?! Нет, вполне реальная вышина, не заоблачная, а из Санкт-Петербурга! Николая уже нет? О, наивные! Вы думаете, ваша хитрость, мол, при переписывании «Писем» с оригинала обнаружили целый ряд слов, имеющихся в европейских языках и трудно поддающихся правильному переводу на языки тюркские или даже воспроизведению арабской графикой — и снова «о, несовершенство алфавита!» — и опасаетесь, что читатели не поймут их, и потому, дескать, разъясняете,— и вы полагаете, что эта ваша хитрость не шита по черному белыми нитками?! К примеру,— и цензор углубляется в текст,— *деспот*, так называют, мол, человека, который в своих действиях не подчиняется никаким законам и не соблюдает их, безгранично властвует

над имуществом и жизнью народа, всегда поступает так, как ему вздумается; народные массы, находящиеся под властью таких правителей, превратившись в презренных рабов, полностью лишаются всяческой свободы и человеческих прав; для пояснения — восточная поговорка: «Всякий, кто будет действовать по своему произволу, непременно найдет погибель свою»; что-то я такой восточной поговорки не слышал и даже в знаменитой книжечке пословиц Абулькасима не нашел!.. Ну ладно, пойдем дальше, вот еще, вы поясняете: *фанатик* — лицо, чья отличительная черта — национальная и религиозная нетерпимость и ненависть к какой бы то ни было иной нации, к татарам ли, евреям ли, армянам и т. д., иной вере...

Ведь было, было! Подсказал Александр, когда летели с ним. Фурфуристы ведь тоже: «Карманный, обычный, ничего особенного, так, лингвистика вроде и забава, словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка», а у вас, Фатали,— в языки восточные, а ведь даже и не вошли еще, хотел бы ввести, чтоб обогатить и чтоб в который раз ополчиться на арабскую графику: вот, к примеру, *рвл,* и нет Цэ, надо выразить через *тс* или *сс,— револсс,—* вот и сообрази, что это за слово!.. А какое замечательное слово-то!.. И как вы поясняете *революцию?* — спрашивает Фатали в мундире цензора Фатали — собственника писем (т. е. автора).— Значит, это — событие, когда народ, доведенный до отчаяния противозаконными действиями деспотического правителя, объединяется, восстает и свергает угнетателя. А затем он создает законы и претворяет их в жизнь в целях обеспечения свободной, спокойной и счастливой жизни— как все просто! Неужто не могли заменить *патриот,* найдя подходящее по смыслу слово? Вы поясняете: это человек, который ради любви к родине и народу не пощадит своей жизни, трудится во имя свободы отчизны и народа и готов на этом пути перенести муки и страдания. Кто, к примеру? Кемалуддовле? Или вы?

«И вы, когда не в мундире! Так как же, подписываете?»

«Хочешь меня погубить? Пожалей хотя бы моего сына, ему только десять!»

«Моему тоже».

«Он у меня единственный!»

«И у меня тоже».

«Тебе-то что? Ты только собственник писем! А меня — и ребром ладони по шее,— особенно теперь, после злополучного апреля! Что, неужто неясно?» — и шепотом, чтоб пояснить, а собеседник сам знает: надо же — запасся револьвером, специально приехал в столицу, чтоб выследить государя у Летнего сада и убить его! И — промахнулся!..

«Знаете, странная какая-то фамилия!»

«Вот-вот!.. И я, признаюсь, сначала изумился: «Неужто из наших?»

«А как же не изумиться? Фамилия-то тюркская. «Кара» — это по-нашему черное, «Коз» — глаз, «Черноглазов», так сказать!..» — вслух не надо называть фамилию смельчака!

И вспомнил Кемала. И Ахунд-Алескера вспомнил, давнее-давнее, еще когда в Тифлис приехали — устраивать его работать в канцелярию. С чего же спор начался? Ах, да: с грузин! С их заговора!.. А прежде — о смельчаках, съевших волчье сердце; их тогда было много в Тифлисе, сосланных, и разговоры — только о них. Ахунд-Алескер вдруг ни с того ни с сего разозлился на Фатали: «Нам с ними не сравниться, запомни! В них честь жива. И гордость. Достоинство. А мы что? Рабы мы, да, да, рабы!»

Разговор, казалось, кончился, было утро, после первого намаза, а потом прошел полдень, еще молитва, и во второй половине дня Ахунд-Алескер совершил третью молитву, и при заходе солнца, когда тень стала совсем длинная,— и вот, после четвертого намаза, перед пятым, в начале ночи, Ахунд-Алескер вдруг, будто продолжая только

что начатый разговор, строго взглянул на Фатали: «И не смей ты влезать в драку!»

И больше никогда не возвращался к этому разговору.

Перед Фатали-цензором уже сидел не собственник «Писем», а Кайтмазов, он только что вернулся из длительной командировки, посвежевший и отдохнувший, как показалось Фатали.

— Думаешь, отдыхом была моя поездка? Ничего подобного. Сначала Санкт-Петербург. Для приобщения к кое-каким новейшим цензурным инструкциям. Как будто не читаем мы эти «Санкт-Петербургские ведомости». Или нельзя было прислать сюда «Русский инвалид», «Голос», где раструбили о процессе по делам печати, «Судебный вестник» или «Юридическую газету»!..— То злой, то оттаивает.— Ну-с, как вы тут без меня? — Руки потирает, а потом пальцы тренирует (о, эти пальцы! Фатали не сводил с них глаз, когда Кайтмазов несколько лет назад аккуратно перелистывал «Обманутые звезды» и на каждой странице, после того как половину вымарал,— ставил подпись-закорючку — большой крюк верхнего крыла «ка» захватывал всю фамилию. А на титуле — «разрешаю». «Скажи спасибо, что мы кавказцы!»

— А я без вас тут воевал!

Кайтмазов молча слушает.

— Тип один тут с письмами мне досаждал.

— Осаждал?

— Можно и так. Письма знаете какие! Ой-ой-ой! Язык обжигают, будто перцем густо-густо на кончик! Но вы их скоро сами прочтете.

— Кто автор? Ах, изгнанный из страны? Разве не слышали о специальной инструкции? Не допускать к выходу в свет сочинений лиц, признанных изгнанными из отечества, тайно покинувших его...

— Но ведь из Индии! И из Ирана!

Кайтмазов уже не остановить:

— Государственных преступников! И учтите: какого бы содержания ни были эти сочинения и в каком бы виде они ни издавались, под собственными ли именами авторов или под какими-либо псевдонимами и знаками! Неужто неясно?

— Клянусь аллахом, не знаю!

— Шутник! А вот и запомните! — И сует ему только что нарисованную на клочке бумаги картинку-загадку, ай да талант... Бараний рог, и такой перекрученный, а в него похожий на Фатали человек впихивается,— «согнуть, мол, в бараний рог».

Хорошо, что великий князь не проведал о том, как поручали ненадолго Фатали цензорство. Вот было бы шуму и неприятностей в канцелярии!

Фатали давно собирался написать Мирзе Гусейн-хану, у которого гостил в Стамбуле, но каждый раз, садясь за письмо, вступал с ним в спор:

«Вы на меня обижены, Мирза Гусейн-хан, вы сердитесь, я вас разгневал!» («Обижен!..» А Гусейн-хан ищет пути, чтоб дать понять наместничеству, а может, и кому повыше,— не кажется ли вам, господа, что деятельность Фатали подрывает основы и вашего правления; он враг и вашему царю; уж я не говорю, что она направлена против шахиншахского престола, а мы ведь с вами уже давно в мире живем... Но Фатали о том не ведает.)

«Вы увидели лишь то, что я высмеял деспотизм шаха и тупость его приближенных, и оскорбились. Я просто вывел тирана в шахской одежде, хотя мог его облачить в царский наряд. Я рад, что вы разглядели за древним историческим сюжетом его современный смысл и порвали со мной! Или вы испугались, что вас взгреют в вашем краю,

чьи интересы вы представляете в Стамбуле, за дружеское ко мне расположение. Но ведь в каждом народе имеются мерзкие и тупые люди, и даже среди государей, шах он или царь. Вы истолковали мои произведения как антипатриотические, мол, выставляю славных шиитов, вас и своих земляков в дурном свете перед турками-суннитами!.. А что вы скажете, если в ваших руках окажется «Кемалуддовле»? — «Что вы еще задумали?! Неужели недостаточно и того, что вы сделали уже, чтоб осрамить нас перед миром?..» — «О нет! Я сказал еще не все! Другие сказали больше, чем я!» — «Кто ж другие?!» — «Индийский принц Кемалуддовле, совершивший путешествие по Англии, Франции и Новому Свету и возвратившийся в ваши земли!» — «Но такого принца я не знаю! Не вы ли скрываетесь за Кемалуддовле?!»

А ведь и Никитич, попадись ему «Письма» в руки, скажет: «Нет такого принца!» — «Как же нет? — возразит ему Фатали.— Вот его родословная: правнук Теймурлана поэт-император Мухаммед-Бабур, далее его сын Хемаюн-шах, ах, какие страсти бушевали в те годы! Но я не стану отвлекать вас рассказами о том, как жестоко расправился он с братьями. Так вот, далее Ахбар Великий, это при нем был построен город Фатехпур, почти,— улыбнулся Фатали,— Фаталиград, но о том я, кажется, вам рассказывал. Увы, ныне в некогда огромном городе никто уж не живет, но сохранились его дворцы. Это страшно — мертвый город... далее Шах-Алем Первый».

«Нет, нет, постойте, Никитич, дослушайте! Ведь такое обвинение!.. А потом Бахадур-шах. Далее... Алямгир Второй».— «Когда же был Первый?» — «Вы перебиваете меня!.. Шах-Алем Второй, а сын его Акбер-шах отказался от своих прав в пользу английской короны, кстати, в год пожара в Зимнем дворце».— «При чем тут пожар?» — «А Акбер-шах и есть отец Кемалуддовле! Что же до последнего Могола, то он умер совсем недавно. Каждый исто-

рик это вам подтвердит,— умер, когда я поехал в Стамбул с вашей легкой руки, Никитич, так что я только собственник трех писем живого Кемалуддовле, и эти письма он отправил персидскому принцу Джелалуддовле».— «И такого принца я не знаю».— «Неужто вам известны все жены шаха? Ну ладно, откроюсь я вам, Никитич: индийского принца зовут Игбалуддовле Овренг-Зиб-оглы, а иранского принца — Шуджауддовле Зиллисултан Алишах-оглы. Оба они сидят в Каире, но один решил назваться Кемалуддовле... Опять не верите? Помню, как говорили мне в Стамбуле,— было перед Фатали лицо Никитича, и вдруг снова Мирза Гусейн-хан, посол Ирана в Турции,— но смысл этих слов дошел до меня позже, ведь я, живя у вас, не подозревал тогда, что в вас кипит гнев. «Мы были,— вы сказали мне,— и есть образец для всего мира, погрязшего в смутах, беспорядках и неустойчивости! Мы неколебимы, ибо держимся на справедливой вере и единстве народа и шаха-вождя!» И еще вы сказали мне: «Придет время, и к исламу примкнет все человечество. Если б людям всех слоев удалось понять, сколь совершенна вера наша, и освоить смысл правления Мухаммеда, то основа дурных течений и эти бунты, этот разгул еретической стихии — все бы было погребено и уничтожено!»

«Увы, Мирза Гусейн-хан, вы будете разгневаны, когда прочтете в письмах Кемалуддовле, что тот самый народ, который считается счастливым под сенью всевластного монарха, погряз в невежестве...»

«Ты уже читаешь мне эти дерзкие письма?!»

«Да!»

Фатали работал по ночам: после канцелярской круговерти поспит часа два, а потом засядет за стол — и до утра, пока не прокричит петух, и крик его доносится с противоположного берега Куры. Оставит перо, приляжет на часок и — на службу. А потом новая ночь...

«Да, погряз в невежестве, не имеет понятия о свободе

и человеческом достоинстве! Он сжат в тисках: с одной стороны, давит необузданный и бесконтрольный деспотизм государей, а с другой — грубый и тупой фанатизм служителей веры!..»

Напишет, зачеркнет, поищет новое слово, чтоб звучало сильно, остро, било наверняка: пусть тираны трепещут!..

Повелитель сидит в столице, воображая, что владычество есть только средство к тому, чтобы оттянуть неизбежный конец, объедаться вкусными яствами, когда кругом бедность и голод, безнаказанно располагать имуществом и жизнью по своему произволу и быть предметом поклонения подвластных, повелителем бездушных рабов и кумиром глупых льстецов и продажных поэтов; слыша стихи, вроде тех, которые сочиняли для моего тезки, но шаха: «Ты спокойно восседаешь на своем троне, в то время, как повелитель Византии и властелин Китая трепещут от страха: первый, будучи поражен звуком твоих труб, а второй — громом барабана твоего воинства».

Всякий государь, уважающий собственное достоинство и дорожащий честью страны, устыдился бы подобного властвования и отрекся б от трона, чем унизиться до такой степени и стать посмешищем цивилизованных народов.

Новая религия? А не указана ли она новоявленным арабским пророком или каким-нибудь сектатором лишь как предлог для разграбления народов под видом ее распространения?

Учти, Джелалуддовле: я отдаю предпочтение только той вере, которая делает человека свободным и счастливым в этом мире! Рассмотри хорошенько все факты и отвечай мне: какую пользу принесла народу наша религия, когда он до такой степени упал нравственно и обессилел, что всякое ничтожество — злодей и тиран, сменяя друг друга, по своей прихоти и произволу подвергает его стольким бедствиям!

Посмотри на современную нашу литературу — она состоит из легенд о мнимых чудесах наших пророков и других лжесвятых мучеников, из описаний блистательных военных походов и завоеваний!

«Хвала государю,— пишет историк,— который на поле битвы, если прикажет морю не шевелиться, то волны не смеют производить бурю; если прикажет высокой горе двигаться, то она становится легче песка, разносимого ветром; если во время ночного похода прикажет не высекать огня, то молния не смеет разыграться на небе; если во время ночного движения прикажет молчать, то утренняя заря не смеет свистать зефиром!»

А что творится на улицах?! На каждом шагу встречаешь мнимого потомка пророка с синею чалмою на голове, который, задерживая идущего, говорит: за дровами в лес не пойду, возить воду из реки не буду, пахать землю не стану, жать пшеницу непривычен, даром кормлюсь и праздно шатаюсь.

А по части судопроизводства что? Все зависит от произвола, начиная от мелких властей и до крупных.

Когда же перелистываешь календарь, то читаешь заведомую ложь или отвратительную природе человека лесть: «В настоящем году (собачьем, свином) движение звезд свидетельствует о благополучии священной особы государя, о веселом расположении его духа, да будем жертвами его воли!» И никто не скажет: «О дураки! Какое отношение имеет до веселья вашего падишаха движение звезд?! А где в календаре известия о важных событиях? о научных достижениях в мире? где статистические сведения о подлинном состоянии дел в государстве...»

— Стоп-стоп-стоп! — о каких статистических сведениях ты говоришь и вообще — на что намекаешь? На общедоступный календарь? (Это в поездку Кайтмазова

его познакомили с календарем.) А он, кстати, откуда у тебя?

— Кто?

— Не кто, а что — общедоступный календарь!

— Да я его видеть не видел, побойся бога, Кайтмазов!

— Случайное совпадение? И потом: какие тебе статистические сведения нужны? О народном образовании? Как мы отстали от всех государств Европы и даже Японии? О том, что в последние шестнадцать лет увеличены расходы на высшие государственные учреждения на семьсот процентов? (Фатали изумленно слушал, а Кайтмазов пересказывал ему заключение цензора об общедоступном календаре.) Может, о том, как растет кривая взяток поведать? Привести разные факты провинциальной жизни и правительственной деятельности? Порицать местную высшую администрацию с указанием имен?

— А почему бы и нет? Если,— послушай, Кайтмазов, что пишет Кемалуддовле,— падишах разведает о положении прочих частей света, об успехах других стран и примет образ правления, основанного на правосудии, откажется от насилия, позаботится о благосостоянии не своей особы и особ приближенных, а народа, избавит его от нищеты...

«Ну как не прервать Фатали? Как не сказать ему, не обидев при этом?!» — думает Кайтмазов.

Взгляни теперь на государственную газету — и в начале первого же столбца ты с удивлением останавливаешься на слове «преобразование». И радуешься: наконец-то! Но читай дальше, теленок,— оказывается, речь идет о преобразованиях в похоронном процессе... Кого, где и как хоронить по рангу и в каком порядке.

Затем ты переворачиваешь страницу и читаешь: «Отрезать язык, чтоб не смели говорить! Ослепить, чтоб не

смели видеть! Оглушить, чтоб не смели слышать! — эту клевету на наше славное правительство выдумали англичане и раструбили по всему миру!..»

Во время шествия принцев по улицам толпа грубых стражников предшествует им и отгоняет прохожих с дороги грозным кликом: «Прочь с дороги!» Шум, крик, вой, движение перекрыто — идет принц! Попробуй возразить — подвергнешься истязаниям и мучениям, да еще ротозеи поддадут, ведь рабы!

Любезный Джелалуддовле! Если бы ты сам не был изгнан деспотом из родной своей страны за дерзость уст и остроту пера, если бы сам не жаловался мне на своих сограждан, то я бы никогда не решился огорчать тебя тем, что увидел и познал.

О забитый народ! Если бы ты вкусил сладость свободы, а всякое человеческое существо, явившись на свет, должно пользоваться даром полной свободы, как того требует здравый рассудок, то никогда не согласился бы на подобное позорное рабство, в котором теперь находишься, ты стремился бы к прогрессу, учредил бы у себя вольные общества, клубы, митинги, сеймы, отыскал бы все возможные средства, ведущие к единодушию и единому пониманию, и, наконец, освободил бы себя от деспотического гнета. Ты, о мой народ, числом и средством во сто крат превосходишь деспота и тирана, тебе недостает только единодушия и единомыслия («Только ли?»). Не будь этого недостатка, ты легко подумал бы о себе и освободил себя не только от оков деспота, но и от уз нелепых догм. Но устранение этого недостатка возможно лишь при помощи наук; науки же не иначе доступны тебе как стремлением к прогрессу; прогресс не иначе понятен тебе как либерализм; либерализм не иначе мыслим для тебя как отсутствие суеверий; а отсутствие суеверий не сбудется, пока существует сковывающая тебя твоя религия, твоя догматическая вера.

Смеешь ли ты где-нибудь, в каком-нибудь уголке царства раскрыть рот и сказать темному народу: «Очнись!» А казни? Во время заговора бабидов были изобретены неслыханные виды пыток, не уступавшие инквизиционным пыткам средних веков. Смертная казнь и изувечение тела для водворения порядка и спокойствия в государстве есть постыднейшая и ненадежная мера.

Любезнейший Джелалуддовле! Ты знаешь, что здесь решительно невозможно изучить науки о политике. Необходимо отправиться в Европу, изучить их там. Но возможно ли это? Недавно один тавризский ученый сказал мне, поглаживая бороду: «Да, согласен, франки — европейцы — в самом деле показывают большие успехи в науках мирских, но в науках духовных они находятся в заблуждении и тьме».

Клянусь всевышним, пятнадцатилетний европейский мальчик не поверит таким пустякам и вздору, которые мне пришлось услышать в здешней главной мечети,— сообщу в следующем письме, устал. Посылаю тебе через рештского жителя Фатуллаха связку ширазского табака.

А вот и второе письмо — засел снова на всю ночь, о душа моя, любезнейший Джелалуддовле!

Я сообщу тебе об услышанных проповедях, и пусть волосы у тебя на голове, если они еще не выпали, станут дыбом, как шило, впрочем, какая польза от моих описаний, которые не могут быть опубликованы; положим, что прочтут; какая польза, сказал поэт, утирать слезы на моем лице — придумай средство против болезни моего сердца, чтоб из него кровь не вытекала.

Да не порадуется деспот, что коль скоро стране его пребывать в вечном сне неведения, то он среди своего невежественного народа будет властвовать вечно... Пусть он взглянет на историю — уцелела ли хоть какая-нибудь деспотическая система? Кто может ручаться, что поступок бабидов (ты ведь понимаешь, о каких бабидах я го-

ворю?) не может повториться? Хоть современному падишаху оказывает народ беспрекословное повиновение, но оно под влиянием страха, а не любви. Есть ли кто в стране, который бы любил деспота и желал продолжительности его царствования? Только боюсь я, любезнейший Джелалуддовле, что после него придет худший, хотя хуже представить трудно; увы, нет предела долготерпению нашего народа.

Я уже писал тебе о том, как сгоняют людей с дороги во время шествия падишаха. Неужто это делается для того, чтобы предохранить падишаха от покушений на его жизнь? Бывало, конечно, и не раз, и в европейских государствах. А ведь народ — дети падишаха, которым бы восхищаться лицезрением!.. (о покушении на государя пока не ведает автор писем, ибо вести еще не достигли Тифлиса. Будут еще покушенья, но все неудачные. Неужто само провидение отводит карающую руку от Александра Второго? Но случится! «И это,— подумал Кайтмазов,— еще один довод в пользу того, что «Письма» дозволить к печати нельзя». «А тем более выносить на свет божий из сундука»,— подумает уж сын Фатали, когда и Кайтмазова не станет).

И дальше Кемалуддовле описывает проповедь здешнего духовного наставника в главной мечети. О эти проповедники! Они превосходят всех в мире в лжеглагольствовании, в сочинении всяких басен, сказок, в лицемерии, а у нас особенная способность верить всякому вздору и басням. Вот и насчет пришествия Мехти, двенадцатого имама, что предсказано пророком. Но неужто еще не переполнена земля тиранством и насилием — отчего же спит он, этот двенадцатый?! И о трехлетнем отроке Мехти, сияющем как четырнадцатидневная луна; а какой у него хохолок на голове! Ползает по полу и играет золотым шариком величиною с яблоко, присланным ему из Басры в подарок; и сей отрок — а он уже в детстве обладал чертами

гениальности — чистым арабским языком изрек словно старец: «Я есмь наместник божий на земле и мститель его врагам. И еще я вам скажу — закройте дверь неуместных вопросов, разрешение которых не принесет вам пользы; не дерзайте разузнавать тайны, которых не велено открывать вам, только молитесь, чтобы аллах даровал вам спасение».

Тот, кто одурачивает простачков ложными идеями,— шарлатан. А тот, кто вложил ему в уста эти идеи,— шарлатан вдвойне.

Я слышал, как в шахской мечети расписывал ад главный молла: «Бойтесь ада, правоверные, и не соблазняйтесь суетным миром!..»

— И ты думаешь,— нехорошо ухмыляется Кайтмазов,— я разрешу? Нет, я не о согнании народа, хотя и за это!..— но Кайтмазов тоже не знает еще о покушении, а улыбка нехорошая, какой-то садистский блеск в глазах, непохоже на него, это после второй поездки в столицу. Он не станет читать свои выписки Фатали, понимает, что затея ненужная, трата времени. «А какой слог! Какая точность выражений!..» — Он выписал, изучает, вчитывается, учится цензорскому таланту излагать ясно, красиво, по существу! «...До такой степени переполнена вредными местами, что опровержение должно равняться по своему объему самой книге, так как характер всего сочинения саркастический, насмешливый, а действие сарказма на читателя трудно уничтожимо опровержением, как бы оно удачно ни было!» Или это: «Заключающиеся в этой книге (а ведь и в «Письмах» тоже!) возмутительно дерзкие и саркастические глумления над предметами христианских верований, над преданиями священной истории, над догматами церкви глубоко оскорбляли бы благочестивое чувство верующего и служили бы соблазном для людей легкомысленных. В вопросах веры (точно «Письма» читал!) орудие насмешки, которым с таким гибельным успехом

действовал автор, гораздо опаснее серьезных исследований и возражений; последние могут быть опровергнуты, тогда как насмешки и глумления даже в случае опровержения уничтожают достоинство и авторитет предметов, признаваемых священными и неприкосновенными!..» Ну-с, пойдем дальше!...

Ты рассуди, Джелалуддовле, кто обитатели ада? Они суть чада всевышнего, который правосуден. Допустим, я каждый день совершал убийства, я согласен, роптать не буду, пусть меня жарят на огне даже двести, пусть тысячу лет,— но вправе ли он меня мучить вечно? Можно ли назвать такого бога правосудным, когда мера его наказания бесконечно превышает меру преступления против собственного его закона: «Зуб за зуб...» Но такой неумолимый бог хуже всякого палача, хуже изверга-головореза. Если он имел в виду поступить со мною так террористически, то зачем он меня создал? Кто его просил об этом? Если ад существует, то бог — ненавистное существо, тиран и деспот. Если же идея ада ложна, то те, кто стращает народ,— лицемеры!

Проповедник посредством всяких вздоров запрещает народу свободно сообщаться с другими странами и нациями, а ведь всякое познание приобретается общениями, держит его в постоянном застое и страхе. Но можно ли страхом держать людей в повиновении? Да и кто из нас от страха, внушаемого адом, не присвоит себе чужое добро, когда к тому будет иметь возможность? Кто из правителей, покажи хоть одного мне, в угоду собственным интересам не лезет в казну? Не расправляется подло и коварно с неугодными?!

Страх не может пресечь преступлений, более страшны страх гласности, боязнь общественного мнения. Но гласность, как ты сам понимаешь, возможна лишь при свободе

нации, ее образовании, общении с цивилизованными народами — открытом и свободном, учреждении контроля и правосудия!

Но я утомил тебя и лучше расскажу о любовных историях нашего пророка Мухаммеда, а ты полюбуйся, кому мы с тобой поклоняемся!

Ты думаешь, любезнейший, что спрятался в Каире, в отеле «Вавилон», и двенадцатый имам не видит тебя?.. А может, поведать тебе о чудесах, знамениях, чародействе, колдовстве, о джиннах, пери, дивах, нимфах? Об иных небылицах, которыми пичкают головы правоверных? Или разгадку увиденного сна тебе написать? Увидел я во сне у себя на шее цепь — сказали мне, что достанется жена с дурным характером, вот и решил я еще повременить!

Сон был. Но другой. И приснился не Кемалу, а Фатали — диковинный сон, даже Тубу не расскажешь — засмеет ведь! Он в Стамбуле, у Кемала Гюнея, смотрит на его картину (а ведь такой картины у Кемала Гюнея не было: луг, маки цвета крови горят...) и убеждает художника: «Неужто вы не видите? Вы рисовали — и не видите, а я не рисовал — и вижу!» Кемал Гюней поправляет на поясе кобуру, широкое ясное лицо, и — рукой, мол, глупости это!

«Да нет же! Вы внимательно посмотрите: что-то на картине вдруг начинает шевелиться, какой-то узел, а потом на миг появляются контуры лица, и оно живое, глаза очень ясные, и — исчезают. Сейчас только то, что вы нарисовали, но уже, посмотрите вот сюда!.. на сей раз в левом углу... зашевелился узел! И женское лицо.., но рядом еще кто-то, кажется, мальчик, очень на вас похожий!»

Видение на картине снова исчезло.

«Вы — первый художник...» — Фатали оглянулся, Кемала Гюнея нет рядом, за спиной стоит лишь бритоголовый, квадратное лицо. Глянул на стену — и картины нет, выдернут гвоздь, серое пятно.

Но прежде, извини, о Реформации и ее вожде, славном муже по имени Гасан.

Я опишу тебе Гасана. Он худощав и высок ростом, у него очень чистое смуглое лицо, острый подбородок и чуть кривой — но как это красит мужчину! — нос, не слишком длинный, но и не скажешь, что средний. У него ясный взгляд черных доверчивых глаз, могущих загореться гневом и отвратить беду, светиться мягкостью и нежностью. Черные усы, ниспадающие кончиками вниз, и по-детски чуть припухлые губы. Рядом со зрелым мужем он выглядит умудренным опытом и крепким в кости мужчиной, а увидишь среди юнцов — и не отличишь от них, подумаешь только, что всевышний был щедр и не пожалел для него росту.

Так вот: о пророке Мухаммеде. Однажды он пошел в дом усыновленного им Зейда и застал его жену в совершенной наготе купающейся и произнес ей: «Премудрый есть тот аллах, который создал тебя!» Когда же Зейд вернулся домой, жена объявила ему о приходе пророка и передала ему слова его. Тогда Зейд поспешил к пророку и предложил ему свою жену.

А послушаем, какие сомнения обуяли Гасана: неужто у аллаха нет других дел, как снизойти до того, чтобы посылать Гавриила к пророку с советом жениться на жене Зейда, ибо она ему приглянулась! И божество занимается сводничеством? Положим, что Зейд от страха или излишней преданности пророку, своему приемному отцу, или из видов корысти отрекся от своей жены и уступил ее пророку. Но согласна ли была Зейнаб? В разводе согласия жены не требуется, а в браке ее согласие ведь обусловливается. Когда и через кого аллах добыл согласие Зейнаб? А может, молодая женщина вовсе не желала сделаться женою старика? Жены пророка постоянно интриговали между собою, а Гавриил, дабы успокоить пророка, беспрестанно летал к нему от аллаха. У бедняжки Гавриила аж

крылья избились и перья растрепались от частых сошествий на землю и восшествий на небо.

Высокоуважаемый наш духовный отец! Если во вселенной существует бог, то, без сомнения, этот бог не тот, который позволяет себе роль сводника. Удивительно, с каким наслаждением сообщает аллах, находя в этом какое-то особое удовольствие, о связях пророка с женщинами. Вот Айша, молодая, красивая, ее пророк страстно любил, всю ночь проводит с молодым Сафваном. Но аллаху не терпится снять подозрение с Айши, и он посылает через своего курьера изречения пророку: «Те, которые клевещут на твоих жен, грешат сами! Порочные жены назначаются к порочным мужьям, а добродетельные — к добродетельным. Все достойные правоверные, услышав эту историю, говорят: «Это великая клевета!» И пророк отправился к Айше и помирился с нею...

Впрочем, если Айша виновата, то более виноват ее отец Абу-Бекр, что выдал молодую дочь, ей было тогда восемь лет! за старика, которому пятьдесят два года, имеющего к тому же целый табун жен...

Коран полон нелепыми стихами, свидетельствующими о чрезмерной страсти пророка к женщинам, а однажды он пожаловался на немощь, и аллах посоветовал через курьера-архангела: «Кушай часто пшеничную кашу, сваренную с крошеным мясом молодого барашка!» Какой знаток наш аллах!.. И мы должны читать эти нелепости на могилах наших покойников! Спрашивается: каким должен представляться воображению наш всевышний, принимающий столь живое и горячее участие в удовлетворении сладострастных похотей пророка?

Высокоуважаемый наш духовный отец! И вы гордитесь этим? Я не верю такому божеству и такому его пророку, не говоря уже о курьере-архангеле. Или ответьте мне аргументами, основанными на разуме, или не обманывайте народ, пользуясь его невежеством, темнотой!..»

Да, любезнейший Джелалуддовле, такая вот история!.. Получив это письмо, толкователь ибн-Фаль пришел в величайшее негодование и тотчас отправился к отцу Гасана — царю Великая Надежда. Царь пришел в бешенство. На кого он оставляет престол? И он изгнал сына...

Прошли годы. И как Гасан сумел возвратить благосклонность отца, восстановить свое право на престол, о том история умалчивает. После смерти Великой Надежды Гасан занял престол. И знаешь ли ты, что он прежде всего сделал? Он собрал всю знать царства и народных депутатов на главную площадь столицы, установил там высокую трибуну, водрузил вокруг нее четыре знамени — красное, зеленое, желтое и белое — и произнес историческую речь: «Я, ваш царь, по внушению разума считаю себя обязанным указать вам то, что полезно, и то, что вредно. Знайте, что мир существует без предшествия ему небытия и конца миру не последует! И времени и пространству нет ни начала, ни конца. Ад и рай есть вымыслы человеческого воображения. Светопреставлением для каждого человека считается смерть его. Отныне каждый свободен от всяких молитв, постов, пилигримств в мнимосвятые места. Посвятите ваши труды наукам и познаниям, наслаждайтесь дарами жизни. Не сковывайте себя догмами, пустым и безобразным суеверием, старайтесь возвыситься во мнении других народов земли науками, познаниями, искусством, нравственными делами, доблестными поступками! И затворничество женщин — величайшее тиранство. Дайте им воспитание и образование, не угнетайте их. Также более одной жены не берите себе. И кто нарушит мой указ — тому кара от меня».

Это был день поста: после проповеди Гасан сошел с трибуны, сел тут же, потребовав еды, и первый нарушил пост голодания. А потом с великой царицей Дурретудтадж, «Жемчужиной короны», прошел по главной улице страны, и жена его была с открытым лицом. И его при-

меру последовали все. Ты спрашиваешь, чует мое сердце, чем это кончилось? Читал я одну повесть, любезнейший Джелалуддовле, о том, как твои земляки обманули звезды, прочти, занимательная штука! Там, между прочим, есть ответ и на этот вопрос!

К величайшему сожалению, по наущению недругов из соседних стран, убили Гасана, ибо никак не могли примириться с тем, что рядом, по соседству, *революция!* Да, не могли допустить, что рядом революционная страна, вздумавшая выйти из повиновения общей системы стран с единой верой. Собрались, как быть? Может, организовать поход монархических стран? Ввести войска и задушить это вольнодумное государство?!

«Можно проще!» — негодует шурин-фанатик, оказавшийся здесь, в живописном оазисе, где собрались главы государств (чтоб его сестра-царица разгуливала с открытым лицом и мужчины облизывались, глядя на ее красоту?!). Всучили ему в руки нож, благословили на подвиг во имя веры и аллаха, и шурин одним ударом в грудь убил Алазикрихи-асселама!

Сын и преемник Гасана, воспитанный в духе отца, поддерживал по мере возможностей образ правления прежний, однако и он умер при загадочных обстоятельствах. Ему наследовал внук Гасана, но он понял, что или смерть ему (к границам были стянуты войска соседних государств), или реставрация старых порядков. И он выбрал второе.

Жаль, что сочинения Алазикрихи-асселама истреблены были тогдашними невеждами как еретические: рукописи сожгли, а пепел развеяли по пустыне. В той самой книге, где твои земляки обманули звезды, я слышал, будто была страница, но мне она почему-то не попалась, в которой сказано, что рукописи Алазикрихи-асселама видели во времена Шах-Аббаса, некий Юсиф-шах в золотом сундучке хранил.

Уже полдень, а я, признаюсь тебе, любезнейший Джелалуддовле, разуверился и в благости пятикратной молитвы! Надо мною в цивилизованных странах хохотали. И они правы. И вот что я тебе замечу: бесполезность этого нелепого обряда очевидна, отвлекает от занятий науками, от полезных дел. Ныне человечество имеет тысячу различных занятий, откуда взять праздность, чтобы развлекаться пустяками, подобно молитвам, соблюдать пост,— зубри нелепые догмы, вбивай их себе в голову до отупения, пять часов уделяй молитвам, остальное время — еда да сон. И это имеет то невыгодное последствие, что промышленности нет, сельское хозяйство пришло в упадок, искусства, ремесла, художества малоразвиты... Теперь, когда ветры дуют отовсюду и мы видим, как чахнет человек в добровольном рабстве, слепой и глухой к тому, что творится в мире, довольный своим послушанием и преданностью и верящий лживым проповедям новых пророков, думающих лишь о том, чтобы подолее держать подвластных в неведении, жить в роскоши и удовольствиях под охраной всемогущего воинства!..

Я намерен из Тавриза отправиться в Решт, оттуда в Мазандаран, на родину демонов и нимф. Ах, какие подзорные трубы продавали в Каире, но я забыл купить, а мне так она нужна здесь, чтоб кое-что разглядеть пристальней. Прошу тебя, пойди в магазин европейского негоцианта, это за домом Риза-паши, и купи мне подзорную трубу, это совсем близко, в двух шагах от отеля «Вавилон», и пришли в Решт на имя Гаджи-Абдуллы Багдадского, продавца жемчуга, и он доставит ее мне. Прощай!

И — третье письмо Кемалуддовле. «...Нет, нет, я не стану описывать тебе сцены плача по убиенным в борьбе за веру, то бишь за власть, за престол, за корону, за халифство!..

Впрочем, ты сам, как я помню, еще не совсем избавился от иллюзий в отношении избранности своего народа

среди прочих других народов, в особом его предназначении. Но напрасно не трать своего времени на наивные иллюзии, пора и тебе проснуться.

Тссс! Молла на кафедре! Сначала о рождении имама говорит. Потом о великих подвигах в младенчестве. Приводятся цитаты, столь же нелепые, как и сам рассказ. О героических свершениях в отрочестве и юности. Как спас, как помог, как провидел. И как поднял знамя шиизма. И как преследовали, пытались убить. И каждый раз чудо спасало.

Когда мы вышли, сосед мой спросил:

— Ну как, насладилась твоя душа?

— Каким же образом насладилась, если я слышал вздор? — ответил я.

— Заклинаю тебя всевышним, правду ли ты говоришь?

— Но ведь и ты сам думаешь то же, что и я.— Запнулся бедняга, не знает, что возразить, а я ему еще: — Это ж птичий язык, рассчитанный на птичьи мозги.

— Может,— тут вмешался другой, ибо первый онемел,— тебе понравится по твоему развитому вкусу сложнейшее учение о четырех подпорках, на которых держится мир?

— Я знаю о трех китах!

— Несчастный! Я говорю о подпорках веры!..— и с такой жалостью смотрит на меня, что мне самому себя жаль стало. А он добавляет: — Первая — сам аллах, вторая — пророк, третья — имамы, а четвертая — Керим-хан!

— Кто? Эта рухлядь?!

— Молчи, несчастный! — и так побледнел, губы белые, озирается кругом, в глазах страх.

— Да, кстати,— спрашиваю, чтоб собеседник пришел в себя,— а как «врата истины» — баб? Мне говорили, что у вас в городе много бабидов.

Но у кого я спрашиваю — собеседников моих точно ветром сдуло!

— Эй, стойте! — кричу им вдогонку.— Ладно, не о нем расскажите, а о его поклоннице, той, что ходила с открытым лицом, принимала участие во всех его восстаниях и, схваченная в Казвине, была умерщвлена.— Что ты кричишь, эй Кемалуддовле, сказал я сам себе,— ведь ты один на площади и никто, слава богу, тебя не слышит!

О, наивные бабиды — террористы, мечтавшие убить шаха! Но можно разве убийством тирана пресечь тиранство? Нет, я с ними во многом не согласен, но их реформа женского равноправия вполне в духе революции Алазикрихи-асселама. Ибо какой вред принесло мусульманскому миру затворничество женщин!

Когда же ступит народ на дорогу прогресса и цивилизации? Когда освободится от деспота и придет человек иного образа жизни, возлюбленный народом? Через неделю я отправляюсь в Решт. Оттуда, как уже писал тебе,— в Мазандаран! Жду подзорной трубы! Прощай!!»

Увы, увы, Кемалуддовле! — решил сразу ответить на все три письма Джелалуддовле.— Увы, потомок великого Теймурлана! Не иначе как ты помешался? О боже! Чего только ты не нагородил в письмах! О всевышний! Ай-ай-ай! Ты цитируешь поэтов! Это же беспокойный и вредный народ. Как можно им верить? Имаретул... Это же изменник! И за измену во время крестовых походов, разве не он пригласил франков на завоевание Египта и был повешен? А историки, которых ты цитируешь,— это ибн-Халдун, на которого ты ссылаешься, хотя и не называешь, а он, да будет тебе известно, из рода Омаидов, Абу-Суфьян его дядя, а Муавие его двоюродный брат... Предки ибн-Халдуна во время гонения на Омаидов бежали из Сирии, очутились в Африке, потом в Испании, и потому вся его история пристрастна, я ни одному его слову не верю.

И этого негодяя и еретика Алазикрихи-асселама ты



смеешь превозносить? Как же рука твоя ие оиемела и язык во рту зашевелился? Отец его Великая Надежда недаром казнил сотни его адептов, десятки людей изгиал из страиы, да будет с ним божья благодать! Пока был жив отец, этот твой подкидыш и ублюдок не смел пикнуть от страха. И чего добился Алазикрихи-асселам? Ои поверг страну своей революцией в пучиину разгула, разврата и хаоса. Чистили и чистили после него, только недавио, кажется, вычистили, и то не до коица еще...

Браво, браво тебе, Кемалуддовле! Браво, о внук славиого Бабер-шаха! Если в крови потомков Теймурлаиа было такое философство, как у тебя, то почему оии, царствуя более трехсот лет, не замечали ужасов деспотизма в собствениой страие? Не позаботились спасти твоих земляков от иевежества? Зачем ие сказали им, что усилие удерживать дыхаиие по какому-то глупому обряду и подобиые вещи, вроде самоистязаиий, молчания в течеиие семи лет, держаиия рук иа голове иеподвижио годами есть выше всякого невежества?

Что...— или это тоже бредии? И ты, ие замечая всего этого у себя иа родиие, таким критикаиом иа чужбиие сделался? Молодец ты какой! Явился соболезновать о иас, браво, браво тебе!

Я по-дружески советовал тебе, ибо оба мы с тобой, изгианные из родиых краев, друзья по иесчастью, ступай к нам, побывай среди своих единоверцев-шиитов, чтобы сколько-иибудь развеять грусть и печаль, ио ие сказал тебе, чтобы ты пошел и поколебал осиоваиие иашей веры и разрушил ее. Во всем мире всякий иарод избрал себе какую-иибудь веру. Если истиииы другие веры, то чем мы хуже? Покажи, где, в каком краю нет тех безобразий, о которых ты пишешь? На Севере нет? На Западе? Если же все веры ложиы, то что же. «Когда беда общая,— говорит восточная поговорка,— она сиосна!» Многие народы верят в воскресение одиого умершего индивидуума из

мертвых и в вознесение его на пебо. А если мы сочтем одного живого индивидуума не умершим, но скрывшимся до поры до времени из виду, то неужели от этого земля разразится громом и придет в колебание?

Браво, браво тебе, Кемалуддовле! Я и не знал, что ты такой философ и такой политик, который находит деспотизм вредным, а считает полезным для нации учредить митинги, советует монарху заслужить, ну и насмешил ты меня! любовь народа своими добрыми деяниями, дав ему совершенную конституцию, где слово реально, а не иллюзорно... Вся гостиница «Вавилон» от моего хохота сотрясалась!

Эй, Кемалуддовле! Но зачем ты не читал подобные проповеди своему отцу, дабы он последовал твоим советам и не допустил тебя и твоих братьев скитаться по чужим краям, отдав страну на расхищение и грабеж? Или ты действуешь по принципу: «Говорю тебе, доченька, а ты слушай, невестка!»?

Кстати, ты упоминаешь книгу моего земляка, но он, скажу тебе откровенно, еретик похуже тебя! А ведь Сальми-хатун, упрекающая своего мужа, нет, не Шах-Аббаса, станет он ее слушать, а Юсифа, права!

Так вот, я напомню тебе, а ты выпиши столбцом, вызубри, как некогда зубрил коран, и да прочистятся твои мозги и спадет с глаз пелена,— поистине, кто возвращается в отчий край из путешествия по чуждым странам, съедает себя сомнениями. Да, и от Востока ты отдалился, и к Западу не пристал, как тот чудак (Юсиф или Фатали? или еще кто третий?), вздумавший — о бредовая мысль! — искушать историю, повернув Восток по пути Запада, и ввергнуть благословенный край в пучину страданий.

Ни они нас никогда не поймут, ни мы их, ибо благо, по их разумению, есть зло в наших глазах, а в чем им видится порок, в том мы видим добродетель. Посуди сам и не будь излишне придирчив, если не в том порядке я пре-

поднесу различия между ними и нами (мне некогда, а ты не поленись и отдели важное от второстепенного). Так вот, друг Кемалуддовле: мы, азиаты, верим всему, что нам скажут, а они не верят никому и ничему, у них каждый врозь и то, что говорят уста, не слышат уши; да, у нас главное — вера и падишах,— поступай, как велит вера, и слушай, что говорит падишах, живи тихо, смирно, благодари всевышнего за кусок хлеба и кружку воды и не гневи судьбу, если чем-то обделен, ибо так начертано на твоем лбу; а они постоянно спорят: и с богом, и с падишахом, и с самими собой; вечное недовольство, непослушание, дерзость и протест, мол, захочу — на голове ходить буду, и никто не смеет пальцем на меня показывать; мы живем довольные настоящим и не заглядываем в будущее, ибо за нас думают другие, а им, бестиям, все не так: и ворошат, вопрошая прошлое... и в настоящем, как жуки, роются, и будущее их волнует! У нас мужчины имеют много жен, а у них женщины имеют много мужей. У нас женщины окутываются в чадру, чтоб лица свои укрыть, а у них женщины выставляются напоказ, и это — вызов бесстыдства и признак распутства; у нас все — рабы падишаха, а у них и в падишаха камни бросают; у нас интересы массы (ты скажешь «толпы», пусть так!) превыше интереса отдельной песчинки (знаю, ты и здесь скажешь мудреное — «индивидуум»!), у нас общее — все, отдельная личность — ничто, а у них, как ты уже догадался, наоборот.

Каков корень, таковы и побеги, и каждый цветок на своем стебле распускается...

А уж этим доводом, думаю, я тебя доконаю, неужели ты не знаешь, что негры изображают черта ослепительно белым? И не то еще я припас для тебя... У нас сунниты и шииты, а у них католики и протестанты, и мы, кстати, не уничтожаем суннитов, как это сделали (и теперь делают!) католики, истребившие гугенотов накануне дня свя-

того Варфоломея, даже королева была убита отравленным платком. Но я отсюда, издалека, вижу твою противную ухмылку — гореть тебе в аду за твои сомнения!

А Фатали, пока его рукой выводил Джелалуддовле свой ответ Кемалуддовле, вспоминал Мирзу Гусейн-хана. Еще в Стамбуле, когда Фатали гостил у него и их отношения не были ничем омрачены, Мирза Гусейн-хан, будто разговор их подслушивал сам шах, со страстью убеждал Фатали: «Мы — это мы, и нам не пристало менять свой испытанный веками образ жизни и копировать, как это пытаются делать османцы, западные нравы. Помяни мои слова, Мирза Фатали, если бы людям всех слоев удалось понять смысл исламского правления, которое господствовало лишь несколько лет при Мухаммеде, то основа всех дурных течений была бы уничтожена. Вся Европа, весь Запад, поверь мне, друг, рано или поздно пойдет по пути ислама».

«Мирза Гусейн-хан,— возразил Фатали,— но как можно закрывать глаза на изуверства деспотической власти, фанатизм вождей, разгул черни? Нет, нам не обойтись без серьезных социальных перемен. Реформация на Западе...»

«Реформация? — расхохотался Мирза Гусейн-хан.— О наивный друг! Азиату не хватит воображения представить себе, что на свете вообще возможно какое-либо иное правление, кроме деспотического, так уж и быть, употреблю твое слово...»

Но пора вернуться к Джелалуддовле, дабы не высохли чернила на кончике пера.

Ради бога, строчит и строчит свое письмо Джелалуддовле, воротись скорее, любезнейший мой Кемалуддовле, и мы продолжим, оба изгнанные из родных своих краев, диспут здесь, попивая ароматный чай из грушевидных стаканчиков и глядя на яркие звезды. Боюсь, чтобы ты не произвел более беспорядков — от тебя можно всего ожидать на свете...

Теперь-то уж наверняка я скажу: и правильно сделали, что изгнали нас. И тебя прежде всего — ведь ты совершенный агитатор против нашей религии! Да осквернятся могилы отцов тех франков, с которыми ты имел сотоварищество и сообщество и выучился у них разным непригодным для нас бредням и вздорам. Мне кажется, что ты и впрямь рехнулся — как бы тебя не упрятали в сумасшедший дом... Я отныне буду звать тебя не Кемалуддовле — какое же ты Совершенство Державы? а Нуксануддовле, Недостаток Державы! Ради бога, воротись!

Я получил присланную тобою связку ширазского табака, пах-пах, какой аромат! а подзорную трубу, как ты и просил, купил у еврейского грамотея в угловом доме неподалеку от «Вавилона» и послал на имя продавца жемчугов Гаджи-Абдуллы Багдадского. Прощай!..

А о бабидах и их восстании — ни слова! Станет он, на ночь глядя, сон себе портить этими смутьянами-бабидами! И чего они добились? Биться головой о толстую стену — зачем?

А о том, что Кемал и Джелал (а в скобках «уддовле») спорили о бабидах в отеле «Вавилон», Фатали не ведает, как не ведает и о том, что они имеют в руках книгу о бабидах Мирзы Казембека «Баб и бабиды» (1865 год), а меж страниц вложены две выписки: в одной автор сравнивает это движение с восстанием Стеньки Разина и даже Пугачева, а другая из российской газеты («Голос» от 28 апреля 1865 года): «Новое произведение ученого профессора много выиграло бы, если бы автор не касался некоторых грустных событий в России, не имеющих ничего общего с бестолковым изуверством персидских фанатиков: в их учении заметны политические, социальные, даже коммунистические тенденции, протест против безобразного устройства персидского общества. Баб — просто юродивый

вроде наших афонек, жалкий ипохондрик, выдающий себя за дверь к истине» («намека — рукой Фатали — испугались!»; хорошо, что языка не знают!). «Куда же делась книга?» — переживал Фатали, ведь дарственная!.. беспокоясь и за листок (уж не думал ли включить его в «переписку» на правах «собственника» «Писем»?!).

Год зайца

А теперь, как владелец этих писем, я, Фатали, не могу не сказать несколько слов, дабы в будущем избежать недоразумений.

Как только в моих руках оказался экземпляр «Писем», я так рассвирепел, что чуть было не изорвал их и не сжег. («Я к этому привычен уже».) Но потом подумал: а какая польза, если я буду горячиться? Не довольно ли я жег всякие там бумаги? И допустим, что я порвал один экземпляр, но остались десятки и сотни других, цепочка переписчиков кончается ли на мне? А может, придет время и я скажу — тысячи!

И я отказался от своего намерения.

И потому: покажи эти письма тем, на честность, благородство и здравомыслие которых вполне можешь положиться, а глубокоученым предложи, чтобы они написали критику,— уж кто-кто, а я-то знаю, что это желательно Кемалуддовле,— но критику основательную, доказательную, аргументированную.

Дело, за которое взялся автор,— развенчать основы деспотизма и догматической веры — никто прежде не брался, исключая Алазикрихи-асселама да еще одного чудака, Юсифа Мухаммед-оглы, волею судеб оказавшегося на шахском троне. Когда были в живых вожди шиизма, мы со страху, боясь их мечей, приняли их власть, а теперь, когда они обратились в прах, мы все еще пребываем

в рабстве их памяти и даже гордимся, что мы — рабы. О, недоразвитие умственных способностей!

Кстати, уж так совпало, что и Кемалуддовле изобрел особый алфавит на образец европейских с выбором латинских букв — и удобно, и без обильных точек!

(— Фатали, что так поздно с работы?

— Извини, Тубу, я никак не мог проставить все точки в слове «пянджшанбе», то бишь «четверг»,— дюжина точек в одном слове! Пока проставлял, смотрю, уже никого в канцелярии не осталось.)

И без иных закорючек, и гласные есть меж согласных, чтобы уразуметь, о чем написано и к чему призывается. Я мысленно проставляю между «ггл» два «о», чтобы прочесть Гоголь, есть такой великий человек, а ты два «е», и уже читаешь имя другого великого человека — Гегель, а третьему вздумается меж согласных проставить в уме, если проголодался, «о» и «а», чтобы получить вкусную лепешку «гогал» и тут же, оторвав от листа, съесть.

Любезнейший брат!..

А разве письма еще не отправлены? И кто кому пишет? Фатали — Кемалуддовле или Кемалуддовле — Фатали?

Зло торжествует и пышно цветет. И коль скоро мы все это понимаем, видим, говорим между собой, возмущаемся, негодуем, все-все!.. Но молчим, поддакиваем. Ведем двойную жизнь, подлую и лицемерную. Доколе? Разум не признает, когда некогда живого и мудрого человека превращают в святого. Но попробуй доказать глупость: из суеверного страха тебя сочтут сумасбродом или пустомелей. Но скажи им: до появления истинного пророка, представляющего божество, на земле существовало множество ложных религий в различных видах идолопоклонства; почему же всевышний терпел их столько тысячелетий? А не выдумали ли их предприимчивые честолюбцы, одержимые зудом нетерпения и стремлением утвердить свои эгоисти-

ческие цели, от какой-либо неполноценности — физической или нравственной?

О атеисты! — говорят нам!

О бунтовщики! — кричат нам.

О!.. О!!!

Ах ты беспутный еретик!

А мы вот еще что скажем: субстанция бытия есть противоположность небытию, следовательно, она в своем происхождении не нуждается в каком-либо другом бытии и есть единое, целое, могущественное, совершенное, всеобъемлющее существо, и оно, это бытие, не нуждается в причине для своего существования. И нет необходимости помимо этого существующего мира вообразить сперва какое-то другое невидимое бытие, дав ему название божества.

Мы были и есть. Мы неизбежны. И будем каждый раз рождаться впредь, пока брачными узами связаны догматическая вера и деспотическая власть, порабощающие дух и плоть.

Где это я могу издать? Кому показать? Оригинал на родном, тюркско-азербайджанском, на фарси и на русском. Можно латинскими буквами — в типографии наместника,— заменив некоторые русскими. Кайтмазов качает головой:

— Нет!

— Но чего кричать-то? Нет так нет...

Пьесы изуродованы. Повесть о Юсиф-шахе будто прошла через нож евнухопромышленника...

— Разрешить издание на тюркско-азербайджанском? — размышлял Кайтмазов.— А что говорит Кавказский цензурный комитет? Не могут сами разрешить? Чтоб я? Я всей душою «за». Пишите прошение в Главное цензурное управление. Я вашу просьбу поддержу.

И Фатали написал — так положено — в Главное управление по делам печати. А оно послало на заключение вос-

точному цензору Санкт-Петербургского цензурного комитета.

Но что пишет тифлисский губернатор? Невнятно? И «за», и «против», то по подкове, то по шляпке гвоздя. Очень нравится эта поговорка столичному восточному цензору — мол, ты взялся подковать коня, а молотком то по подкове, то по шапке гвоздя, эх ты, ковщик!.. «...Не могу не высказать, однако,— пишет в секретном послании тифлисский губернатор в заключительной части, после того как весьма тепло отозвался о личности Фатали,— что развитие литературы на тюркско-азербайджанском едва ли послужит целям сближения и слияния туземцев с нашим народом. Тюрки менее всех поддаются слиянию. Развитие же литературы на их родном языке может лишь пробудить среди инородцев национальное самосознание и — может быть, более того — политические мечтания»,— тем более что на русском-то языке и пиесы, и рассказ о Юсиф-шахе изданы!

«...Если даже не было бы ответа тифлисского губернатора,— пишет столичный восточный цензор,— прошение надо было бы отклонить, ибо разрешение издания помогло бы объединению разбросанных по различным частям империи тюрко-татар, тогда как в интересах правительства, чем слабее связь между ними, тем лучше». А восточный цензор в столице и забыл, что речь идет о выпуске одной лишь книги о лжешахе,— у него заранее был готов стандартный ответ на все возможные просьбы о разрешении как отдельных, так и периодических изданий, и ответ годился на все случаи жизни: и по части просьб новоявленного Фатали.

И Фатали пишет издателю: «Может, «Письма» на русском, а?!»

Нет, это не перевод! Все — оригиналы: и на тюркском, и на русском (с помощью Адольфа Берже), и на фарси! Оставил в тюркском оригинале: «Что делать? Как быть с

тиранией и рабством? Избавиться! Совершить революцию!..» «Вы с ума сошли, Фатали!..» — чуть в обморок не упал добрейший Берже, когда Фатали ему тюркский текст вручил. «Ни за что нельзя оставить! — собственной рукой.— И слушать вас не стану!..» — вычеркнул. Добрейше-милейший Адольф Берже,— как же ему откажешь?..

«Я полагаю, что цензура не будет препятствовать изданию этой моей книги, потому что в ней ни единого слова нет против нашего правительства и против христианства (не писать же, в самом деле, что я враг всякого религиозного дурмана, против религий вообще — всех!.. но ничего от меня не убудет, если чуть-чуть подслащу слово: лишь бы издать!). Более того: мусульмане убедятся в явном превосходстве христианства перед исламизмом (лишь бы вышли «Письма»!); с начала и до конца книга восхваляет образ жизни европейцев, их нравственность, гуманность, правосудие, законы, осуждает грубость, жестокость, безнравственность и варварство мусульман! (вы, мол, издайте, и тогда мусульмане «сольются с русским народом»; с *теми* русскими — да, с *вами* — нет, никогда!); исчезнет навсегда дух фанатизма и мюридизма (магическое слово, авось сработает?); вы скоро увидите, что слух об этой книге быстро распространится по свету, и кавказские книгопродавцы беспрестанно будут получать от (кого же? революционеров? мятежников? недовольных деспотическим образом жизни?.. какое найти слово, пока чернила не высохли на кончике пера?! вот! нашел!..) скептиков (!) в восточных государствах тайные (не надо бы этого «тайные», но сколько можно переписывать письмо?) заказы о присылке экземпляров. Но если сверх чаяния цензура вздумает допустить какие-либо изменения, то в таком случае я прошу (здесь надо решительно! хватит, чтоб калечили!) возвратить мне, потому что я ни на какие изменения не согласен!.. Я только собственник этой книги, а не автор, и прошу не упоминать обо мне, потому что я не же-

лаю обратить на себя злобу и вражду моей нации, которая в настоящем своем невежественном состоянии (да! да! именно это!.. но ведь настанут же, черт побери, иные времена, когда поймут, и именно это останется, а сгинет карамельное, слащавое, раболепское, ложное, «чего изволите», барабанная дробь, оплачиваемая чинами и наградами, но поймут ведь когда-нибудь, что для ее же, нации, пользы хлопочу... еще есть иллюзии, и они не покинут Фатали никогда, он верит, враг чудес, в чудо и мечтает...); можно дать,— и пишет, и пишет Фатали свое письмо издателю,— иллюстрации; будь я художником, я бы нарисовал Алазикрихи-асселама, водрузившего на главной площади столицы четыре разноцветных знамени, вокруг трибуны, где он стоит и торжественно провозглашает народу реформацию; а может, сцены религиозной мистерии фанатиков? и выбрать красивые, разборчивые и немелкие шрифты?»

Кто издаст? Какие восточные страны осмелятся? Будто пустыня кругом, и один Фатали. Сколько людей исчезло — их не нашли ни живыми, ни мертвыми... И Хачатур, и Мечислав, и Александр.

И даже Колдун куда-то девался, исчез, испарился. Пустыня! Впору бы появиться, выйти ему навстречу Азраилу, он уже в пути.

Обещал содействие Адольф Берже, он только что издал свой персидско-французский словарь. «Очень вам рекомендую, вы, кажется, ищете учительницу французского для вашего Рашида? мадам Фабьен Финифтер». Она вся круглая-круглая, и лицо, и глаза, и очки, большие и круглые.

Рашид уже стал говорить по-французски — не сон ли это, аллах?

Маленькие могильные плиты, на которых уже зеленая плесень, на кладбищенском холме, но уже иссякли силы у Тубу, живы три дочери да два сына, но очень скоро прой-

дет новая волна холеры и унесет двух дочерей и одного сына, и останутся лишь сын да дочь!

Рашид делает успехи. Ему четырнадцать, возраст Фатали, когда они спасались в садах Гянджи от войск то ли Аббас-Мирзы, то ли царя, и Фатали видит, как сталкиваются чужие войска на его родной земле вблизи от могилы Низами Гянджеви. Но мог ли он тогда подумать, что настанет день, и его дочь Ниса-ханум станет женой внука Фатали-шаха и косвенно, через внуков уже самого Фатали, вольется в родословное древо шахской династии... Трижды брался Фатали прочертить, чтоб не запутаться, генеалогию шахов каджарской династии, о боже, сколько их! И сил не хватило дочертить: двести детей у Фатали-шаха! А ведь здесь обозначатся и его собственные потомки, когда он выдаст дочь за внука Фатали-шаха — Ханбабу-хана, принявшего царское подданство; это сын Бехман-Мирзы, с которым — и с Хаджи-Муратом! — Фатали сидел в ложе тифлисского театра, слушал итальянскую оперу... Придет время — дочертит генеалогию (когда родятся у Фатали внуки).

Может, все-таки осмелятся русские издатели? Времена-то уже другие, сгинул тиран, наступили, кажется, весенние дни?.. Даже Кемал Гюней в Стамбуле, уж, казалось бы, что ему? почти поздравил Фатали, когда сказал: «Да, у вас большие перемены ожидаются, мне еще в плену ваши *мужики* объяснили, будто царь волю крестьянам дал».

И рыжий сын соседа Али-Турана — Фазыл: «Я в Лондоне читал!..»

Но что с издателями? Замер, молчит петербургский. И ты молчишь, мой Рухул-Гудс, мой Мелкум-хан! Но отчего ты молчишь, а?

Слух о «Письмах» уже распространяется. Еще на приеме в Стамбуле по случаю отъезда на летние каникулы царского посла военный атташе Ирана в Турции Абдул-

Вахаб-хан спросил у Фатали: «Я слышал, вы какие-то вулканические письма сочинили?..» Фатали аж поперхнулся: «Откуда вам сие известно?» — «А мне Мохсун-хан сказал, он недавно здесь проездом был, слышали, нашим послом в Лондон назначен, восхищался вашей смелостью!.. Если окажется у вас лишний экземпляр, был бы весьма рад иметь!..» — «Я люблю Мохсун-хана, готов целовать его глаза, но в день страшного суда схвачу его за подол и скажу ему: «О любезнейший Мохсун-хан, что же вы на меня клевещете, выдавая за автора «Писем», в то время как автор их — индийский принц и иранский принц, и они оба, два друга, находятся сейчас в Каире и живут в отеле «Вавилон»! Я ведь только собственник писем, перевел их с фарси на тюркский, а с моего тюркского перевода, представьте, какой-то чудак снова перевел их на фарси!..» — «О Фатали! — читает он в глазах собеседника.— Какой же вы выдумщик! Мне говорили прежде, а я не верил.» Мол, пусть так, многозначительно улыбается военный атташе, «о, эти коварные персы!..» — хотя никакого такого иранского принца, за индийского не ручаюсь, нет ни в Тегеране, ни в Тавризе, ни в Каире. А вы всетаки пришлите, если лишний экземпляр будет.

И Фатали послал. В самое логово! И письмо в придачу: «Я убежден, что после прочтения «Писем» не захотите поддерживать со мной отношения...» Стрела выпущена из лука. И, как ожидал Фатали, ни слуху ни духу.

Знает, что после «Кемалуддовле» будет лишь пустыня, друзья новые и друзья старые — все разбегутся, чтоб не навлечь на себя гнев и беду: общаться с еретиком, атеистом, ниспровергателем аллаха, пророка, тиранов!

И еще экземпляр в Лондон, послу Ирана Мохсун-хану: туда едет его брат. По почте ведь не пошлешь — цензура! «Не благодаря ли Вам,— пишет Фатали Мохсун-хану,— и Вашей похвале, добрым Вашим словам я получил такую славу среди Ваших высокопоставленных?» Слава-то двоя-

кая — от которой шарахаются, даже если тянутся поглазеть: «А ну что за диковинная птица?»

И все же — послать! Пусть «Кемалуддовле» работает хоть так!

«Но есть у меня условие! Называйте подлинное имя автора только тем, кто умеет хранить тайны (да чтоб восточный человек хранил тайны?!). И давайте читать лишь тем, в чью честность вы верите безусловно. И попросите, чтоб читавшие написали аргументированную критику» (Хотя бы так распространить идеи «Кемалуддовле»! Лучшая пропаганда — критика!). «Посылаю вам письмо,— завершает Фатали,— без подписи и даты!» И тут же: «Кстати,— потом ругал себя, но что толку? — государь император пожаловал мне чин полковника»; снова укрыться за мундиром? Придать весомость? Но чему? И кому?!

И тоже — гробовое молчание. Прочли? Пустыня!..

Взял экземпляр, отправляясь по новому назначению — послом Ирана в Париж вчера еще консул в Тифлисе Мирза Юсиф-хан. Есть и его доля в «Письмах», советовался с ним Фатали, переводя свое сочинение на фарси. А именно в эти дни был у посла в Париже знаменитый петербургский востоковед профессор Мирза Казембек, тот, кто принял католицизм, прочел «Письма», не со всем согласился, но дважды воскликнул: «Ай да молодец Кемалуддовле!» Мирза Юсиф-хан послал Фатали читанный Казембеком экземпляр с его пометками, предлагает кое-какие отрывки изъять и тогда, говорит, не будет никаких препятствий к изданию. Письмо пришло, а «Кемалуддовле» пропал.

«Изъять!»

Ни за что! Хватит потакать властям, цензорам, прихоти трусливых, которые боятся собственной тени.

Мирза Юсиф-хан на расстоянии чувствует гнев Фатали и пытается его успокоить: чего ж ты хочешь? ведь год зайца наступил — все в бегах, волки рыщут, а зайцы трусливо прячутся!

А через год Фатали — Мирзе Юсиф-хану в Париж: «Ну да, год льва — сильный поедает слабого!..» Писал, не ведая о том, что лев с мечом, изображенный на ханском знамени, съест, непременно съест и самого Мирзу Юсиф-хана... Тот промолчал, а потом наступил год змеи, и надо же, чтобы именно в этот год — а ведь суеверен Мирза Юсиф-хан! — взбрела ему в голову несбыточная идея: ну вот, надышался вольного французского воздуха! Расплатится с ним шах в Казвинской тюрьме!

«Да нет же, нельзя! — пишет Фатали Мирзе Юсиф-хану.— Чтоб конституция на основе корана?! Это же издевательство! Как можно рядом два противоположных понятия: конституция и коран. Социальный прогресс и религиозные догмы. Это фикция и фразерство. Дорогой мой, зря ты мучился, выискивая созвучия с конституционными идеями в коране, чтобы, как ты пишешь, «народ принял твою конституцию». Разве кто-нибудь из деспотов — будь то Европа или Азия — прислушивается к наставлениям? В Европе некогда пытались наставлять угнетателя для предотвращения его тирании, но поняли, что это — пустая трата времени. Поэтому нация, в столице которой ты живешь, осознав пользу единодушия и сплотившись воедино, обратилась к угнетателю со словами: «Удались из сферы государства и правительства!» И удалила его! И создала новую конституцию. А разве мы способны сказать тирану, мы и вы: «Удались!»? Никогда!

Какая при тирании может быть свобода и неприкосновенность личности? Вам кажется, что при помощи умершей схоластической веры можно будет применить на Востоке французскую конституцию, то есть прекратить угнетение плоти и духа. Никогда! Соблюдение справедливости и прекращение тирании возможны вот при каком условии: сама нация должна созреть до проницательности и развиться до благоразумия, создать условия союза и единодушия и затем уже, обратясь к угнетателю, сказать ему:

«Удались!..» И лишь затем издать законы соответственно требованиям и духу эпохи, выработать подлинную конституцию, где слово и деяния не противоречат друг другу, и следовать ей не во фразах, а на деле. Лишь тогда народ найдет новую жизнь... А впрочем, как сказал великий Саади: «Какое мне дело до всего до этого? Ни на верблюде я не сижу, ни под поклажей, как осел, не нахожусь, не являюсь ни господином рабов, ни рабом господина...» Клянусь всевышним, я жалею, что ударился в заумные размышления и морочу тебе голову. Но что делать? Взыграла кавказская кровь, потерял рассудок и стал бредить... Каюсь и молю о пощаде!»

Но отчего молчит Мелкум-хан? Фатали послал ему, чуть ли не первому, экземпляр «Писем». «Где ж твоя уверенность, друг? Ведь это твои слова: «Я оставлю все свои дела, брошу занятия, чтоб издать ваши труды, особенно «Кемалуддовле»!»

Фатали передали слова иранского посла в Турции Гусейн-хана, того самого, у которого Фатали в Стамбуле гостил: «Разве глупцам, выжившим из ума, еретикам и бунтовщикам следует отвечать на письма? У нас за такие речи — в каземат, в крепость, львам на съедение!..»

Скажи мне, юный мой друг Мелкум-хан: я ли спятил с ума или они, государевы мужи?

И даже Ханыков против идеи реформы алфавита и «Обманутых звезд»! А как ему верил Фатали. Еще в те далекие годы, после секретной миссии по поводу бывшего мучтеида, духовного вождя мусульман-шиитов Феттаха, Ханыков стал отговаривать Фатали,— стоял перед ним, как слон, на своих слоновьих ногах и трубил: «Не надо! Не надо! К чему дразнить? Как бы эхо!..» А потом о присяге, разве не давали? Мол, от сих сочинений и до прямых действий... Что за действия? Молчит. Тайные общества? Масонские ложи? Что?! И шепчет, лишь губы выдают, будто молитву, текст присяги: «Я, нижеподписавшийся, сам объ-

являю, что я ни к какой масонской ложе и ни к какому тайному обществу ни внутри империи, ни вне ее не принадлежу и обязываюсь впредь к оным не принадлежать и никаких сношений с ними не иметь...»

А принц Джелаледдин-Мирза, умнейший из сыновей персидского Фатали-шаха,— за! Может, потому, что в опале? Иные наследники заняли ключевые посты, а он: «Даже губами пошевелить не могу!» Шах, что на троне, Насреддин-шах, всех этих сыиков Фатали-шаха (они доводятся ему, по схеме Фатали, двоюродными дедами!) с их уже очень взрослыми сынками, троюродными шаху дядями, люто ненавидит! Наплодил Фатали-шах детей!

А что с Мирзой Юсиф-ханом, с его идеей конституции на основе корана? Он отозван из Парижа в Тегеран, как бы с ним не расправились. На его место, послом в Париж, едет Мирза Гусейн-хан? Подкапывался — и докопался! Поганить коран бредовыми идеями? Ну да, ведь дружен с Фатали — вот откуда идет ересь! И подкинул шаху: вам, мол, казалось, что Юсиф-хана с пути истинного сбили французы, как бы тут не было руки наших северных соседей!

Молчит отозванный из Парижа Мирза Юсиф-хан.

И эта проклятая эпидемия холеры,— что ни год, новая эпидемия! Фатали застрял на даче под Тифлисом, в Коджори,— выехать не может.

Наконец-то пришла весточка от Мелкум-хана: записка, посланная нарочным. «Что за дикость? — возмущается Мелкум-хан.— Кое-кто из османцев твердит: «Мы, только мы должны выступить с реформой алфавита, а не какой-то полуиранец Фатали или армянин Мелкум!» Премьер Али-паша? На словах он как будто за нас, но такие горластые у него министры, на весь меджлис вопят: «Изменение алфавита станет началом конца исламских государств!.. Этот священный шрифт — неразрывная часть нашей чистой веры!..» Но только ли мы хотим изменить арабский

алфавит для тюркских народов? Ученые французский, английский, итальянский — все, кому дороги интересы просвещения народа! Что можно сделать?

«Порой я стыжусь, что живу в это время,— пишет Мелкум-хан Фатали и приводит в письме диалог двух земляков, слышал у Греческой стены в Стамбуле:

«Ты жалуешься, что мы безмозглы? Ты прав: надо, чтоб белый царь заменил нашу кровь, позолотил наши волосы, окрасил в голубое наши глаза, может, тогда мы поумнеем!»

«Вот-вот! — отвечает ему другой.— Хорошо бы! Нечисть покроет мир, и явится тогда скрывшийся двенадцатый имам! Но не будем отчаиваться — будущие поколения воздадут вам честь, и об их будущей благодарности я хочу написать вам, Фатали, именно сегодня! Пусть ныне раздаются в ваш адрес проклятия: настанет день, и благодарные потомки придут на нашу могилу!..»

Был густо исписан лист — ответ Фатали. Обидно, что потомки будут думать о нас: какие ж они были глупые, слабые и трусливые! Глупые — потому что поклонялись глупцам. Слабые — потому что порыв благородного негодования вспыхивал лишь изредка. И трусливые: дрожали за свою жизнь (а ведь смерти не миновать!). Но были среди нас и такие, и они — современники наши, которые осмысленно шли в бой. Гибли в казематах, сходили с ума, лезли в петлю, кидались на штыки.

Сожженное письмо.

И снова, уже давно, молчит Мелкум-хан. «Что ж ты, а?! Судьба благоволит к тебе — дважды ты вырывался из лап шаха-деспота...»

Когда познакомились в Стамбуле — молодой, образованный, а Фатали — почти в отцы ему годился.

— Да, у меня был друг... Слыхали? Хачатур Абовян. Нет? Как же можно? Ну да, он исчез, когда вы были еще подростком.

— Не он ли поднимался на Арарат в поисках Ноева ковчега?

— Да, он. С профессором из Дерпта, Парротом!..— «Я слышал о вас, о вашем масонстве, «Доме забвения», но о каком забвении может быть речь, когда кругом творится такое? Рад, что нашли в себе силы оправиться после высылки. Вам что: в совершенстве владеете французским, турецким, родными вам фарси и армянским! И вы придумали прекрасно, приняв турецкое подданство, больше будут считаться с вами в Иране! Увидите, вам еще в ноги кланяться будут! Это только начало, что вы советник посольства в Стамбуле, где им найти таких, как вы, образованных людей?»

Мой Рахул-Гудс, Мелкум-хан! Ты крепил во мне веру в будущее!.. И наша борьба за просвещение народа! И наши беседы о твоих масонских ложах!.. Отчего же ты молчишь?

Фатали недавно только мечтал: Рашид пойдет учиться, а он уже изучил арабский, фарси, знает свободно русский и французский, закончил гимназию, куда дальше? В Петербург? Тубу ни за что: климат погубит! Он пошлет Рашида в Париж! «Это уже было в твоей комедии, хватит! Ни за что! Может, новую комедию написать?!» А и правда: закрутят развлечения голову! Мадам Фабьян Финифтер — из Брюсселя, а там известный на всю Европу инженерный институт по строительству железных дорог. Как же он забыл? Еще когда родился Рашид, год или два ему было,— завершилось, девять лет ждали! строительство железной дороги, Николаевской. Вот бы и Рашиду здесь в Тифлисе... Но возможно ли? И вышел потом указ: привлечь специалистов иностранцев к строительству железных дорог; и где, как не за границей, научиться? Да, это ново, это твердая специальность, не то что сочинение ро-

манов и пьес, которые, если ты честен и правдив, останутся в сундуке, «сундучная», как говорит Тубу, литература!

Рашид и впрямь стал переводить, причем с французского на русский: Мелкум-хан с братом иранского посла в Лондоне (с кем Фатали посылал «Кемалуддовле», а тот на обратном пути из Лондона заехал в Париж и случайно встретил Мелкум-хана, жив, слава богу) прислал Фатали знаменитое письмо французского ученого Шарля Мейсмера премьеру Турции о необходимости замены арабского алфавита, неудобного для тюркоязычных народов и мешающего их просвещению; Рашид перевел это письмо на русский, а Фатали взялся переводить с русского на фарси и свой родной тюркский.

И уже пишет Фатали его превосходительству губернатору Тифлиса Орловскому заявление, просит, чтоб выдали два паспорта для поездки за границу — сыну Рашиду и семейному повару, который присмотрит за Рашидом. Правда, он уже привык к пансиону: когда неожиданно уехала мадам, учить Рашида по ее рекомендации взялся тифлисский педагог французского языка Гинярд, с пансионом, и специально было оговорено, какой пищей кормить Рашида: чтоб не было ни при каких обстоятельствах свинины!

Губернатор отказывает. Подключается великий князь-наместник, а к нему ходатаем — немецкий путешественник, востоковед и генерал Куно Фишер, профессор из Гейдельберга,— никак не получается без ходатаев!.. «А может, пошлете к нам?.. Ах да, увы, увы, немецкому вы его не учили, а между тем востоковедение... Ах, простите, вы его по инженерной части!..» Сдружились они, Фатали и Фишер, еще в пятидесятые; тот часто приезжал в Тифлис, а однажды обиделся, что Фатали — гость уже столько дней в Тифлисе! — еще не известил его; прислал к Фатали слугу с запиской, а Фатали сидел погруженный в чтение удивительной книги об удивительной личности — Христофоре Колумбе... «Что ж ты забыл нас, друг? Зайди к нам,

доставь удовольствие своей милой беседой». И чтоб князь-наместник отказал немецкому генералу?! Вот оно — разрешение. Да еще рекомендательное письмо на имя российского консула в Брюсселе.

И пошли написанные по-русски письма Рашида из Брюсселя: «Дорогой отец», «Отец мой», «Папаша». А то, первое, начиналось так: «Отец! Я, кажется, оставил «Кемалуддовле» в Тифлисе. Прибыв в Брюссель, я его не обнаружил». Как так? Ведь Фатали сам положил в чемодан! «Сынок, поищи!» «Да нет же,— пишет Рашид,— не иголка ведь!..»

А мысль была такая: отчаявшись (ведь все молчат!), Фатали решил послать свой русский перевод «Кемалуддовле» с сыном в Брюссель: переведет на французский и, может быть, издаст там? Или, всякое случается, прямо на русском? «Поищи, сынок!..» А потом: «Я пришлю тебе новый экземпляр, с почтой!» То ли послал, но осело на таможне, то ли не послал — дело ведь безнадежное. Потом успокоит сына: «Любезнейший Рашид! Кажется, готовится выпуск на русском языке «Писем Кемалуддовле»; и месяца через три: «Живу надеждой, что скоро выйдет «Кемалуддовле»; и еще: «Не знаю, увижу ли до конца дней своих осуществление этого моего желания; или и оно, как и другие, останется призрачной мечтой?»

А Рашид многие годы спустя после смерти отца чуть было в порыве отчаяния не сжег «Письма». Каждый раз что-то ему мешало вытащить их из сундука и сжечь. Сначала мать мешала, а потом... Запутались у Рашида дела — и на железной дороге, и в семье, появилась еще какая-то женщина, стал пить, лишь изредка вспыхивало: все невезение от них, от этих еретических «Писем» отца!.. Сжечь, сжечь!.. И каждый раз что-то всплывало, мешало. Решил испытать судьбу, вошла в моду «русская рулетка»; Рашид недавно в одной шумной компании видел: все замерли, когда грузин раскрутил барабан и приставил дуло к ви-

ску: пуля оказалась не в гнезде, и боек ударился в пустоту; купил револьвер — белый полированный ствол, черная костяная ручка, мягко и плавно вращается барабан, а в нем семь гнезд; вложил одну пулю в гнездо и закрутил барабан; он кружится, а дуло уже у виска. Тишину взорвал тогда не выстрел, а нервный хохот грузина: «Трижды стрелялся — бог миловал!..» Рашид загадал: если суждено — погибнет, так уж начертано, а если останется жить — сожжет... И лишь на миг со страшным грохотом успело вспыхнуть: «Письма»!..

Фатали и верит в сына, но и помнит свои споры с ним, еще в Тифлисе, когда Рашид учился в гимназии. Фатали не знал, кто-то проболтался: Рашид, мол, боится прослыть гяуром, вероотступником и потому выходит из дома с благословения матери в обычной одежде, чтоб соседи не заклеймили как нечестивца за то, что тот изучает «русские науки», а в тупике, неподалеку от гимназии, переодевается в гимназическую форму!

Спорили с сыном о Вольтере, о Бокле, о коране, об идеях Кемалуддовле. Рашид во многом согласен с отцом, но он — вот что было неожиданно для Фатали — всерьез заявил, что будет поститься. И молиться тоже будет.

— Я, старый, из сетей былого темного времени еще не вполне выпутавшийся, не только на словах, на деле выступаю против позора невежества... Что пост, молитва, мечеть? Лицемерие, обман, дикость и отсталость! Когда я прохожу мимо лавочника Мешади-Касума, он отворачивается, и я слышу, как он шепчет: «О боже всесильный, почему ты не обрушишь на голову еретика камни? Почему не разверзнется земля и не поглотит безбожника?» И только мундир мой спасает меня.

— Вот-вот! Мундир! Отец, я с тобой во всем согласен, но я... Не обижайся, только я буду поститься. Да, ты прав, дикость и прочее, но не сердись. Хочу, чтоб считали меня настоящим мусульманином и истинным шиитом.

— Право, мне смешно! — сказал Фатали.

— Ну и смейся на здоровье! — Тубу говорит.

— Но я верю все-таки, что после меня ты... На тебя лишь мои надежды, Рашид.

О чем еще мечтаю? Пожить бы годков семь-восемь, чтобы вернулся из Брюсселя Рашид, сыграть ему свадьбу!.. Дочь Ниса-ханум устроена, слава богу. После Стамбула выдал ее за внука Фатали-шаха Ханбабу, сына Бехман-Мирзы, служит в войске императора, стал царским подданным, честен, прям, уже два внука. И задумался, глядя на только что нарисованную генеалогию шахов каджарской династии. От Фатали-шаха до нынешнего Насреддин-шаха — четыре слоя поколений.

Да, каджарского рода внуки Фатали!.. Но кто из них останется?!

По стопам Фатали идут другие: появился первый у персов драматург Мирза Ага, он прислал свои пьесы на суд учителя, но они не могут быть поставлены: нет театров! Времена дидактических сочинений и мистических писаний канули в вечность. Ныне полезными, отвечающими интересам нации являются роман и драма.

Выходят пьесы Фатали в переводе на фарси,— переводчик прислал письмо, очень интересуется «Кемалуддовле». «Но откуда вы знаете, мой дорогой брат Мирза Магомед-Джафар, что «Письма» эти написаны со злым умыслом? «Письма» эти,— терпеливо разъясняет Фатали,— не проповедь, не наставление, а *критика,* без иронии, сарказма, насмешек, колкостей невозможно искоренить зло и насилие. Довольно мы отечески наставляли и читали проповеди, это пустая трата времени и сил, угнетение и деспотизм не уменьшились, а увеличились, стали изощреннее, хитрее. Уясните, дорогой брат, разницу между критикой и наставлением! Эту тайну разгадали в Европе и некоторые — в России, а мой народ не ведает еще об этой тайне. Вы привыкли к сладеньким проповедям да вежливым настав-

лениям; ай да молодец!.. А вы найдите мужество бросить в лицо кровожадному тирану и лицемерному деспоту свой гнев, сарказм, иронию!..»

Кое-кто считает — это спор с Казембеком, и он непременно выскажет несогласие, что если бы Кемалуддовле излагал свои мысли чуть мягче и вежливей, пряча их под чадрой подобно примерной женщине, скрывающей лик от взглядов мужчин, то «Письма» встали бы в ряд с сочинениями великих Руми и Джами. Но что изменилось в мире после прежних великих Востока с их отеческими наставлениями? Меня вдохновляет Бокль и Вольтер... Смело, бесстрашно, без утайки. Я намерен напечатать «Письма», ничего не меняя в них. Вы, Казембек, говорите: «Смягчить!» А я слышу: «Иссушить! Погасить! Притупить!» Я верю, найдется кто-нибудь из наших бесстрашных потомков, который не побоится опубликовать эту книгу такой как она есть.

Сколько надо ночей, чтоб переписывать и переписывать «Письма»? Экземпляры уходят, уплывают, и будто в глубокий колодец бросил камушек: Рашиду, Адольфу Берже (как же не послать? помог перевести на русский!..), в Лондон, в Стамбул, в Тегеран; одному книгоиздателю в Петербург, другому. Молчит Исаков, молчит Гримм!

Но будут выходить «Письма». Другие... То ли подсказка Фатали, то ли перевод Фатали, а то и плагиат!.. Требует обратно рукописи, на фарси и русском,— но разве заполучишь их назад?

А сколько экземпляров на фарси! Не успеет купить бумагу, а уже папка пуста, перо, как верный друг, готово без устали трудиться — лишь бы захотеть Фатали! Недавно только вся конторка была завалена белыми листками, а уже надо посылать слугу Ахмеда за новыми пачками.

И еще один жаждет получить: прислал весть, наслышан о «Кемалуддовле», французский консул в Реште, зна-

ток фарси мсье Николаи. Но нз Решта, куда Фаталн написал, ответили: «Уехал в Париж». Телеграмму в Париж с оплаченным ответом: послать ли вам через французского консула в Тифлнсе? Ответила жена: Николан уже в Тегеране; проездом в Решт? нли новое назначение?.. Ну, наконец-то письмо от Николаи, нз Тегерана. Фатали отвечает: «Послать рукопись в Тегеран? Не смогу. Опасно!.. Еслн узнают власти Насреддин-шаха (а ведь четвероюродный брат твоему внуку, Фаталн!..) — несдобровать вам! Подскажите путь, как нначе?» И новые надежды: а вдруг переведет?! Ведь писал: очень, мол, мечтаю, да еще подсластил: «Поистине уникальное произведение!» Но ничего не получилось, сгинул, исчез Николаи!

И утомительные разговоры о «Кемалуддовле» с принцем Фархад-Мирзой, правителем Фарсистана, тоже нз сыновей Фатали-шаха. Слышал о «Письмах», не знает, как реагировать: неужели возможно? Но принц хорошо знает восточных людей: порой такое наговорят о человеке, что всю жизнь мыть и драить будешь — не отмоешь! Принц Фархад-Мирза, двоюродный дед Насреддин-шаха, едет в Мекку, и ему очень хочется повидать еретика Фатали. О родстве нн слова: принц чувствует себя оскорбленным за звезды, это вышло на русском и ему с листа перевели, а потом прочел в тюркском оригинале. И о «Кемалуддовле» ходят разные слухи, и он не может им поверить — возможно ли такое, что говорят?

— Мирза Фаталн, рассказ о седельнике Юсифе в историческом сочинении Искандер-бека Муншн краток, всего две-три фразы, отчего вам понадобилось так его расписывать?

— Принц! Я обратился к истории не ради самой истории, а чтоб сказать о нашем с вами времени. Ведь такой емкий сюжет!.. Я взял историческое лицо, исторический сюжет и увидел в нем нас и нашу боль. Продолжать, принц, или достаточно?

— Да, да, я именно об этом напишу в своих путевых заметках!

Или Фатали не уловил иронию?

— Тогда от вашего путешествия в Мекку будет толк. К чему описания: «сели и поскакали», «проехались в колясках», «славная была охота», которыми пестрели недавно заметки о путешествии шаха?

Фархад-Мирза смутился.

— Мирза Фатали,— говорит он, помешкав,— не надо!

А ведь понравилось ему, думает Фатали. Ликует, что я возвеличил его; но вынужден отмести — ведь на встрече сидит еще один человек: иранский консул; дойдет до шаха, а с ним лучше не связываться!

А потом Фархад-Мирза и Фатали поехали в коляске на встречу с генерал-адъютантом князем Орбелиани, он тогда, случалось такое, исполнял за отсутствием наместника кавказского его должность. Принц вдруг заговорил о шахе: — Его надо гнать, помяните мои слова — он плохо кончит.

Фатали поразила вспышка свободолюбивых мыслей в сыне Фатали-шаха, а тот еще и добавил: — Один Фатали — шах, он мой отец, но мы с ним враги по убеждениям, другой Фатали — чужестранец, но мы с ним единомышленники!

Принца с распахнутыми объятиями встретил князь Орбелиани, и разговор остался неоконченным. «Неужто,— думал Фатали, переводя речь Фархада-Мирзы на приеме у Орбелиани,— он и впрямь думает, что здесь наступило истинное благоденствие?!»

— Да, да, я слышал о вас,— говорил принц князю Орбелиани,— и даже знаю об аварском вашем правлении! Но я знаю вас и как большого поэта Грузии...— И, к удивлению Фатали, прочитал стихи Орбелиани.— Это мой собственный перевод на фарси!

Князь Орбелиани обнял принца и произнес выспрен-

нюю речь, почти непереводимую на фарси, и Фатали изощрялся как мог.

Когда вышли от князя, принц рассказал Фатали, как тяжело в родном краю.

— Вы во сто крат свободнее, чем мы! Мы проехали с вами в коляске, никто нас не оскорбил, а когда я прохожу по родной улице с иностранцем, то слышу свирепую ругань моих земляков на языке, непонятном иностранцу, но режущем мой слух; это в том случае, если прохожий знает меня; а если не знает, то ругань швыряется и в мое лицо. И мне ничего не остается, как молча проследовать мимо. А однажды в ясный день в центре города оскорбили английского посла: некий Ханджан на спор со своим фанатичным дружком плюнул в лицо «гяуру» — английскому послу Алессону; он шел на прием к премьер-министру по случаю новогоднего весеннего праздника. Их схватили, но что толку? Ведь он оскорбил гяура, а это угодно аллаху!

— О наивный!.. Вы увидели райский уголок, но то был мираж, возникший перед путником в безводной пустыне. Вас ослепил блеск люстр в зале наместника, а уши забила лесть. Что царь, что шах, оба — деспоты. Не уподобляйтесь вождю мусульман-шиитов Феттаху и не будьте столь наивны, как покойный Фазил-хан Шейда. И я пришел к мысли, что шаха-деспота надо гнать. Вы правы, он плохо кончит!

Принц побледнел: — Неужели я мог сказать вам это?

— Не придумал же я за вас! — вскипел Фатали.

— Почему бы и нет? Ведь придумали с седельником. Не могли же вы не знать, что пишет историческая хроника, если уж взялись за эту тему. Юсиф, став шахом, предался разгулу и со своими дружками кутил, развлекался, глумился над людьми, измывался над их женами и дочерьми, и оттого разгневанная толпа растоптала его, и трон, как пишет писарь Шах-Аббаса Искандер-бек Мунши, стал для Юсиф-шаха гробом! Разве можно рисовать его просве-

щенным монархом? Где он мог усвоить прогрессивные идеи? Ну, я понимаю, ездил по свету, многое увидел, подвергался гонениям, но этого недостаточно, чтоб управлять государством. Да еще так разумно. Нет, нет, я не из тех узколобых своих земляков, которые вашу едкую сатиру приняли как нелюбовь к нашей истории, нации...

— Мне кажется, вы невнимательно прочитали мою повесть. Вы вытянули внешнюю канву, и повесть расползлась. И не без помощи цензуры... Но вы меня, кажется, не слушаете. Вас, видно, пленил князь выспренними тостами. Эти князья голубой крови! Умение порой выразиться так, что дерзость звучит как тонкая лесть, а взрыв негодования — как высшая похвала. Помню, ворвался однажды к Воронцову тифлисский князь-генерал: «Правда ли, князь?! — вот-вот выхватит кинжал и вонзит в наместника.— Я возмущен! Ты смеешь нас покинуть?! И теперь, когда в Крыму война!» — «Я стар, что поделаешь?..» — «Ну так и умри! Умри как верный солдат государя на боевом посту. Покинуть нас! Обезглавить Кавказ! Чтоб мы осиротели! Чтоб край погрузился в траур!..»

А потом Фатали, остановив коляску, сошел: «Следуйте за мной, принц, я вам кое-что покажу!..» И Фархад-Мирза пошел за Фатали. Высохшее багровое пятно на мостовой. «Это кровь!» И еще. Наспех засыпано песком, но кровь проступила, и песок почернел. «Еще не успели смыть. И это смыть нельзя!..»

— Но кто пролил ее?.. Нет, не поверю!..— воскликнул принц.— Чтоб он? Князь? Само жизнелюбие, изящество!.. Поэт-лирик?!

— Вы забыли: он еще замещает наместника. Он генерал-губернатор. Рука царя здесь, в Тифлисе... («Но кому ты говоришь, Фатали?»)

— И кто эти несчастные? — спросил принц.

— Ремесленники! («Ну да, вас ничем не удивишь!..»)

Это была мощная стихия — ремесленники двинулись ко

дворцу наместника, чтоб заявить протест против насилия властей, против княжеской роскоши, против бремени налогов: жить невмоготу!..

И Орбелиани приказал стрелять в безоружную толпу: «Никого не щадить!..»

Шли молча, а потом Фархад-Мирза заметил: — Но что ему оставалось делать? Любой бы правитель на его месте, а случись такое и в моем Фарсистане...

— Вот именно!

— Но как иначе образумить толпу? Еще хорошо, что свой казнит, уверяю вас,— улыбнулся принц, а Фатали от растерянности ничего в ответ придумать не смог,— ремесленники еще и поблагодарят его за отеческий урок!.. (И действительно, на лентах венка от тифлисских ремесленников, пришедших проводить князя в последний путь, будет написано: «Ты брату упавшему протягивал руку, чтобы помочь ему встать»). От своего земляка и боль переносится легче!.. Ну вот, мы уже у консульства!

Фархад-Мирза преобразился: принц!.. Неужто Фатали надеялся вызвать в нем сострадание к ремесленникам?

Двуглавое чудище

Никого рядом, не слышно ни Тубу, ни детей — все уснули, а за окном темень, и лишь язык свечи отражается в стекле, и смотрит на Фатали из окна усталый старый человек — неужто это он сам? И когда успел поседеть? Что-то шепчут тонкие, спрятанные под нависшими усами губы, шепчут тихо, не уловить смысла, а потом горестный вздох — то ли от быстротечности жизни, в которой, увы, ничего не меняется, не изменилось, изменится ли когда? То ли оттого, что приглашенный (такая честь!) на юбилей Орбелиани пошел, побежал, радуясь, как мальчишка. Еще бы!.. Сам государь! И даже намест-

ник великий князь специально прибыл из Боржоми, прервав курс лечения.

О поэте — ни слова, даже стыдно. Лишь мельком, как показалось Фатали, он поймал брошенный на него князем взгляд: отчаянье!.. Да, да, именно это!.. Или Фатали вложил во взгляд князя то, что жило в нем самом? Кто, глядя на Фатали и его полковничьи звезды, вспомнит о сочинителе?

Бунтарям — гибель, отчаявшимся... Фатали задумался: Бакиханов — в Мекку и Шамиль — в Мекку, он уже умер между Меккой и Мединой, как и Бакиханов некогда, но вести о смерти Шамиля еще не пришли в Тифлис; и даже тот, кому, казалось бы, не надо отчаиваться, генерал Куткашинский (может, грехи?.. но ведь рубил гяуров-поляков!.. или за думы о масонстве?) тоже в Мекку! Побег или изгнанье? Фатали как-то Рашиду, когда сын твердо заявил, что хочет считаться «чистым мусульманином»: «Кто начинает, как ты, непременно кончает Меккой!..» «А тебе,— заступилась за сына Тубу,— не мешало бы подумать о паломничестве!» И путь в Мекку мысленно прочерчен Фатали, путь отчаяния, а не замаливания грехов, но — никогда!

Но эта борьба, которая изощряет лишь деспота, и эти муки, которые укрепляют власть тирании, питая ее соками страданий, и она гасит порывы лучших умов, давит, ссылает, гноит в тюрьмах самых светлых и чистых своих сограждан,— доколе?!

Лишь сила штыков. Лишь воинство. И эти его полковничьи погоны на мундире,— фотография на столе, он пошлет ее вождю огнепоклонников, очень тот просил; и новые надежды: а может, распространить идеи «Писем» среди огнепоклонников, связаться с разветвленной — от Индии до Месопотамии — сектой зороастрийцев, находящейся в оппозиции к официальному исламизму, и заручиться их поддержкой в борьбе против духовной основы деспотиче-

ской власти? Вождю огнепоклонников рассказал о Фатали и о его книге, в которой развенчиваются исламизм и тирания, Джелалэддин-Мирза. Наслышан и Фатали о вожде огнепоклонников — Манукчи Сахибе Каяни. Он получил книгу его путешествий, выпущенную под псевдонимом «Дервиш Бренного Мира». Книга построена в форме диалога с шейхом, в котором раскрывается тяжелая участь гонимых огнепоклонников-зороастрийцев, насильно обращаемых в иную веру. Лишь книгу прислал Манукчи Сахиб — ни письма, ни обращения.

— Принц Джелалэддин-Мирза,— просит Фатали,— встретьтесь, пожалуйста, с Манукчи Сахибом, из моих уст передайте ему: «Эй, Манукчи Сахиб! Шейх, с которым вы спорите, и наш враг! Пути идей Кемалуддовле закрыты, а сам он вынужден прятаться и скрываться от тиранов. У него много друзей-единомышленников в разных частях света, и они имеют в руках его книгу. Идеи Кемалуддовле непременно распространятся по всему свету, придет этот день. И на людей подует ветер свободы. И сгинут деспоты.

Эй, Манукчи Сахиб! Кемалуддовле с вами в вашей борьбе против угнетения и насилия. Потерпите немного, и мы победим. Пусть только выйдет «Кемалуддовле»!..»

И Манукчи Сахиб откликнулся: «Да будут светлыми ваши день вчерашний, день нынешний и день завтрашний!..» Он не только слышал о «Письмах» — он эти «Письма» держал две ночи в руках и с помощью учеников переписал, составил несколько экземпляров, чтоб распространить, и сам переводит на древний каджаратский язык, родной индийским и персидским зороастрийцам, ищет пути, чтобы издать «Письма» на фарси и каджаратском языках, может быть, в Бомбее, и распространить по всему Востоку,— это «пробудит в массах тягу к культуре, возбудит протест против тирании, восторжествует *закон»* (это слово написал Манукчи Сахиб, о наивный, по-русски).

Знает Манукчи Сахиб и о Рухул-Гудсе — Мелкум-хане (не он ли передал «Письма»?), о его масонских ложах. «О, если бы мир был устроен по идеям Рухул-Гудса и Кемалуддовле! — мечтает Манукчи Сахиб.— Только я изменил имя Джелалуддовле на Игбалуддовле: не падет ли тень на очень популярное здесь имя принца Джелаладдина-Мирзы, поборника просвещения народа?..»

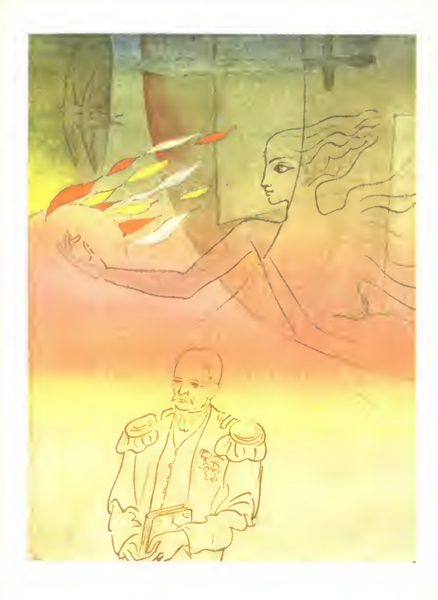
Вождь огнепоклонников Манукчи Сахиб получил фотографию Фатали и спешит сообщить ему о себе: на фарси понимаю хорошо, но пишу плохо, ибо родной мой язык каджаратский, пишет вам под мою диктовку мой ученик, свободно пишу и читаю по-английски, изучил в Индии. Оба, увы, уже стары — и Фатали, и Манукчи Сахибу за шестьдесят. «Мы не увидим, как расцветут наши страны, свободные и счастливые, а ведь расцветут же, иначе к чему эта наша жизнь, наши думы, наша борьба... верьте, дети наши...» — пишет Фатали, а сам в сомнении: «Увидят ли они?!»

И с огнепоклонниками — лишь переписка, разговоры; что они могут, если ничего не удается здесь: ни в Петербурге, где обещают два издателя, ни в Париже или Брюсселе, где Рашид и его друг, родственник крупного парижского издателя, ни даже в Тифлисе...

«Но есть типография в Тифлисе! — недоумевает Манукчи Сахиб.— Если издадите, я куплю сто экземпляров...»

Знает и Кайтмазов о «Кемалуддовле», но избегает встреч с Фатали, иногда ведет себя так, будто вовсе они незнакомы и он видит его впервые. Копится, зреет, сгущается: «Такие неслыханные дерзости! Такая взрывчатая ересь! Он спятил! В клетку его, чтоб водить и показывать! И казнить мало, чтоб кровь его не поганила землю!..»

По секрету сказали Фатали, что пришло письмо наместнику из Брест-Литовска, а тот передал письмо Никитичу; о какой-то рукописи в нем речь. «Знаете ль? У вас под



боком — подрыв основы веры и правопорядка...» — «Но о Востоке ведь, а мы как-никак — Запад!..» — «Да? Вы так думаете?! Вы что же, настолько наивны, что не понимаете? Или притворяетесь? Восток — это для отвода глаз, это маска,— сбросьте ее и вашему взору предстанет... Пояснить еще? Ах, вы не поняли, вам еще носом ткнуть!.. Да, наш правопорядок (не скажет ведь: «царский деспотический режим»). Не потому ли и за границу послать, чтоб там на русском?! Слава богу, закрылась вольная типография, погасла звезда, умолк колокол, вырвали ему язык, сгинул Искандер!..»

Экземпляр, как затонувшая лодка. Осталась лишь секретная записка, подшитая Никитичем в общую особую папку. Вот бы Фатали увидеть свое досье: там вехи его биографии; записанные разговоры о масонской ложе с Мелкум-ханом; споры с Мирзой Юсиф-ханом о конституции на основе корана и способах устранения деспотии; копии писем, которые переданы из рук в руки, и даже тех, которые Фатали так и не послал; и листок с грамматическим упражнением, в котором обыгрываются слова «гнет», «угнетатель» и «угнетенный»: чтоб устранить «корень», надо или добровольно отказаться от него, или прибегнуть к насилию и задушить в крепких своих объятиях! Или — или! Третьего пути не дано! Что пользы обращаться к угнетателю? Лучше сказать угнетенному: «Ты же во сто крат превосходишь угнетателя своей силой, числом и умением, так почему ты примиряешься с ним? Пробудись от сна и задай угнетателю такого жару, чтоб чертям в аду жарко стало!»; и объяснение Фатали, поданное на имя великого князя-наместника о рукописи «Кемалуддовле», и копии писем Рашиду в Брюссель; и выписки из писем сына, даже о его просьбе прислать хороший чай; и о падении курса рубля; и о новой войне с турками; и о том, что «я подозреваю живущих в Петербурге и Москве иранцев»; и — к чему, казалось бы, в досье, но по опыту Никитич знает,

что и это может понадобиться — о необыкновенном существе — двуглавом и четырехногом чудище; и о сиамских близнецах и еще несколько листков. Почерк самого Фатали. Но подписано почему-то «Теймур»!

Это все из той затеи, придуманной в секретной части Никитича, установить контакт с генконсулом Порты, приблизить чтоб к нам. Фатали возмутился: Что за работу хотят ему поручить?! «Ну нет,— мягко заметил Никитич,— просто встретиться, развеять ложные о нас мнения, вы же знаете, какие небылицы распространяют о нас». Короткие лаконичные записки «Теймура». «А вы,— предложил ему тогда Никитич,— изберите себе псевдоним!» И выбрал Фатали первое попавшееся имя. Так вот, записки Теймура, в которых рассказывается о встречах с генконсулом: говорили о китайских изделиях; об арабских интригах времен халифата; играли в шахматы.

Никитич просит Фатали: «Вы ближе к делу!» Ну нет, в этой роли Фатали выступать не будет! Трижды встречался Фатали с консулом Порты. «Мы подключим к вам еще нашего человека, он вам поможет!» Развязный, с лошадиными челюстями человек Никитича. Грубая, топорная работа!.. А ведь поначалу верил, что действительно хотят знать «истинную правду» о том, что значит для раздираемого междоусобицами края быть в составе большой и сильной державы, что значит Россия для его родных мусульманских земель. Пытался разъяснить. Но чтоб так бесцеремонно, с помощью лошадиной челюсти сделать из консула агента Никитича?! До чего же примитивная работа! На каком-то этапе Никитич усомнился; и Фатали расстроил их нечестную игру, когда явился тот, с лошадиными, сумел выказать консулу как хозяин дома свое неудовольствие приходом незваного гостя, которого он, Фатали, видит впервые; а тип был нагл и агрессивен!

В турецком консульстве, когда выдавали визу, не спросил о бывшем здесь некогда консуле. Может, у Богослов-

ского спросить? Но вдруг узнает Никитич? У кого же? Может, невзначай, у премьера, мол, служил у нас в Тифлисе... А ведь сбил он с лица премьера его неизменную улыбку... Но у Фатали такой бесхитростный взгляд. И багровая краска залила лицо премьера. «А мы его,— и вокруг шеи рукой, а потом пальцами над головой крюк изобразил,— как вашего шпиона!..»

А ведь мог остаться в живых. «Видите, что получилось,— втолковывает Никитич Фатали из тифлисской дали,— вы бы уговорили его служить нам, а лошадиная челюсть... согласен, груб, оскандалился... вот и пришлось нам придумать тому консулу примитивную, но испытанную месть, это же так просто — посеять сомнение!.. отозвали и,— тот же жест с крюком; вам казалось, что судьба помогла вам, спасся и консул, и вы чистым вышли из игры, а ведь это вы его погубили, если покопаться!..»

Именно тогда стало пополняться досье Фатали всякими бумагами и копиями писем — его и ему.

— Тубу, кто копался в моих бумагах? Перепутаны страницы! И вот — не моя бумага!

— К твоему столу никто не подходит!

— И здесь какие-то записи!.. «Новый сонник — мне приснился странный сон...» Что это, Тубу?

— Не знаю, Фатали, душа моя!

И карандашом, и чернилами, какие-то знаки, вопросы, фразы. «Одна судьба — потеряно лицо».

И какая-то из слов то ли пирамида, то ли треугольник — слова друг под другом: «Я?», «А я?», «А что я?», «А что же я?», «А что же все-таки я?» И таблица, в которой на одной стороне — «Юсиф», «Фатали», «Я», а на другой, напротив Юсифа,— «Шах», и стрелка к нему, напротив Фатали,— «Царь», и стрелки к шаху и царю, а напротив «Я» — «?», и стрелки от «Я» ко всем — и к шаху, и к царю, и к «?», и еще стрелки, соединяющие слова как правого, так и левого ряда.

— Может, ты сам рисовал? — недоумевает Тубу.

Фатали измучен, по ночам плохо спит, пишет и пишет... Переписал и разослал во все концы света столько экземпляров рукописи «Кемалуддовле», что ему мерещится, особенно в часы, когда начинает рассветать, и он ложится поспать ненадолго перед работой, будто вот-вот выйдет книга; и он даже заготовил, собираясь тут же послать, письмо Мелкум-хану с радостной вестью: «Наконец-то вышел русский перевод «Кемалуддовле» (и все же верит, что первое издание — на русском)! Готовы и переводы на французском, немецком и английском. Скоро и они выйдут. А пока посылаю экземпляр русского перевода, жаль, что не знаете этот великий язык... О мой друг, тонущий в горестях, ни я, ни вы, мы оба не сумели прошибить стену непонимания. Сохраните это мое письмо! Пусть будущие поколения узнают, сколько мы претерпели и намучились, ничего не добившись. Может, это удастся им?»

Что ж, такова судьба!..

Я — частица этой нации, народа... И ничем иным, кроме слов, кроме мечты и надежд, неразлучных чернильницы, пера да стопки белой бумаги, не владею.

Страсти фанатиков

книгоиздатель Исаков рассматривал рисунки давно обрусевшего иллюстратора Кара-Мурзы; все, как просил Фатали: на передний план вынесен из четырех флагов красный, и трибуна — нечто вроде мечети-мавзолея с полумесяцем на шпиле; и женщины в чадрах, взгромоздившиеся на плоские крыши лачуг; и мужчины с кинжалами, поднятыми к лицу; у одного — помутневший взгляд, он вскоре в религиозном исступлении откроет шествие и рассечет кинжалом бритую голову.

цензор перелистал книгу.
«полковнник? ну да, собственник писем...» — мол, н эти фокусы нам известны.
и даже выдвинутый на передиий план красный флаг ие вызывает в нем возражений; старый цензор, он гордится некоторым, если хотнте, вольномыслием: а я и это могу, да-с! слава богу, семидесятые годы!.. к тому же сытно н дешево отобедал в кофейной, что на Невском, в доме армянской церквн.
н пошла шуметь тнпографская машниа!

А в это время «Кемалуддовле», переведенный таки Рашидом с помощью француженки, опекаемой кавказцем (не потому ли Рашид проснт отца, чтоб отозвали обратно повара Кафара, который очень мешает ему?), бело-розовой н легкой, как пух, Мими, отправнл рукопнсь в Парнж со студентом-однокурснником, сыном азнатского книгоиздателя «Алнбаба». После перевода первого письма Кемалуддовле: «Отец, как бы не навлечь беду!» А потом: «Надо лн это тебе, отец? удары судьбы...» — не закончил фразу. «Нет, нет! — после завершения перевода.— Джелалуддовле робок в своем ответе Кемалуддовле! Тебе бы больше снмпатнн к нему, зря к нему не благоволишь! Как бы жестокий фатум...» — н снова фраза не закончена.

Но был крик Тубу! Оба слышалн — и Фаталн, н Рашид. Это было перед отъездом Рашида за граннцу, н они только что пришли с кладбища. Одному Фаталн известно, скольких ему стонло трудов уговорить Тубу, чтобы та согласилась отпустнть сына. Почти каждый четверг, как положено, Тубу нет-нет, да и пойдет на могилу детей, но чуть ли не целый месяц беспрерывно лил дождь, дороги к кладбнщенскому холму стали непроходимымн. А тут, н нменно в четверг, тучн ушли, и небо сияло. «Надо пойти,— сказала Тубу.— Рашид должен простнться». Когда накидывала на голову платок, Фаталн заметнл, как дрожат у нее рукн, а губы сухне, бескровные.

И вдруг крик Тубу, ее проклятия,— копились и вырвались, и ничто не может их остановить: — О боже, нет уже места на кладбище, что же ты убиваешь свои творения, обрекаешь нас на вечный траур? Дня светлого мы не видим!..— Фатали согнулся, весь поседевший.— Ты убиваешься, но это ты виноват, что умирают наши дети! Это ты, ты и твои дела, будь они прокляты! Тебя предупреждали, не трогай знаки аллаха! И эта божья кара за твои дерзости, за твое богохульство! Ты умрешь, и наследников у тебя не останется!

— Замолчи, у меня есть Рашид!

— Аллах, вот увидишь, и его у нас отнимет!

— Пусть отсохнет твой язык, что ты говоришь?

— И его, и тебя, и всех нас! Нет и не будет нам жизни ни здесь, ни на том свете!

— Прекрати свои причитания, твой аллах глух!

— Это ты, ты оглох и ослеп, потерял дорогу! Убей нас, чтоб разом покончить с нашими страданиями!

— Мне стыдно за тебя, Тубу!

— Ты восстал, ты возомнил себя выше аллаха! О боже, что же мне делать, помоги отцу моих детей, не мсти ему, неразумному, он слеп, его попутал дьявол, пролей на него свой свет, ведь ты всемогущ, чем тебя прогневили мои дети, сбереги нашего Рашида! Мои дети! Мои родные доченьки! Мой сыночек! Они росли, я молилась днем и ночью, я не смыкала глаз, я вымолила им у аллаха жизнь, я не могла нарадоваться на них, они миновали все опасности, им уже ничего не грозило, я думала, что ты угомонился и аллах смилостивился, простил тебе твои грехи, но нет, в тебе засел дьявол, он душу твою похитил, он копил в тебе злобу, и на старости лет ты снова потерял рассудок! Будь же проклят! О боже!..

Рашид, сидевший у окна, встал и, подойдя к матери, обнял ее. И Тубу, будто собирались отнять единственного оставшегося в живых сына, крепко ухватилась за него.

— Неужели и тебя возьмет у нас аллах?
— Успокойся, со мной ничего не случится.
— Молись, сынок, ради матери своей молись!
— Я же молюсь, мама, и поститься буду, и в мечеть пойду, ты успокойся, пожалуйста!
— О боже, если ты готовишь новые удары, то убей сначала меня!..

Фатали лишь на короткий миг, а может, и не было этого мига, «Неужто?!» — подумал. Но миг все же был, был! Как будто тряхнуло землю, нечто веками скопившееся вдруг пробилось наружу: страх? сомнение? ужас перед горем Тубу? Но способен ли он на такое переживание? Вопль отчаяния или вдруг открылась ей истина? Невежество или озарение?! Но что за бред? И что поделаешь — холера!.. Сколько кругом смертей! Гибнут целые семьи, холера никого не щадит: ни злодеев, ни истинных правоверных, ни тех, кто грешил, ни тех, кто был набожен. Нет, Фатали не прибегнет к доводу, который бы успокоил Тубу; успокоил бы? Но все равно не прибегнет, никогда! «Кара аллаха? Но отчего твой аллах убил детей Мухаммеда — четырех дочерей и трех сыновей Хадиджи, первой жены Мухаммеда?! Может, ты не знаешь их имена — могу напомнить тебе! Если не веришь мне, спроси у Рашида!» Но и к этому доводу Фатали не прибег, разве можно успокоить Тубу, когда нет и не будет ни ей, ни ему покоя. Но способен ли и он на такое, как у Тубу, переживание? Нет, не способен!

И Рашид пишет: «Как бы жестокий фатум...» Рашиду не верилось, что издадут, особенно после безуспешных хлопот по изданию пьес, даже «Мусье Жордан» не заинтересовал ни бельгийцев, ни парижан. Потом, многие годы спустя, издадут в Париже, и именно «Мусье Жордана».

Мими нравились эти восточные сюжеты, и Рашид ждал часов работы в предвкушении близости Мими, а потом пошло, закрутилось, и не поймешь, то ли о себе они пишут, то ли переводят, излагая по-французски любовные истории

Мухаммеда. «Ты бы пошел, Кафар, гулять на Гран-Плас!..» — раздражается Рашид, и они надолго остаются вдвоем с Мими.

и пошли уже оттиски, и уже они брошюруются, и уже крупными буквами на зеленом, цвет ислама, фоне,— «Переписка двух принцев».

на чужих языках — русском и французском, не в оригиналах на фарси и тюркском, в переводе.

и не успел Исаков, только что отправив экземпляр в Тифлис автору-собственнику Фатали, выставить часть тиража в своем магазине на Невском, у Знаменья, дом Кохендорфа, припрятав остальное на случай конфискации на складе, о местонахождении которого, как наивно полагал Исаков, никто не знал, и хотя стоял серый сумрачный день, один из самых коротких в году, на нуле, и таяло, и капало, и хлюпало,—

как замечено было продавцом некоторое оживление на улице, собирались легко одетые молодые люди азиатского вида и о чем-то, ожесточенно жестикулируя, говорили, показывали на книжный магазин.

а утром следующего дня, когда Исаков явился в магазин,— что это?! стоят полицейские, окна магазина выбиты, молодые студенты выкрикивают что-то гневное. «вот он! издатель!» ринулись к Исакову.

«как вы посмели? мы сожжем ваш магазин! рассадник ереси!»

и тут же в Исакова полетела книга и, как подстреленная птица, упала под ноги, и листы — как невесомые перья крыла.

держа на весу книгу, поджег один, другой, быстро загорелись.

«что ж вы стоите?!»

полицейские, осмелев, двинулись на студентов.

но в магазин полетели булыжники, один ударился о бок

Исакова, он прикрыл рукой голову и исчез в магазине; и вот уже казаки, прямо на толпу, и кони, будто обученные, остановились перед толпой.
а государю уже доложили о возмущении на Невском. странный случай, такого бунта еще не было, предписание шефу, губернатору, министру иностранных дел. специально в посольства южных соседей. «да, да, непременно разберемся»; оскорбление царственной особы, веры — и шах, и султан, и паша задеты.
снова персы оказались первыми.
Исаков? что за книгоиздатель?! что же цензор? выжил из ума, распустились! свои заботы, а тут с этими азиатами не поймешь, когда взорвутся, проморгали.
телеграмма в Тифлис, а вдогонку — предписание.
а в Париже! ноты протестов; посольства всполошились, но что выкрики горстки алжирских студентов и всяких там берберов, когда недавно только с могучей коммуной справились? прошло даже незамеченным, только в Латинском квартале, на улочке St-Michel, возле пятиэтажного дома № 13, собрались, пошумели, а потом поднялись в мансарду, где жили два юных турка, да сочинили петицию на имя президента республики, диктовал алжирец, расхаживая по комнате, подойдет к одному углу, к другому, постоит у окна, глядя на кусочек Парижа, остро ребристые, из красной черепицы крыши домов, обдумывая очередную строку петиции в защиту корана, пророка и арабов, принесших в Европу цивилизацию. «так и напишите! некто Фажерон», вздрагивали, называя имя Мухаммеда, да еще в связи с еретическими письмами некоего Кемалуддовле; сочинитель, это они узнали у самого Фажерона, вышедшего к ним для переговоров,— какой-то кавказец, царский полковник.
алжирец набирал воздуху, прежде чем произнести имя пророка, да накажет он!

великий князь по телеграмме царя был крайне изумлен, долго не мог вправить свихнувшуюся челюсть. и как сквозь туман: ваше императорское высочество, голос Никитича, полюбуйтесь! да, да, ведь было письмо из таможни Брест-Литовска! эттакий фортель! — подвернулось на язык генерал-фельдцехмейстеру.
что это вдруг все чины разом к Фатали; мелькнула догадка: награда? новый орден?! ведь почти сорок лет, или больше, служит, такого еще эти стены не видели: и шеф, и шеф особый, и губернатор, и полицмейстер, и младший чин, из тех, кто должен слегка прикоснуться к Фатали, чтобы потащить, оттащить, затащить, и уже двое держат его. куда? ах вот почему летели некогда сигары-сиаряды к Метехскому замку; и лязгают цепи; и тяжелая железная дверь будто живая. успели к Тубу, та в канцелярию. «надо было думать раньше, советовал бы не лезть!» — тот же голос, только когда облизывал пальцы и губы, расхваливая,— «хороша хозяюшка!» — вспомнил все же хлеб-соль, «я бы на вашем месте,— но строго, не глядя в глаза,— всей семьей, как бы чего не вышло, в Нуху-Шеки, подальше от всех, не можем ручаться!»
«да, да, ведь я ему говорила! и Рашид писал!»
«Мелкум-хан! Мелкум-хан!..» да ведь что ему до нашего корана и пророка?!» «да я такого!..» Фатали доведен до крайней точки, он может оскорбить.
и Рашид еще здесь был, но не защищает мать, и за отца не заступается; и шурин тоже, ее брат.
Фатали ничего не знает: книга и добрая весть еще в пути. но глаза! глаза Никитича! неужто «Кемалуддовле»? ведь читали! или письма вышли?! узкий квадратный двор и высокие толстые стены, и железная решетка, и тишина будто гроб, на нем нет мундира, защитил бы; арестантская роба. как Тубу? день или ночь? время сплошное, неделимое, только по щетине на лице мож-

но узнать; а потом и борода не могла помочь.

от послов к консулам, а там в столицы; вот оно, началось, и разъяренная толпа врывается в дом; посуда, окна, лампы, люстры, стены трещат от напора, и ставни, не выдержав, рвут петли, и ветер выдувает на улицу, и уже над Курой, как белые птицы, летят странные книги-листы; не о Колумбе ли, открывшем Новый Свет, или это страница из тщательно изученной Фатали книги «Смертная казнь»; позвольте, но ведь была тревога! цензура запретила! были изъяты! как попала в Тифлис?! «Азбука социальных наук»!! спрятать! закопать!... шеф жандармов ведь сделал специальный доклад царю!

русская ветвь «интернационального общества»! литературные приемы замаскирования!

Фатали очень дорожил, два тома Бокля, первый открыт, и на странице еще минуту назад можно было прочесть рукой Фатали по-русски, а чуть ниже на фарси, но уже стерлось;

«Комедия всемирной истории», он недавно купил эту книгу, летят страницы! но неужто весь этот пандемониум глупости и подлости, лжи и обмана, слёз и крови — комедия? еще можно успеть прочесть: да, именно в эфирной атмосфере юмора трагедия всемирной истории обращается в человеческую комедию! Но Фатали уже поздно начинать сначала!

а вечером кем-то подожженный пылает дом, неистово треща, и в серой мутной Куре отражается пламя; распухают, надуваются и разом вдруг вспыхивают книги — одна, другая, третья, и корчится арабская вязь, сморщилась от ожогов на подаренной персидским принцем книге, показывающей будущее, куда Фатали давно не заглядывал.

и рукой Фатали на полях книги «Опровержение на выдуманную жизнь Иисуса»: «батюшка, неужели ты за-

был инквизицию, неужели ты забыл костры, в которых гибло множество невинных жертв, все это было вследствие обожаемого вами христианства», сначала сгорели «костры», потом огонь слизал «инквизицию», и долго еще пламя не касалось «обожаемого вами христианства». пепел, хлопья,— на кладбище!
разворошить, переломать покосившиеся уже надгробья, истоптать, предав проклятию.
гневные письма царю: из Парижа, из Стамбула, из Тегерана.
изгнан чудак цензор; ослеп или дальтоник — красного флага не заметить! разорен Исаков, докопались и до тайного склада, радуется Гримм, и уже требуют султан и шах выдачи им Фатали: судить по шариатскому суду;
ну уж нет! как-никак царский полковник!
и спорят меж собой Стамбул и Тегеран — кому судить?

«Но ему-то чего шуметь?» — думает султан Абдул-Азиз о шахе: ведь Джелалуддовле, который обрушился с руганью на Кемалуддовле,— их принц! Но Насреддин-шах знает: нет у них такого принца, хотя как он может ручаться за всех детей Фатали-шаха?! Но изгнанных-то он знает, каждый на примете! Знал Насреддин-шах, что из младших сыновей Фатали-шаха, двоюродный, о боже, дед его Джелалэддин-Мирза дружен с этим мятежным писакой, хуже бабидов! Фатали, тезка, так сказать, любвеобильного шаха! Как? наш родственник? да вы что?! какой Ханбаба? какой Бехман-Мирза? ах этот, прижитый? мне? четвероюродный брат?! Вот они, плоды невоздержанности! Насреддин-шах, вступив на престол, поначалу решил ограничить число жен в гареме: мол, достаточно и кораном предусмотренных четырех, а то наплодил Фатали-шах принцев, всех не переловишь, чтоб чувствовать себя спокойней; но потом отменил свое решение.

Так вот, сын Фатали-шаха Джелаладдин действитель-

но мечтал бежать под предлогом паломничества в Мекку, чтобы там или, может, в Багдаде — знает о его планах Насреддин-шах! — написать четвертый том своей «Истории Ирана». Лазутчики перехватили его письмо. «Так это же он! — воскликнул Насреддин-шах.— Ну да, именно грешнику Фатали писал принц Джелаладдин!»

А до этого принц просил иранского консула в Тифлисе Мирзу Юсиф-хана, и до него шах доберется, послать в Петербург и вручить в Тифлисе только что изданную свою «Историю Ирана» — «двум истинным мусульманским ученым России: Мирзе Фатали и Мирзе Казембеку», да, именно Фатали писал этот принц Джелаладдин, что, мол, «рта раскрыть не могу», всех зажал в кулаке Насреддин-шах, и, мол, он не знает, как ему удастся «всю правду» о нынешнем шахском правлении в заключительном томе истории написать: «Живу надеждой, что или произойдут у нас изменения, или судьба выкинет меня из затхлой моей страны за границу, где я смогу честно и правдиво написать о нынешнем правлении то, что я думаю...»

Как же, выпустит Джелаладдина-Мирзу Насреддин-шах! И Мирза Юсиф-хан поплатится за свое сочинение — конституцию «на основе корана»: шах бросит его в Казвинский каземат и прикажет стражникам бить еретика его же собственным сочинением, одетым в металлический переплет, по дурной голове, покуда на глазах не выступит бельмо и не вытекут зрачки.

А почему турецкий султан о Кемалуддовле печется? Из-за какого-то Фатали голову себе морочит. Из-за того царского чиновника Фатали, который с какой-то дерзостной мыслью в их священный Стамбул приезжал,— вот бы и хватать тогда Фатали!

Пусть лучше султан позаботится о своей империи: восстал Крит, восстали Герцоговина, Босния и Болгария. А под боком зреет, тут же, в Стамбуле, заговор: сам премьер с министрами султанского правительства. Да еще шей-

хульислам сочиняет приговор, чтобы благословить переворот: «Если повелитель правоверных доказывает свое безумие, если он не имеет политических знаний, необходимых для управления государством, если он делает личные издержки, которых государство не может вынести, если его пребывание на троне грозит гибельными последствиями, то нужно ли его низложить или нет? Закон гласит: «Да!»

О заговоре знает даже русский посол граф Игнатьев! А Богословский и подавно!

И в одну из ночей вынудят племянника султана принять корону, а султан... Не знает, бедняга, что его умертвят, а народу объявят, что вскрыл себе ножницами вены и умер.

О боже, сколько убийств произойдет в течение нескольких дней в султанском дворце! Сойдет с ума новый султан, и его тоже сместят, затем фанатичный сторонник умерщвленного султана учинит месть заговорщикам... Вот какие бесовы духи скопились в Стамбуле, а султан, будто усыпили его, несчастного, и спорит, спорит с шахом!

«мы должны судить Фатали, чтобы это послужило уроком всему народу от Алтая до Средиземноморья, в Европе, Азии и Африке!» а Насреддин-шах недоумевает: неужто это тот славный малый, что приезжал еще во времена Николая с щедрыми дарами и кабинетным письмом, чтоб поздравить с восшествием, и шах вручил ему орден "Льва и Солнца"?

А как же: шахи царю не раз помогали. Дотронулись до золотого ключа врат Индии. Войсками Мухаммед-шаха при осаде Герата руководил царский посол Симонич. Пусть шах потерпел поражение, но зато царю стало чуть легче в Крымской войне. И походом на Багдад Насреддин-шах царю помог, отвлек султанские войска... Да и не шах ли молчаливым содействием способствовал захвату царем

Туркестана, покорению неспокойных соседей в Средней Азии?

Ах, сколько войн! Не успеет завершиться одна, как затевается новая. Эта ненасытная имперская жажда войны... Чтоб отвлечь, собрать воедино расползающуюся империю, дать выход накопившемуся недовольству в низах, направив усилия в одну-единственную сторону.

и послы в Петербурге спорят, Ахмед-паша и Яхья-хан, до хрипоты, вот-вот голосов лишатся в холодном влажном граде Петра: именно они, турки!
нет, мы — персы!
чуть до разрыва отношений не дошло: не воевать же им после стольких лет мира из-за какой-то книги, тем более что она издана не на языках восточных, да и на тех, гяурских, вряд ли хоть одна сохранится! правоверные еще не умерли ни в Париже, ни в Петербурге. а если кто и сохранил, дознаются.
сын иранского посла, тот, кто первым сжег перед магазином Исакова, припрятал один экземпляр, все же редкость, никогда ведь не выйдет больше такое!
но чтоб кто-то диктовал империи?! этого еще не было в истории самодержавного правления!
«успокойтесь, господа, мы сами обладаем достаточно проверенными и испытанными способами расправы с неугодными нам писаками. были у нас и дерзкие «путешествия», и возмутительные поэмы о троне преступников и палачей, и романы, предписывающие, что делать бунтовщикам, и «письма» были «философические» одного выжившего из ума, ведь рехнуться надо, чтоб на такое пойти, всякое было!»
туземцы пока помалкивали, и вот вам: и к ним пришла эта холерная эпидемия, а как же, одна ведь империя — неизбежно! и этот, полюбуйтесь на седого красавца, полковник, а туда же, к бунтовщикам! пишут о делах

своих будто туземных, о Мухаммеде-Магомете, но с замахом на всю имперню! под самый корень! эти подтексты! ...казни, ссылки, падает один, другой, но появляется третий, и он идет! и снова пытки, ссылки — и до тех пор, пока не рухнет деспотическая власть! а может статься,— не увлечет в своем падении в пропасть всю Европу, всю Азию, весь мир! распространит образ деспотического правления — кусок за куском, часть за частью — на всю землю? но нет, быть этого не может: или — или; или неизбежность падения, или бешеный бег тройки-птицы, и все тянется в длинный хвост и падает в бездну, в пропасть!
неспокойно в Нухе; толком, правда, никто не знает, почему их гордость Фатали, которому и шах, и султан, и царь жаловали ордена, вся грудь сверкает, сидит теперь в Метехской тюрьме, допустил такое, что сразу разгневал трех властелинов, презирающих друг друга: царь — султана, султан — царя и шаха.
ай да внучатый племянник почтенного Ахунд-Аскера, неизменного члена шариатского суда!
какое тебе, мусульманину, дело до драки русской или французской? они и бунтуют, они и свергают, они и мирятся потом! какие у тебя могут быть счеты с имперским престолом?
наших там не было, и запомни, вбей в свою глупую башку! не терзай ни себя, ни родичей! вряд ли когда допустят, чтобы ты, тюрок-туземец, на первых и даже четвертых ролях был в имперском правлении! роли эти в царском дворе давно меж собой распределили: и трагики, и комики, и даже шут, чтобы иногда развеселить, ибо смех живителен для состарившихся тел.
может, когда-нибудь, не скоро, и посадят тебя близко к престолу, но лишь затем, чтоб скромно и благодарно помалкивал да частенько поддакивал, будто выражая волю туземных сограждан давиться, топтаться, иссу-

шаться как родник в раскаленной пустыне, отдавая тягучие горячие соки, вгоняться по шею, по уши!
и чтоб некоторые из особо отмеченных тобой златоустых и юрких туземцев, а ведь стоишь ты рядом с самим государем, тянешься из-за его спины,— тебя увидели. и чтоб мог златоустый воскликнуть упоенно:
«он первый! рядом с самим! и даже ростом, поглядите, они вровень!»
и чего не хватало этому Фатали? отмечен! выдвинут! отвернул от себя разом и султана, и шаха, и царя. это надо же уметь — всех сразу!
Фатали уже знает: «Кемалуддовле»!
но не радуйся, ни одного экземпляра не увидишь, сожжено, разграблено, разорвано, и даже тот, что послан Исаковым, Никитич возьмет себе в свою коллекцию запрещенных книг.
и зачем это мне? я брошен в каземат. семья прячется, сын...
«напишите Рашиду, чтоб не приезжал!»
а как ему напишешь, чтоб не приезжал? и что он будет делать на чужбине?
«да, да, ему лучше не возвращаться. здесь никогда не будет прав, воли».
а родная земля? опомнись, Фатали!
и зачем это мне? жжет внутри.
«эй, чаю мне! чаю!»
и говорит и слушает сам.
мозоль на среднем пальце, всегда красная вмятина, ибо пишет и пишет, а теперь вмятина вздулась, и Фатали трет ее, трет, а в мыслях роятся слова, фразы, рифмы, диалоги, картины, и сны какие-то, незнакомый мальчик, которого надо опекать: подвижный, непослушный, не уследишь, выбиваясь из сил, бежит за ним, край пропасти, не упал бы, и догоняет, крепко держит за руку. кто он? на внука не похож, чужой незнакомый

мальчик, к чему бы? ах да, вспомнил: малое незнакомое дитя к печали, заботам, новому врагу.
у него сразу три!

И собираются, он слышит голоса, сколько их было, друзей, на его долгом веку, молодыми умерли, а он еще жив, пора бы, чем он лучше их?

И Бестужев переводит первое его сочинение, и бледный, с изъеденными лихорадкой губами Одоевский, и Лермонтов. И хохочут люди на Шайтан-базаре, глядя, как Лермонтов рисует углем ослика на стене, а на осле — татарин в папахе бараньей. И Бакиханов: «Ай какой хитрый шекинец, поэму успел раньше всех сочинить!..»

И Фазил-хан, мечущийся в поисках лучшей доли, как и вождь мусульман-шиитов Феттах,— ее нету ни у тебя на родине, ни здесь! — не обманывайтесь, не верьте, не верьте! И исчезнувшие друзья: Хачатур, Мечислав, Александр! «У нас с тобой, Фатали,— звучит голос Хачатура,— как по поговорке: «Раз свиделись — товарищи, два свиделись — братья». А Фатали ему: «Мы обо всем договорились, брат, умру я за тебя, Кер-оглу не был армянином, имей совесть, Хачатур!» «Может ты и прав»,— улыбается. «Не может, а точно, не упорствуй». Хачатур молчит, и последнее слово за Фатали осталось... «Где твоя могила, брат? Ты часто говорил: «Что ни день, воочию вижу свою могилу». По твоим стопам уже идут, Хачатур, гремит слава Сундукяна; весь Тифлис бредит «Пэпо»!

А кто пойдет за мной?!

«Где пожар? где горит?» — кричат люди, а Пэпо: «Здесь горит!» Душа у бедняги горит! Да, горел, никак не потушить, сгорел тифлисский театр! Насосы тщетно боролись с огнем, и тела в пламени пожарища как черные точечки... Неужто последний в жизни Фатали?!

Эти пожары! Зимний дворец! Пляска мести! Джинны огня бешено мчались, сталкиваясь и разлетаясь, и руши-

лись своды, грохот, пламя, искры, и потоки огня бросались в окна, плясали в водах Невы и круглых выпуклых глазах падишаха Николая, и он кричал: «Спасти императорские бриллианты! образа и ризы! знамена! знамена! в Адмиралтейство! к Александровской колонне! Эрмитаж! спасти Эрмитаж!» — и рушатся переходы, солдаты воздвигают на пути огня стену из кирпича.

Пустые могилы

Фатали ничего не видит, лишь окно в решетках, а там темень, небо без звезд, но они есть и вряд ли позволят, чтоб их обманули и на сей раз.

«а!.. это ты, Колдун! а еще говорил, что чудес не будет!»

«стены! очень толстые!.. но ты сначала додумай свои думы, ведь не успел!»

«...Вырыли,— это он о триумфе восстания! — пять могил на площади в честь повешенных героев и пять холмов!..» И родился клич в огне восстания: «За нашу и вашу свободу!» А потом, тридцать лет спустя? Снова обреченные! Вешатель! Позорная вспышка шовинизма и ревности: «Измена варшавская! Иметь конституцию и снова бунтовать?!»

Но ведь был и угар. Они всегда рядом, близнецы-братья, угар и вспышка. И опять далекий голос: Александр! Мы — с вами, потому что мы — за нас. Мы хотим вашей независимости, потому что хотим нашей свободы. И Александр спас честь земляков. Но какое улюлюканье рабского большинства! И — глухота, ибо угар.

О, глупцы! Надеяться на подмогу со стороны, из-за морей и проливов! Чудаки! Как же без соседей? Не сообща? Без, запомни, Фатали! «повсюдного» взрыва?! И Шамиль

надеялся, что помогут. Кто-то еще. Неужто еще кто-то надеется? «Вы нам не поможете!..» Это Кемал Гюней!

И вспыхнуло: как часто это, намешанное-перемешанное,— он в Турции, а думы и о Польше тоже. Он, царский чиновник, азербайджанец,— и думы о Польше!

«ну, как тебе в куртке овечьей, дышится свободно? ты ведь мечтал кончить с раздвоенностью, то мундир давил на плечи, то тебе казалось, что золотистая бахрома эполетов издает мелодические звуки... ах темно? я тут принес тебе!»

«труба, о которой Кемалуддовле просил!.. узнаю!»

«ну как, видишь теперь хорошо?»

«это ж Рашид! но как он постарел!»

«Рашид! — усмехается Колдун.— это не Рашид, а Фатали!»

«я?!»

«какой ты, право, непонятливый! это твой внук!»

«и уже такой старый?!»

«ты думаешь, с тобой остановится время! еще юн Рашид, но уже успел состариться его сын и твой внук Фатали! так вот, после обыска...»

«уже был и обыск?»

«чиновники обшарили твой стол, полезли в ваш сундук, но ничего не обнаружили, ведь ты сам что надо надежно спрятал».

«так и ничего?»

«нет, почему же, кое-что лежало на дне сундука, но не столь существенное».

«смотря для кого...»

«а!.. ты насчет фотокарточки...»

«это я от Тубу прятал. очень мне хотелось дочь Нисуханум в черкеске сфотографировать, а тут отовсюду как закричат на меня!.. «бесстыдство! грех! позорить девушку!..» кстати, кто стоит рядом с Фатали? сам ко-

ротыш, а усы ух какие длинные! и вид такой воинственный!.. не принц ли?»
«и принц! и маузерист! и черт упрямый!.. огорчу я тебя, Фатали, уж прости за прямоту! случается ведь такое: внук не понимает деда! и каракули твои мало его волнуют, арабскую вязь он не знает».
«невежда!»
«а русские твои записки кажутся ему невнятными, да он их, честно говоря, и не читал! у него свои инженерные заботы, ведь ты сам мечтал: внук пошел по стопам отца! помнишь, ты писал: «и покроется страна сетью железных дорог, не тюремные решетки, и установятся между народами...» да-с! «был у меня,— говорит внук твой тому усачу,— дед-чудак!» но усач давно наслышан о сундуке, и для него ты — вершина вершин — ты первый, ты начало, ты основа основ!..»
«ай да молодец усач!» — прослезился Фатали.

— Народное правительство уполномочило меня вступить с вами в переговоры, чтобы купить у вас рукописи вашего деда.

— Да, есть тут в сундуке кое-какие бумаги... («О аллах!» — воскликнул про себя усач, на миг усомнившись в устойчивом своем безбожии, да накажет его аллах, но виду не подает, дабы внук не заартачился,— а рукописи, вытащенные из сундука, ожили и заговорили: «Кемалуддовле»! утерянные письма!..).

— Вот если бы дед на поле битвы умер. На баррикадах сражался...— мечтательно произнес внук, сожалея, что не очень повезло ему с дедом.

— В Италии? — подзадоривает усач.— В отряде Гарибальди?

— Да, да!

— Или во Франции, в рядах коммунаров! — подбрасывает усач дрова в огонь.— А ведь успел бы еще раньше, в

сорок восьмом, если бы уехал с Жорданом! Помните, Колдун ведь разрушил Париж!

Фатали-внук в недоумении смотрит на усача: что еще за колдун?! что за бред?! — заговаривает зубы, лишь бы не раздумал продавать эти рукописи, недорого запросил,— денег у народной власти в обрез: голод и разруха...

А внук задумался, слушая усача: ведь мог дед и в Польше! по одну сторону баррикады он, а по другую — славный мусульманский конный полк, и шашки сверкают; и Куткашинский во главе конников, с чьей внучатой племянницей намечалось у него сватовство, да заглохло.

— С декабристами! Хотя нет, не мог еще,— с сожалением вздохнул усач коротыш.— Ну, хотя бы...— Кого же еще вспомнить? Петрашевцев? Но они только дискутировали! — Ах да! В движении Шамиля мог участвовать. Или нет: в рядах борцов против шахского деспотизма.

— Бабидов, что ли?! — недавно читал (уж не книгу ли, подаренную его деду? Фатали перерыл тогда весь шкаф, а она под стопкой бумаг оказалась). Знает, но вариант с бабидами мало устраивает внука.— Пусть хоть раз бы в какого деспота выстрелил...

«Эх, внук, внук!..» — сокрушается усач; он ведет дневник, очень давно, и любит заносить туда патетические фразы, ибо хотя и питает симпатии к отчаянным террористам, но слывет в душе допотопным романтиком и имеет тайную до застенчивости страсть к длинным, аж в несколько тетрадных листков, в одно дыхание сентиментальным словоизлияниям.— «Что царь? что король? что шах или султан?! твой дед поднял руку, совесть имей, на самого аллаха! его пророка Мухаммеда-Магомета!.. а тираны, которые были, есть и будут...» — заполнил целую страницу, исписав ее мелко-мелко, и на следующую перебросил цепочку выспренных фраз, и каждая буква — словно пуля, вылетающая из маузера.

Продал народной власти содержимое сундука, а потом, получив деньги, щедрой рукой протянул пачку: «Ай азиз, мол, дорогой, возьми свою долю, ты заслужил!»

— Да как ты смеешь?! Я... мне?!

— А я тебе еще кое-что принес!.. — и протягивает шкатулку. А в шкатулке — новая рукопись! «Оригинал! Вот она, восточная поэма! Сколько ее искали!..» — готов расцеловать внука!..

Потом был плов. Из индейки. И высокий торт, специально заказанный внуком. И тосты в честь и во славу.

И еще одна фраза в дневнике, года три или лет семь спустя, почти шифр: «И надо же, чтобы именно в круглую годовщину пожара в Гыш-сарае», усач это любит, мешать русские и азербайджанские слова, но даже Никитич сможет это перевести: «Гыш» — зима, «Сарай» — дворец!.. тоже мне, эзоппп!.. «Фатали-внука охватило всепожирающее пламя! Вся в огне и Фельдмаршальская, и зала Петра, и Белая зала, и Галерея Двенадцатого года! И вихрем густой дым!.. бежит, бежит огонь — по кровле, по верхнему ярусу, ах как горят царские покои! а потоки огня льются и выплескиваются наружу, далеко-далеко разбегается пламя!.. аж в Галерной гавани хижины горят... вот-вот закипит Нева и пойдет огонь по другим рекам, морям, и языки огня норовят лизнуть черные тени людей, и лижет, и лижет эти точечки-винтики пламя!..» — передохнул усач и добавил: «Ай как хорошо, что успели выкупить и сундук, и шкатулку!..»

— Ты меня слышишь? Фатали!..

Проводив врача, Тубу вернулась.

— Очень холодно, Фатали. Мартовский ветер такой злющий, гудит и гудит!.. Мы растопили печку, а сейчас я зажгу лампу... Как ты? — поправила стеганое одеяло с холодным атласным верхом, погладила по седой голове, такие мягкие редкие волосы.

— Не забудь с доктором...— дышит тяжело,— с доктором Маркозовым не забудь расплатиться, а то потом, в суматохе...

«Что за суматоха? — не поняла Тубу.— О чем он?» — Никогда ведь не верится, а непременно случится со всеми.

Вышла.

«А зачем это я пошла?»

Не вспомнила, вернулась.

Язычок пламени заметался, ударяясь о стенки лампы.

— Фатали,— позвала Тубу. Он закрыл глаза.— Ты меня слышишь?

Рука его повисла. Тубу прикоснулась к ней и вскрикнула: — Нет! Нет!..

ночью что-то зашевелилось. «змея!» — отпрянул Фатали; безотчетный с детства панический страх; оказалась веревка. «к чему бы?» тонкая, но крепкая. «ах вон оно что!.. ну нет, этого вы не добьетесь!..» эй, кто там есть?! что-то лязгнуло, и снова тихо.

и я сказал: капля моей горячей крови упадет на землю, вырастет высокий камыш, срежет его прохожий, сделает свирель, заиграет на ней, и снова повторится — схватят, казнят, и капля крови горячей...

арестовать, не объяснив причину! привезти в крепость как вещь. когда ж объявят? молчание, мертвое молчание, за мысли не судят!

гвоздь, но не вытащить вентилятор! обломать его зуб! и на стене во тьме рука водит, но глаза не видят. фальшь, фига, фокус, фраза, фанатизм — что еще? филантроп, фарс, форс, фарси.

бунт? я слишком умен для таких глупостей!

Александр рассказывает: был Аскер-хан, петрашевец, где он теперь? читал «Илиаду» Гомера, к чему бы? и критика этого сочинения, что он, спятил?! в кружке. и о смерти Пушкина, о гнусном подсылателе записок.

«а я вам, господа, моего земляка Фатали...» и Шиллера читает Аскер-хан, это ж талант! трагик! и предисловие к программе. какой? о союзе племен? «вы глухи к степи! глухи к горам! вам нет до инородцев дела!..»
или рассказать вам о высокогорном озере. ах, какие красоты в нашем краю, в Гяндже, извините, Елизаветполе, горное озеро, и на дне густой лес, так тряхнуло, что гора откололась и запрудила горную реку. что говорит народ? читай, Аскер-хан!..
«ну, вы это бросьте! как же никогда не было Наполеона? а Москва? а пожары? а обгорелые стены громады Зимнего? миф?
«и ты в меня камнем!» так как же, читать мне о войне на Кавказе?
читай! читай!
но где мне найти фантастическую повесть Аскер-хана? в восточном вкусе, даже предназначалась к печати! читалась по корректурным листам! и уже Александр, читает: «о где вы теперь? и ты, Рылеев, и ты, Бестужев, поэт и воин. проклятье терзающим своих святых пророков!.. а может, кто из вас свободную душу продал тирану и кладет рабские поклоны перед его порогом? или продажным языком славит его торжество и радуется мучениям прежних друзей? или в отечестве моем, моею кровью упиваясь, как торжество представляет царю?! когда и я был в оковах и, ползая как змея, я притворялся, обманывая деспота, но перед вами я всегда был прост, как голубица, кто из вас подымет голос противу меня, на эту протестацию я буду смотреть как на лай собаки, которая так сроднилась с цепью, долго носимою, что кусает спасательную руку, освобождающую ее».
и Аскер-хан бледный слушал, из Мицкевича.
это ведь только кажется, что стены Метеха толстые. дойдет, пройдет и через стены поплывет будто белый-

белый-белый пух, выбитый из черного окошка каким-то глубоким вздохом, когда и вся душа будто уходит из тела.
может разом — и нет? зубом вентилятора! эх, фурфуристы!.. пропагаторы!..
и этот запах свежей краски.
ах, занимался литературою?! за освобождение крестьян был? желал добра отечеству?.. был гражданином?.. рассуждал о возможности печатать за границей запрещенные книги?!!
лишить! военный суд! возмутительная переписка двух принцев! копии!.. лишить на основании Свода военных постановлений чинов, всех прав состояния!.. и подвергнуть смертной казни расстрелянием!..
однако ж, принять в уважение облегчительные обстоятельства!.. преступное начинание не достигло вредных последствий, быв своевременно предупреждено!..
монаршее милосердие — каторжная работа в крепостях!..: а потом пришли и вывели, когда вышел на улицу, яркий свет резанул, но снова привычная темнота. в карете как в Стамбуле, когда забрали: один рядом, двое напротив, а потом второпях кузнец заковал ноги; железные кольца, и молотком заклепали гвозди. тряская кибитка, запряженная курьерской тройкой, и железо растерло ноги, вот-вот до кости доберется. в обмен на заподозренного в шпионаже и схваченного султаном закадычного друга Никитича, орудовавшего в Константинополе, неужто Богословский (?!) Фатали был тайно выдан султану, о чем узнает-таки шах, хотя ему торжественно было заявлено, что Фатали заточен в Петропавловскую крепость, что его будут судить и сошлют в Сибирь, но некогда великая держава так обессилела, что даже на обиду не хватило эмоций, лишь гневные слова, и то не высказанные вслух.

„Я сделал все, что было в моих силах...“

— Мы не позволим, чтоб тело грешника, чья душа в аду, в кипящей смоле, было погребено на кладбище правоверных!

— Господа! Неужто некрещеного татарина хоронить на православном кладбище?! — возмущается Никитич, который со своими людьми только что посетил семью, чтоб соблюсти, так сказать, ритуал и самому воочию удостовериться, а заодно и порыскать: «А что в сундуке?» Скрипнула крышка, не разбудить бы!.. Всякое может случиться. А в сундуке подарки для будущей невестки, Тубу давно уж собирает. А на самом дне фотография: дочь Ниса-ханум в черкеске, подальше от глаз Тубу спрятана.

И никаких рукописей? Никакой сундучной крамолы? А что в ящиках стола? «Это что же, обыск?!» (Рашид) «Ну что вы!..— набрался в Европе! ну, мы тебя скоро нашим порядкам обучим! — Мы просто хотели, чтоб доброе имя после смерти...» — ящики будто ветром выдуло, ни клочка, ни пепла!

— Не на григорианском же кладбище хоронить?! — Никитич разгневан.

— А почему бы и нет?

— И не на еврейском же!

— Успокойтесь, Никитич!

Депутация от наместника, князья, оба истинные, северный и южный, даже фон, граф и всякие иные, к шейхульисламу, а к нему не пробьешься: запрудила вход в резиденцию толпа фатумных физиономий, кто ж позволит, чтоб поганили землю, «в которой лежат наши предки».

— Ну, положим, еще неизвестно, чья эта земля!..— как будто возмущается князь Аладзе, а на него косится знатный купец, ворочающий миллионами, Арьян: — О нас даже Гомер писал!

— Не в церкви же отпевать?! — А ведь говорнл ему Никитич, предлагал. Не всегда ведь пиковалнсь, иногда и шутили, хохотал заразительио Нникитич, с такой сердечной искренностью, как дитя: «Отчего бы вам, Фатали, не креститься, а? Ннкогда не поздно, готов ходатаем выступить! Зато какие лучезарные перспективы!..»

А тело лежит. И в круге первом ада, а ведь казалось, страшно, н ничего, и здесь устали, что лн? И этн бренные споры, скорей бы укрыться, уйтн, растолочься, смешаться и в вечность!..

Уже весна, но мартовский ветер швыряет мокрые хлопья, а ведь вчера еще мокли от жары, спину жгло. Бараньи папахи облеплены снегом и бороды мокрые, попробуй суиься к шейхульисламу!

В канцелярии наместника на белом как саван листе чертят линии кладбищ: вот мусульманское, вот христианское, а вот и иные, неужто до клочка расписаны?! Нет ли ничейных, чтоб ни восточные, ни западные, ни тихие, ни нашенские?

Господа, ну о чем вы? чтоб ни Азия н ни Европа?! О, эти фортели фортуны!

Подпоручик, он новенький в канцелярии, специально поехал на кладбище, чтоб отыскать, как велено, нейтральную землю, ни мечети, ни церкви не подвластную, вяз в грязной жижице, хлюпала скользкая глина, лишь склон холма белел, н на голых ветвях, будто яблоня расцвела, тяжелый снег.

. И вроде бы договорился, выроют могилу на ничейном пустыре, канцелярия возьмет на себя расходы, ибо сумму копатели заломили немалую (за риск!).

И к мусульманскому кладбищу примыкает, н как бы за чертой григорианского, католического, иудейского н, разумеется, православного, короче, ни Запад, нн Восток, хотя н здесь, и там, именно в эту пору, отыщется под снегом фиалка. Выроют, выроют на склоне холма, да такую

глубокую, глубже женской могилы, а она самая глубокая, ибо так повелел всевышний, что сам черт не вылезет, дьявол задохнется! И плиты тяжелые на могилу: трижды воскреснет, и трижды сердце разорвется!

А потом юного поручика (за такое задание не жаль и в чине повысить) здоровенный верзила, то ли беглый каторжник, то ли шахский лазутчик, вызвался за полтинник вниз на спине снести, в розовые руки поручика щетина бороды впилась, да в коленки, как сошел на землю, иглы вонзились и какие-то тошнотворные фимиамы, как облачко над головой.

И лишь на четвертый день скоро и бесшумно похоронили, чтоб никого не волновать зря, никаких беспорядков! За гробом почти никого, а сколько было прежде вокруг...

«Я столько для вас сделал!.. Отчего же вы так, а?!»

Иных уж нет: кто казнен, кто пропал, а кто еще не знает о смерти Фатали, и если узнает — не успеет.

И уже солнце на светло-голубом небе, будто не было ни воя в печных трубах, ни хлопьев липкого снега, ни слез в глазах, когда ветер кинет в лицо соринку с набережной мутной даже в ясный день Куры, то ли течет она, то ли спит, усталая, и снится ей новое русло. И неведомо, когда проснется, и проснется ли когда?!

Автор снова задерживает внимание читателя

и хочет сказать ему несколько слов на прощание.

Мирза Фатали Ахундов принадлежит к плеяде революционеров, которые не сражались на баррикадах и не познали тяжести кандалов, а боролись словом. Слово — и ружье. Слово — и знамя.

Ахундов ополчился на деспотизм, будь то восточный в лице шаха и султана, будь то российский в лице царя. Он возвысил голос против догматической веры, оплота тирании, против религий и фанатизма, ослепляющих и отупляющих человека, гасящих свободу личности. Он ратовал за союз и единение угнетенных народов в борьбе против колониального рабства, за счастливую жизнь.

Но прежде чем услышать Ахундова, азербайджанскому народу предстояло пройти долгий путь прозрения, ему надо было, сражаясь вместе с народами-соседями, и прежде всего с русским народом, против угнетателей, против царского самодержавия, изжить из себя раба, окрепнуть и возмужать.

Слово Мирзы Ахундова подготовило народы Востока к восприятию демократических, социалистических идей, осознанию своей роли в истории.

Перед читателем — вся жизнь Ахундова. Его муки и борьба. Его надежды и сомнения. Его отчаяние и вера в будущее.

Я не спешу поставить точку.

Я снова иду по улицам родного Баку, спускаюсь к треугольному скверу и стою рядом с гранитным Фатали. Он сидит в широком каменном кресле, и взгляд его, устремленный вдаль, спокоен.

Содержание

Гусейнов Ч. Г.

Г96 Неизбежность: Повесть о Мирзе Фатали Ахундове.— М.: Политиздат, 1981.— 319 с., ил.— (Пламенные революционеры).

Г $\frac{10604-052}{079(02)-81}$ 237—81 0505040000

84Р7 + 87.3
Р2 + 1ФС

Чингиз Гасан-оглы
Гусейнов

НЕИЗБЕЖНОСТЬ

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*
Редактор *А. П. Пастухова*
Младший редактор *А. А. Мочалова*
Художник *В. И. Олефиренко*
Художественный редактор *В. И. Терещенко*
Технический редактор *М. И. Токменина*

ИБ № 3010
Сдано в набор 24.11.80. Подписано в печать 17.03.81. А00036. Формат 70 × 108[1]/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 14,26. Учетно-изд. л. 14,68. Тираж 300 000 (1—150 000) экз. Заказ № 492. Цена 1 р. 20 к.

Политиздат. 125811, ГСП,
Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина
типография «Красный пролетарий».
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.



قیمت یکتومان

تمثیلات

ترجمهٔ میرزا جعفر قراجه داغی

منطبعهٔ طهران

شهر ربیع الاول

سنهٔ ۱۲۹۱

محل فروش

طهران دکان ملا کریم
صحاف دم مسجد شاه و اطاق
خواجه ارات تاجر سیگار در بازار
ارامنه

تبریز حجره خواجه یعقوب
تاجر سیگار در کاروانسرای
گرجیها



MONSIEUR JOURDAN

LE BOTANISTE PARISIEN DANS LE KARABÂGH

Et le derviche MÈST 'ALÎ CHÂH

CÉLÈBRE MAGICIEN

COMÉDIE EN QUATRE ACTES

DE

MÎRZÂ FÈTH 'ALÎ ÂKHONDZÂDÈ

TRADUITE DU TURC AZERI

PAR

LUCIEN BOUVAT



PARIS
ERNEST LEROUX, EDITEUR
28, RUE BONAPARTE, 28

1906



